№ 3 (70) 1992 г.

ОКТЯБРЬ

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

СТРЕЛЕЦ

№ 3 (70) 1992 г.

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"
Париж — Москва — Нью-Йорк

Главный редактор – Александр Глезер

Редакционная коллегия:
Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,
Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,
Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,
Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:
Third Wave Publishing House

Адрес редакции в США
Alexander Glezer
286, Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302 USA

Адрес редакции во Франции:
Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron, France

Цена номера : 25 ам. долларов, 150 фр. франков
Подписчикам журнал доставляется за счет редакции

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582
ISNN: 0747-7287

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот номер как бы подводит итог второму году издания альманаха "Стрелец", который, напоминаем, прежде выходил в Нью-Йорке, на Родине. За эти два года, судя по письмам, альманах обрел здесь круг постоянных читателей и поэтому мы решили провести, пока только в Москве и Санкт-Петербурге, подписку на 1993 год.

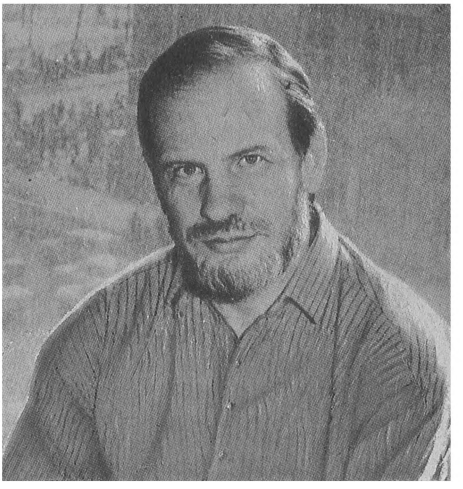
В розничной продаже альманах отныне будет стоить 30 рублей, но для подписчиков цена "Стрельца" определена в 23 рубля, то есть в 69 рублей в год.

В 1993 г. на страницах "Стрельца" по-прежнему будут выступать писатели, поэты, художники, критики, как живущие в России, так и обосновавшиеся на Западе.

В "Литературном архиве" альманаха вы встретитесь с неопубликованными произведениями Даниила Хармса и Иосифа Бродского, неизвестными письмами Марины Цветаевой, Казимира Малевича, Георгия Иванова и других замечательных представителей русской литературы и культуры.

Подписку на "Стрелец" в Москве можно осуществить в Центральном Доме литераторов (ул. Герцена 51) в товариществе "Золотой ключик", а в Санкт-Петербурге в магазине подписных изданий (Литейный проспект, дом 57).

А в заключении, дорогие читатели, и надеемся будущие подписчики, мы хотим поздравить вас с Новым Годом и пожелать вам счастья, успехов, здоровья.



Константин Кедров

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Конец атаки – это конец атаки
так в конце любого пути
Возникает Италия или Итака
из которой нам не уйти

Поэтому так хитер Одиссей
он всегда немножечко косит парус
Так среди Синая косил Моисей
искривляя азимут в один градус

Аарон в сущности был Харон
Он сказал: Ребята Каир за нами
Не думал ли братцы вчера фараон
что нынче умрет под волнами

ПЛИНИЙ

Пленяя Плиния сладким пленом
Она дала ему
пару птиц
которых содрогаясь взял в руки Плиний

Плиний не подозревал
как это возможно
сжимая птиц
он пел
историю
неистово
исторгая
оргии
здравого смысла
на коих помешан Рим

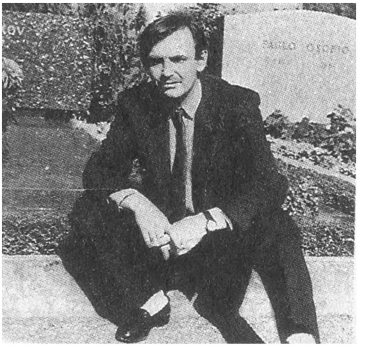
Здравый смысл
тем более отвергаем
Чем более очевиден
Чем боль ее очевидней

Он взял щит и меч
и ощетинился
копьями во все стороны

Так вы полагаете что Боги?..
Как я уже давно доказал
Боги равнобедренны
и прямоугольны...

Плиний отпустил одну птицу
и охладил ладонь
Но далее
речь была нечленораздельна
– Рим должен отпустить птиц... –

Москва



Сергей Юрьенен

ЗАРАНЕЕ ПИШИТЕ СВОЙ РОМАН

(Глава из романа "Дочь генерального секретаря")

На конечной я выскочил из метро, втянул голову в плечи и поднял воротник.

За Сеной зажигал свои огни нью-йоркский мираж. Небоскребы Дефанс начинали предпоследнюю трудовую неделю перед Рождеством. Я сбавил темп, чтоб закурить. Первая сигарета этого дня оказалась последней в пачке, которую я смял и бросил под забор. Он был оклеен огромными афишами летнего сезона. Мимо невероятных островов с пальмами и ласковым прибоем (но проступающим рельефом досок) косо летел снег, редкий и мокрый, и, затянувшись на ходу, я укрыл свой "голуаз" в рукав.

Огибая островок, вверх по течению уходила баржа. Затягиваясь из рукава, я провожал ее взглядом. Loin, plus loin. во мглу, вполне селиновскую – но только что рассветную.

– Сволочь!

Удар воды обдал меня с головы до ног. Я бросился за огнями "мерседеса".

Но ни булыжника, орудия пролетариата, ни бутылки, ни даже свидетеля для солидарности. Мост в обе стороны пуст. Я отбросил сигарету за парапет, утерся и побежал, наблюдая, как неохотно растут навстречу небоскребы.

Вниз по лестнице и по набережной.

Мой небоскреб в Курбевуа, местный филиал американской фирмы, светил сквозь мглу люминесцентным светом. Я скользнул по

газону. Ворота подземного гаража уже опущены. Стоя у гофрированной жести, я причесался и стряхнул расческу. К счастью, опоздал я не один. Ворота поднялись перед съехавшей машиной и, фыркая на выхлопы, я вбежал следом в подземелье. Мимо запаркованных машин я устремился в дальний угол, где над стальной дверью горела красная лампочка за проволочным абажуром.

Я лязгнул и прищурился.

Бригадир, уже весь в белом, причесывался перед зеркалом, прицепленным к стояку металлического стеллажа. Иссиня-черные волосы сияли. Зеркало было в алой пластмассовой рамке, и он взглянул на меня оттуда, мрачный и красивый. Я хлопнул по крутому плечу:

– Салют, Мигель.

Он свел брови.

– Опаздываешь, Алехандро.

Васко на это мне подмигнул. Он стоял в проходе, сжимая железо реек и щурясь от дыма свисающей сигареты – "данхилла", не какой-нибудь. В следующем проходе, складывая брюки, посвистывал Али, высокий и женственный, а старик Мустафа в углу на корточках, распространяя аромат бензина, уже оживлял свои кисти.

В моем отсеке одежда была сложена на нижней полке – перед рядами папок, в которые я уже сунул нос. Есть одно ведомство, которое отвалило бы миллионы, чтобы ознакомиться с их содержанием. С чувством удовлетворения я снял купленную на Марше О Пюс солдатскую куртку и натянул на свитер белую спецовку. Лязгая пряжкой, скатал свои джинсы. Холод был, как в морге. Шерсть стала дыбом на ногах, а то, что было в трусах, спрессовалось. Спецштаны велики, но одновременно коротки – в связи с чем от работы вприсядку уже лопнули на коленях. Я вытащил из джинсов ремень, задрал спецовку и подпоясался. Сунул кулаки в карманы и, оттягивая парусину, вышел в проход.

Мигель оглядел бригаду, но по поводу моих прорех на этот раз только вздохнул...

– Vamos.

Что значит двинули.

Будучи рабочей аристократией, никогда не оставляющей после себя puntos negros, Мустафа подхватил банку с белилами и кисти, а мы разобрали свои немудреные ведра, губки, тряпки, порошки.

Лифты здесь не для нас. Мимо шершавых бетонных стен мы поднялись в фойе, где за роскошным мраморным столом с книжечкой в руках сидел завхоз этой конторы – тоже испанец, но иного рода. Принимая у Мигеля ключ, он отложил лиловый томик Дилана Томаса Death and Entrances, перехватив при этом неосторожный взгляд чернорабочего. Когда я сворачивал на следующий марш, он все еще смотрел мне вслед.

– Он что, поэт?

– Марикон, – сказал Мигель. – Но хорошо устроился.

– Они такие, – поддакнул Мустафа.

На втором этаже он втолкнул в щель кофейного автомата полуфранковую монетку и хлопнул меня по плечу:

– Давай.

Я выбрал кнопку "эспрессо", а когда выпал изящный снежно-белый стаканчик и пролилась благоуханная струя, ткнул еще и в "добавочный сахар".

– Мустафа! Ты спас мне жизнь.

Свой "эспрессо" он взял без сахара. Мы облокотились на перила.

Глядя на нас, соблазнились и прочие. Даже Али вынул себе горячий шоколад.

Потому что понедельник. Самый гнусный день.

Первым допил Васко, он отшвырнул стаканчик и вынул свой "данхилл". Роскошная пачка была воскресной, с последней сигаретой. Без сожаления он прикурил, подбросил зажигалку, поймал и свистнул на стук каблучков. Смакуя свой "эспрессо", мы обернулись на секретарш, которые задрали подбородки и, крутя попками, свернули за угол. По этому поводу мы разговорились – кто чем вчера занимался.

Васко ходил с младшим братом на фильм-карате. Али водил свою Кончиту на фильм "Шарлотт, муй та кюлотт". Мигель своих деей – в Версальский дворец. О-оо... А ты, Мустафа? Никуда не ходил, ответил старик. Выпил гт зщсщб а потом лежал и... "Бранлировал", – подсказал Али. Старик не обиделся. Нет, он курил. Что ты курил? Сигареты, конечно. Бранлировать, заметил Мигель, последнее дело. Это почему? Потому. Ебать себя нельзя. Только другого. А если другой недиспонибелен? Нет-нет. Даже мужчину лучше выебать, чем это. Нет, лучше кактус, сказал Мустафа, снимая серьезность бригадира, и мы засмеялись, зная, что речь не о тех кактусах, которые в Париже, как и в Москве, растут в горшках, а о диких обитателях пустыни, где их называют "женами легионеров".

– А ты, Алехандро?

– Что?

– Чем занимался в воскресенье?

– Свободу выбирал.

Под общий смех я погасил окурок в кофейной гуще.

Мне достался коридор – и, надо думать, не случайно. Мало того, что руки все в порезах от алюминиевых рам – на прошлой неделе одно из этих ебаных окон меня едва не выбило наружу. Али, напарник, вошел в кабинет и увидел, как я боролся за жизнь, влезая внутрь. И стукнул, видимо. Потому что в субботу, распределяя конверты с наличностью, патрон заметил, что во Франции у меня возможность пустить его по миру – если, конечно, я сумею выпасть, не разбившись насмерть.

Оно и лучше, что отставили от окон. При этом приходится передвигать тонны канцелярской мебели, которую здесь льют из танковой брони. А в коридоре одна забота – стремянку передвигать. Причем только по прямой, поскольку в ширину я потолок достаю от края до края.

Он здесь с двойным дном, собранным из плиток пенопласта, серого в крапинку. Посреди каждой группы из четырех плиток – дырка с ободком и спрятанной вглубь лампочкой. Оттирая копоть с пенопласта, эти эмалированные ободки я оставляю себе напоследок, поскольку и в этой жизни надо как-то развлекаться, а это акт почти сладострастный – плавное, легко смывающее грязь движение губки вокруг слепящей стоваттки. Алюминиевые рейки, поддерживающие этот потолок, удовольствие тоже, но меньше. Что неприятно, так это неизбежность намокания рукава свитера под спецовкой. Я вздергиваю его до локтя, принимая подмышку зуб стекающих капель.

Пора менять воду.

На правах недочеловека я пользуюсь исключительно дамским туалетом. Атмосфера здесь мне больше по душе. Не столько из-за запаха – здесь, во Франции, дезодорант стирает в этом смысле сексуальную разницу между *"М"* и *"Ж"* – а потому что, пока набирается вода, можно расслабиться, глядя на себя в их зеркало и представляя, а если повезет, и заставая за малым делом невидимсых секретарш: шорох колготок, защелкивание слипов, нетерпеливая заминка и эта неожиданная вертикаль, буравящая воду унитаза, конечно, голубую. Это звучало в нижней тональности, на басах и как бы всерьез – и затем треск отрыва, сминания, бережного промокания там, где все затаилось до вечера, – и вот она выходит. Цак-цак. С надменным видом. Как будто пролетарий не расслышал ее вглубь – с той же акустической наводкой на резкость, как сняты орхидеи этой осени, кое-где мне на радость еще доживающие в предзимнем парижском метро.

Неторопливо я завинчивал кран, вынимал ведро и возвращался под потолок. Отжимая океанскую губку в новой воде, прозрачной и горячей, приятно было возобновлять работу. Губка была, как живая. И к счастью, на мне были спецштаны – настолько просторные, что можно было лицом к потолку безоглядно отдаваться фантазмам, в наплы-вах которых и протекал мой трудовой процесс.

Проверив качество и количество отмытого потолка, Мигель наградил меня сигаретой. Бригадир и человек малокурящий, он мог себе позволить "Мальборо".

– Vamos comer, Alehandro.

Мы спустились в гараж.

Слева от нашей двери к бетонной стене придвинуты два цеховых стеллажа. Перед ними железный стол со скамьями, тоже железными и холодными, почему мы их сначала устилаем специально заготовленными картонками. Стол накрывается прихваченным по пути из мусорного бака номером газеты Le Monde. Как человек семейный Мигель утратил интерес к внешнему миру. Поэтому он садится лицом к нам, глазами обращенными в гараж. Мы курим и наблюдаем, как разъезжаются французы на обед. Малолитражки секретарш, спортивные машины молодых специалистов (моих ровесников), большие и тяжелые лимузины седовласых боссов. Отъезжают задом

от стены, разворачиваются и под врата – на серый свет полудня. Уезжают все. Остается ароматный запах выхлопов. Бетонно, пусто, сумрачно и стыло. Воро-та опускаются, становится уютно. Из газеты Мигель по соображениям гигиены выбрал только срединные листы, где внутренние их дела, экономика, финансы. Веет скукой, тем более, что фотоснимков из снобизма газета не печатает.

– Его только за смертью посылать! – Мигель закуривает вторую сигарету. – Все они такие, португальцы.

– Индию зато открыли, – говорю я.

– А мы Америку! Подумаешь; *Индия.* Третий мир.

Мы не оспариваем их превосходства. Тем более, что Мустафа из Марокко, в прошлом испанского, а у меня с Али – испанки жены.

Стук ногой по жести. Али вылезает и бежит к воротам – нажать красную кнопку.

Васко бухает на стол картонку: "Разбирайте, где чье!" Сам садится и развинчивает пиво "Вальтазар". Бутыль на полтора литра с зелеными ярлыками и пластмассовой головкой. Протягивает:

– Давай, Алехандро!

– Васко у нас богач, – говорит Мустафа. – Всегда зеленое берет.

Обеденный "Вальтазар" старика в удешевленном красном исполнении.

– Два франка разницы...

– Да, но зачем им отдавать? Градус тот самый. А экономии полсотни в месяц. В год шестьсот.

Васко открывает рот.

– Шесть сотен? Это ж целая моя неделя?

– О чем и речь.

Через стол Мигель сказал.

– Слушай сюда, Васко... – Карманной навахой он лезвием к себе взрезал длинный кусок "багета", выложил белое нутро влажными лиловыми ломтями ветчины. После чего сказал, что Васко наживет себе с желудком неприятности, если и дальше будет пиво натощак. – Гастрит! А то и чего похуже, – добавил Мигель, неизвестно как наживший себе в "дус Франс" язву желудка.

Васко ударил себя по литой стали живота.

– Этим я гвозди могу переварить. – Он выдул четверть бутылки. – В Анголе, когда я дезертировал, я эту съел...

– Неужто крысу? – и Мустафа заранее сплюнул.

– Нет. Эту, как ее по-французски?

– Скажи по-португальски, я пойму, – предложил Мигель, а когда Васко сказал, кивнул... – Запомни. По-французски значит "la hiena".

На этот раз Мустафа плюнул с искренним отвращением.

Я посмотрел на Васко новыми глазами.

– И ничего?

– Ты видишь.

– Как ты ее поймал?

– Сам не знаю.

– Имел оружие?

– Только нож.

Мигель пояснил мне:

– Голод, Алехандро, оселок разума. – Он переломил свой сэндвич и меньшую половину протянул португальцу: – Поешь. Васко. Да не спеши, полтора часа наши. А есть нужно, ты слушай сюда! не ам-ам. Осмыслять при этом надо, что и как в тебя входит. Ты не смейся, дело говорю.

Но Васко набил рот и поспешил забить лучшее спальное место на стеллаже – нижнее, где потемней. Он лег прямо на железо и закрыл глаза, перекатывая при этом желваками: дожевывал. А когда на том же уровне соседнего стеллажа, подстелив картонки, устроился Али, португалец уже крепко спал.

Я сходил к мусорному баку за газетами. Обмотался ими, прихватил картонку и влез на среднюю полку. Как будто я еду, а они мои попутчики. За столом Мигель, покончив с йогуртом, непрерывной ленточкой спускал с яблока золотистую кожуру, а Мустафа доедал банан, толстый, шершавый и снежно-белый. Фрукты в этой стране едят не только дети. Даже такие вот сугубые мужики этим нимало не смущаются. Я влез в картонку с головой. Натянул на кулаки рукава свитера, зажал их между бедер и под скупой диалог по-испански закрыл глаза. Я их не очень понимал, но было ощущение, что все путем. Что наконец я сел в тот самый поезд. Хорошо бы, конечно, сесть в этот поезд в возрасте Васко, а не в середине жизни – когда не так просто приобщаться к физическому труду. Что я делал все эти годы? Господи, эти тридцать без малого лет? Лежа лицом к картону, пахнущему по-западному, хотя и неизвестно чем, я мысленно упростил свой случай – так рассказываешь свой невероятный роман человеку хотя и в элегантном, но *штатском*, который, поминутно зажигая желтую сигарету из маисовой бумаги, тычет в машинку двумя пальцами...

Опуская при этом второстепенные сюжеты.

Например, такой...

Однажды в московском метро они с Инес столкнулись с девушкой, лицо которой искривилось, как от боли. Красивая, высокая и в западной дубленке-макси – сразу видно, дочь.

– Не помните меня?

От беременности глаза Инес стали еще больше и смотрели прямо насквозь, но он был вполне уверен:

– Нет...

– Нас отправили за границу, и меня к вам привезли. Я вам собаку подарила...

Он кивнул:

– Милорд.

– Он еще жив?

– Надеюсь. Он той же осенью сбежал.

– Как это было?

– Мы с ним гуляли по ночам. Он вырвал поводок. Я не догнал.

– Конечно. Русская борзая...

Они молчали, глядя друг на друга.

– А с вами тогда, – решился Александр, – друг мой был. Не помните? Альберт?

Слезы покатились по ее лицу.

– Что с ним стало?

Девушка схватила его за отворот пальто, она стояла и открывала рот, пытаясь превозмочь судорогу, но сумела только зареветь и опрометью броситься в уходящий поезд. Это было на станции "Проспект Маркса", и они с Инес возвращались из Дворца бракосочетаний, где им было отказано в регистрации, это было еще до того, как в сюжет вторглись силы, превосходящие убогое советское воображение Александра, – силы международного коммунистического движения...

Проснулся я от грохота:

– А трабахар, Алехандро! А трабахар!

Я сбросил с головы картонку и навернулся так, что листовое железо загудело.

– Ебт!.. – Трехэтажное родное замерзло на губах.

Бригадир смотрел с упреком.

– Ты должен молчать по-русски, Алехандро. Не забывай, что здесь ты для всех юго.

Я свалился на пол и сорвал с себя газеты.

– Югославы тоже... Самовыражаются по-русски.

– Забудь, – сказал Мигель. – Выучи на этот случай парочку французских.

– Par exemple, – сказал Мустафа, – анкюле.

Но мне было не смешно. Гараж был снова забит машинами и газами. Вкус у сигареты, которой он меня утешил, был такой, что после затяжки я вынул из нее огонь и раздавил на полу. Бычок вонял омерзительно, и я спрятал его в нагрудный карман до лучших времен. Все собирались в угрюмом молчании, только Васко все ля-ля да ля-ля. Это был наихудший момент, и, разминаясь, я заставлял себя не думать о том, сколько ведер еще предстоит мне сменить до конца.

В последнее я окунал руки, как в серную кислоту. В отделе, куда, закончив коридор, я внес стремянку, была только одна сотрудница. Отставив зад и уперевшись локтем, она перелистывала журнал мод. Провокационную позу она не сменила, только покосилась на скрежет. У меня все болело, когда я влезал под потолок. Отсюда я увидел сквозь верхние стекла металлических панелей, что в отделе есть еще начальник. Я его видел в гараже, у него была спортивная машина, весьма его омолаживавшая. Сидя в кресле, он ворковал по телефону, а из окна за ним открывался вид на старые дома Курбевуа.

Засмотревшись, я выронил губку, которая сочно шлепнулась об стол секретарши.

– О! – отпрянула она.

– Пардон.

Я спустился и вытер стол рукавом. Очаровательная женщина смотрела на меня, как на говно.

– Мадемуазель Ля Гофф, на секунду!..

Она убрала свой "Вог" в ящик и ринулась на зов начальства. Облачко ее духов растаяло.

Я взгромоздился под потолок и отжал губку в серной кислоте. Дома Курбевуа были все так же серы, но под ними мужчина в кресле – он был в бледно-зеленом пиджаке и розовой "бабочке" – раззевал порыбьи рот, откинувшись так, что я сначала подумал – ему дурно.

Заглянул Мигель:

– Ля гер е фини!

– Тс-с, – приложил я палец к губам. Спустился, вышел и, складывая стремянку, поделился. Но он только пожал плечами.

– Francesas. Для них это, как...

Уборщицы, которые поднимались нам навстречу, тоже были испанки, а с ними мартиниканка, веселая и молодая. Испанки серьезно и вежливо ответили на буэнас диас бригадира, а мартиниканка мне подмигнула: "Салю!"

Мы уже переоделись, а Мигель с Мустафой все оттирали бензиновыми тряпками – сначала ведра изнутри, потом руки. Им с Васко ехать было в Версаль, и мы с Али пожали им предплечья.

– Смотри не опаздывай...

Али заметил, что я держу дистанцию от края платформы, и решил сначала, что от дикости:

– В Москве метро нет?

– Есть.

– Боишься, что столкнут под поезд?

Алжирец недаром был из страны, идущей по пути прогресса. Кое-что соображал.

– Вроде не за что.

– Ха! Столкнули же недавно старика. Не видел во "Франс-суар"? Какой-то косоглазый – ни с того ни с сего. Ударил ногой в спину и в общей панике сбежал.

В вагоне мы держались за общий поручень.

– На танцы пойду сегодня.

– Один?

– Кончита же беременная. Пусть де Фюнеса смотрит. У вас телевизор цветной или черно-белый?

– Никакого.

– Разве? У нас уже цветной. Салю!

Этуаль. Я пересаживаюсь на вторую линию, которую выучил уже наизусть. *ТЕРН, МОНСО, РИМ, ПЛЯС КЛИШИ, БЛАНШ, ПИГАЛЬ* – где давящие на психику своим цветущим видом выходят туристы из Бундеса – *АНВЕР, ЛЯ ШАПЕЛЬ, ЛУИ БЛАН, СТАЛИНГРАД, ЖАН ЖОРЕС, КОЛОНЕЛЬ ФАБЬЕН* и, наконец, БЕЛЬВИЛЬ – что значит, господа, "Прекрасный город"...

На фоне почернелых домов кишит жизнь. Тогда еще квартал китайцы не завоевали, народец был тут всех цветов. Сбывает что-то с рук, сражается в наперстки, в три карты на картонке, толкует на углах о чем-то мизерном и темном, озираясь при этом, будто в планах налет на банк.

На этот "город" я обменял столицу сверхдержавы.

Je ne regrette rien. Хотя название квартала на склонах холмов Менильмонтана звучало иронично и во времена, когда здесь родилась Пиаф. Тогда здесь еще жили французы. Сейчас их нет, или почти. Североафриканский Гарлем. Под двойным доминионом, вдоль рю Бельвиль то кошерное мясо, то мергезы, и на вывесках Зеленый Полумесяц сменяет звезду Давида, и наоборот. Если бы у меня спросили о способе решения арабско-израильского конфликта, я бы ответил не задумываясь.

Бельвиль.

В начале рю Туртий я покупаю пачку сигарет, в конце выпадаю в осадок, и вытягиваю ноги в югославском кафе.

За немытой витриной – рю Рампонно с видом на мой дом. Катясь под уклон (советская газета еще напишет: "ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ!"), жизнь моя остановилась здесь.

Братья-славяне перевозбуждены. Кроме ругательств, я понимаю только, что в нашем квартале кого-то убили. Гашу окурок в алюминиевой пепельнице, допиваю кофе и выкладываю на мрамор три франка.

В окне на пятом этаже два силуэта – дочь и роковая женщина по имени Инес.

Анастасия прыгает на шею.

– Папа пришел!

– Мы уже волновались, – говорит Инес. – Как было?

– Нормально.

Консервированная фасоль и размороженные бифштексы из родного супермаркета. Ничего нет вкусней. Инес приносит бутылку "Кроненбура". Потому что в семье событие. Первый день Анастасии во французской школе.

– Что-нибудь понимала?

– Манже. Учительница показала на тарелку и сказала: "Манже".

Будет говорить на языке цивилизации. Хмельные слезы выступают мне на глаза.

– Иностранцев в классе много?

– Все иностранцы. Одна девочка японка. Но русская только я.

– А учительница?

– Француженка. Только не учительница, а метресс. Мама, мне холодно без трусов.

– Завтра получишь. Надо бы ребенку еще одни трусы, а то чуть что катастрофа.

– Хочу с сердечками. Которые в "Призюнике". А еще хочу, чтобы у меня был зизи. Хочу писать стоя, как мальчики.

– Она в школе так и сделала. Трусов при этом не снимая.

– Почему?

– Там вместо туалета дырка. А вокруг следы людоеда.

– Однажды в Париж приехал один американский писатель. У него тоже была дочь, и даже две. Он был знаменитый писатель, а они писали в трусы. Сортиры здесь не для девочек со вкусом.

– Еще есть девочка из Югославии. У ее папы с мамой кафе, которое напротив. Они богатые, но ее бьют.

– Видишь? Мы хотя и бедные, не бьем.

– А почему мы бедные?

– Потому что свободные.

– В Москве не были?

– Нет.

– Зато в Москве у нас все было. Даже телевизор. Почему вы все оставили?

– Доедай.

– Не хочу. Я телевизор хочу.

Перед сном транзистор, который я нашел в мусоре на улице, сообщает, что в квартале Бельвиль шестью выстрелами из пистолета убит политэмигрант-журналист.

– Квартал у нас, однако.

– В богатых убивают точно так же.

– Был бы хотя бы пистолет...

– Не Техас. Без разрешения не купишь.

– Можно и без. Мне на Блошином рынке предлагали. Но дорого, месяц жизни...

– Против государства защититься невозможно. Висенте всегда говорил, что если он жив, то только благодаря Франко. Тому, что нет решения убить.

– То есть, быть фаталистом?

– Другого выхода нет.

Чувствуя себя безоружным, уснуть я не могу...

Мы с Мустафой купили сигареты и спиной к продавщице сняли со стеллажа журналы – он "Люи", я "Плейбой". Глянцевые страницы застлали мне глаза фактом свободы.

Картонки ждали нас у дверей табачной лавки. Мы приняли их на грудь и двинулись под мокрым снегом. Он снисходительно взглянул.

– У тебя от этого встает?

– Мустафа! В первые дни у меня даже на аптеки вставал.

– То есть?

– На витрины с рекламой.

– Там же груди одни.

– И тем не менее.

– А сейчас?

– Прошло. На аптеки...

– Пройдет и на журналы, – пообещал старик. – И на фильмы пройдет.

Дочери у него работали в Германии, и хотя был он жилистый и сильный, но весь уже седой – даже волосы на груди.

– Может, – предположил я, – у тебя вообще прошло.

– У меня? – Глаза, печальные по-библейски, вспыхнули гордым огнем. – А вот в субботу сходим на Пигаль – давай? Там ты увидишь.

– Давай сходим.

Бригада мрачно курила в ожидании обеда.

– Ты бы зашил себе штаны, Алехандро, – сказал Мигель. – А тебе, Мустафа, побриться б не мешало. Как вы в таком виде на люди выходите? Не понимаю. Поэтому они нас и презирают. Из-за таких, как вы.

Игнорируя, Мустафа отвинтил пиво:

– Тома, русо!

– Надо следить за собой. – Мигель раскрыл наваху и вспорол багет. – Иначе ничего у вас во Франции не выйдет. Так и останетесь неудачниками. А как вы думали? Во Франции самое главное внешность. Вот посмотрите на Али.

Мустафа огрызнулся по-арабски, всем видом выказывая, что ебал нравоучения.

– Мигель, – сказал я, откусывая сэндвич. – Давайте сходим на Пигаль, а? В субботу, всей бригадой...

– Куда?

Али с Васко засмеялись.

– На пляс Пигаль.

– Ходер! – Бригадир даже перестал жевать. – Я ведь женат?

– Я тоже, – сказал Мустафа.

– Сравнил! Твоя в пустыне, а моя в Версале...

Али засмеялся.

– Жены боится...

– Не жены, – сказал Мустафа. – Боится проституток.

– Кто я?

– И знаешь, почему? Потому что они француженки.

– Я – проституток? Лас путас – я? Ходер! Коньо! Ме каго ан ля мар!..

– Так как?

Бригадир замолчал и сдвинул брови.

– В субботу, говоришь?

– В субботу.

– Черт с вами. Мфыщыю

Мы завернулись в газеты и легли на железные нары. Он еще долго не мог успокоиться. Ворочался и прогибал железо. Спросил, а видели мы фильм "Эмманюэль"? Мы видели. Мигель ходил с женой, и фильм ему понравился, ибо: "Буэно пара ходер..." Но пляс Пигаль? К лас путас? Последнее, что я услышал, было многоэтажное ме каго ан ла лече де ла пута вирхен Дева Мария...

Мне стало как-то не по себе. Будто сокрушил последний бастион христианской этой цивилизации.

– Раздвинь! Раздвинь! – закричал впереди один зритель.

С помоста женщина крикнула в ответ:

– Десять франков!

Монета шлепнулась на доски, и она присела.

– Тьфу, – плюнул Мигель.

На помосте женщин грели радиаторы, и они, закончив стриптиз, сразу влезали в свои дубленки, но здесь, среди заиндевелых стен, стоять было холодно. Мы повернулись и вышли. Это был дешевый рождественский стриптиз, пять франков вход. Над бочкой с костром женщина держала руки в беспалых перчатках.

Мы вернулись к метро. Все было залито красноватым светом – заиндевелые деревья, и косая эта площадь, и карусель на ней машин, сверкающая отражениями неона, и стекло киоска, и даже околевший у пылающей жаровни продавец каштанов – эфиоп. Сквозь мглистость с неумолимой четкостью читались вывески типа *НЮ ИНТЕГРАЛЬ... ЛАЙФ-ШОУ... ЭРОС-ШОП...*

СЕКС.

Зарождаясь в глубине бульвара, это слово змеилось по обе его стороны и, выползая к нам на площадь, обвивало, как удав, как изначальный Змей.

– Так что? – сказал Мустафа.

Из-за стекла киоска на нас смотрели обложки журналов. Радостные девушки на них раздваивали себя трусиками. У каждого в кармане похрустывал конверт с получкой за неделю.

– Что-что... Идем, – сказал Мигель.

– Холодно, – поежился Али. – Наверное, домой пойду. Телевизор посмотрим лучше.

– Миерда же сегодня, – сказал Мигель. – Ни одного фильма.

– Зато концерт. Там этот будет...

Васко встрепенулся:

– Кто?

– Как его... Комик один. Кончита очень его любит.

– Как знаешь...

Али вынул из кармана руку и распрощался:

– Амюзе ву бьен!

Насвистывая, он сбежал в метро и скрылся за дверьми.

– Конечно, – сказал Мигель. – Телевизор у них цветной. Ни в чем себе не отказывают. Но ничего, вот будет ребенок, узнают...

Плечом к плечу мы двинулись, я – с острым чувством нарушителя табу. Никто не знал, что перед выдачей зарубежного паспорта у меня отобрали подписку – избегать, среди прочего, сомнительных мест.

– Может быть, по пиву для начала?

Мигель сверкнул глазами:

– Vamos.

Мы вклинились в толпу. Месье, застегнутые на все пуговицы и с отсутствующим видом. Морячки в беретах с красными помпонами.

Из-за занавески с гоготом вывалилась группа пожилых американцев фермерского вида – в обнимку с женами. Просияв набриолиненной прической, зазывала схватил Мигеля за рукав.

– Прими руку.

– Месье, не пожалеете, – совал тот контрамарку, пока не согнулся от того, что локоть бригадира въехал под ложечку.

В проулке красавица-мулатка упиралась в стену лопатками и ногой. Мигель покосился на мускул бедра.

– Вроде ничего.

– Мужик же, – прыснул Мустафа.

– Не понял?

– Травести, ну? Марикон.

Мигель оглянулся:

– У него же эти...

– Парафиновые наколол.

– Да ну?

– Говорю тебе.

– Х-ха... А под юбкой тогда у нее что?

– Как у тебя и меня.

Мигель плюнул под ноги:

– Х-ходер.

Справа открылись витрины в зал игральных автоматов. Васко свернул вовнутрь и, ухватившись за первые же обрезиненные рукояти, погнал по экрану гоночную машину. Мигель покрутил головой: мол, пацан... Реакция, однако, у пацана была, и в ожидании, когда он разобьется, мы закурили. Васко не разбился, но перешел к другому автомату. Докурив, мы, как это принято в Париже, затоптали окурки на мраморном полу.

– Не надоело? Эй, Васко?

Васко не обернулся.

– Охота поиграть...

– Мы что, играть сюда пришли?

– Ладно, – сказал Мигель.

– Как это "ладно"? Сейчас найдем тебе по возрасту. Или мамаш предпочитаешь? Нет, ты скажи ему. Он же всю получку спустит.

– Если хочется, – бормотал Васко, сбивая одну советскую ракету за другой.

Мустафа выругался по-арабски и вышел.

– Так что, Васко, до понедельника?

– Ага.

– Ну давай, – и мы похлопали коллегу, ведущего прицельный огонь.

Мустафа ждал у витрины, за которой прокручивался ширпотреб: зажигалки, пугачи, штампованные часы, пластмассовый паук, слепок женских грудей, сплющенные целлофановой упаковкой резиновые маски с разинутыми красными ртами. Проплыл здоровенный огурец, темно-зеленый и в бородавках.

– Х-ходер... – Мигель сплюнул под витрину. – Знаешь, почему он с нами не пошел?

– Почему? – спросил я.

– Пацан потому что, – ответил Мигель. – Ебаться он пошел. Да его самого еще ебать.

– У него девчонка завелась.

– У Васко?

– Ну. Тоже португалка.

– Ну и держался б с ней за ручки. Чего он с нами-то пошел?

– А поругался. Они знаешь какие, португалки? О, – Мигель выпятил губу. – Еще серьезней, чем, Алехандро, наши с тобой испанки. У тебя с твоей до свадьбы было?

На мгновение я вспомнил Москву.

– А у тебя?

– Ха, – ухмыльнулся бригадир. – Если б было, я еще подумал бы, брать мне ее или нет.

– Тем и заманивают, – сказал Мустафа. – Когда поймешь, что ничего там нет, уже, брат, поздно...

– Но ты-то от своей сбежал.

– Да уж "сбежал". Два раза в месяц деньги ей перевожу.

Мы не заметили, как миновали пляс Бланш и спустились на пляс Клиши, где спохватились, но было поздно. Секс кончился, на нас смотрели обычные дома.

Мигель отвернул рукав.

– Наверное, пора.

– Чего?

– Да как-то оно...

– Ты обожди. Тут место одно есть. Абатуар называется. Очередь, правда, отстоять, но только пятьдесят франков.

– За что?

– Не за ночь, конечно.

– Да, – признал Мигель. – Недорого.

– Дешевле только подрочить.

– Нет, – возразил я. – В Венсенском лесу за двадцать франков могут отсосать.

– Откуда ты знаешь?

– Писатель один сказал.

– Русский, наверно?

– Ну.

– Я не писатель и не русский, – ответил старик марокканец. – Могу позволить себе и абатуар. Так как?

– Я вот что думаю, – сказал Мигель. – Что Алехандро хорошо: сел в метро и прямо до Бельвиля. А нам с тобой до Сен-Лазара, там поезд ждать да по Версалю полгорода пешком. Может, поехали? Напару будет веселей.

– Ты развеселишь, – иронически бросил старик.

– Все не одному.

– А потом? Ты в семью, а я?

– Ко мне зайдем, посидим...

– А потом?

– Потом, потом – заладил! Потом воскресенье будет.

– Не люблю я воскресений, – упирался Мустафа. – Я как сейчас люблю. Когда кажется, что что-то еще будет...

Так мы стояли, глядя на пар, который срывался из решеток над станцией Клиши, а потом я пригласил их в кафе. И мы постояли еще, но в тепле и с пивом на горящей медной стойке. Перед тем как отправиться на Пигаль, мы оттерли бензином руки, но белая кайма под ногтями была уже несмываема, и я прятал руку от бармена. Потом я утер усы и вытащил конверт. Мигель перехватил запястье, я вырвался:

– Брось, я приглашал.

Разодрал конверт и вынул сотню. Потом собрал бумажки сдачи, взял блюдечко с мелочью и ссыпал в карман своей куртки. На прощанье Мустафа положил в него франк, который бармен смахнул: "Мерси!" – и перевернул это блюдечко из старинной темно-зеленой пластмассы с адресом на донышке и этим словом, отштампованным на сердце: Paris.

– Ладно, поехали, – сказал Мустафа.

– И деньги целы будут. Еще спасибо скажешь.

– При чем тут деньги? Просто никто мне не понравился. В следующую субботу вернемся, – сказал мне Мустафа, – тогда я тебе покажу.

– Ладно.

– Знаешь, какой я в молодости был? О! Я дерево однажды выебал. Не веришь?

– Верю, – сказал я, не представляя, какие деревья могли быть в его пустыне.

– Конечно, я не тот, что в молодости, но... А еще лучше – знаешь? На Сен-Дени съездим. Ты был на Сен-Дени? О-о... Знаешь, там какие? Не то, что здесь.

– Здесь тоже неплохие, – сказал Мигель.

– Да ну, мариконы одни...

Мы допили, вышли и спустились в метро, где бригадир сказал:

– Не опаздывай в понедельник.

– Где ты был так долго?

– С ребятами прошелся.

– С какими?

– С сотрудниками.

– На Пигали, наверное, были.

– Точно.

– Надеюсь, ты шутишь?

– Успокойся, шери. Все о'кей. Мы просто прошлись по полям Елисейским. Примем душ?

Но Инес была не в настроении.

В душе я уснул.

Звонок раздается утром, когда еще темно. Пол ледяной. Я сажусь на корточки и беру трубку, левой рукой одновременно защищая яйца.

Это Палома, сестра Инес. Из кафе напротив своей типографии. Кончает за "гинесом" ночную смену. Сегодня, говорит Палома, она испытала самый сильный шок в своей жизни.

– В связи?

– А ты не знаешь?

– Нет.

– Ну, будет сюрприз. Нет, как ты мог?

Она бросает трубку.

Несмотря на солнце, газоны в парке Buttes Chamont не таяли. Мы выдыхали чистый пар. Несмотря на перекуры, мы в конце концов околели и пошли домой. Перед книжной лавкой на рю Боливар выставлен стенд с воскресной прессой.

Вдруг Анастасия вырывается из рук:

– Это папа! Это папа!

Я повернулся – и подошвы как примерзли. Справа в широкополой шляпе была Джеральдин Чаплин, ниже Артур Кестлер с сигарой, а по центру рисованный портрет романтического красавца, пришибленного мировой скорбью. *ЭКСКЛЮЗИВ* – шло над портретом – *СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ВЫБРАЛ СВОБОДУ ВО ФРАНЦИИ.*

Почему же "советский"?

Я выдернул газету, развернул. Обрамлен был красавец текстом своего интервью, которое, обрываясь, продолжалось на третьей странице между снимками серьезного юноши и хохочущего Солженицына с всклокоченной бородой. Мэтр, так сказать, и ученик...

– Наконец-то напечатали, – сказала Инес. – Теперь ты защищен гласностью. Дай мне сигарету.

На углу я остановился.

– Мне надо выпить.

В кафе они размотали свои шарфы. Подошел гарсон. Он посмотрел на меня, а я на Инес, которая и заказала – апельсиновый сок, свежевыжатый, льда не надо и два кофе.

– И ан кальва, – добавил я.

Инес посмотрела на меня и перевела:

– И рюмку кальвадоса.

Оружие в доме было. Еще в первый наш день в Бельвиле я нашел топор. Он лежал на кухне под раковиной, где темно и сыро. Защитившись гласностью, я выволок его, вытер тряпками, отскреб наждачной бумагой и взял с собой в постель.

– Не впадай в паранойю.

– Кто впадает?

Сверху мы навалили пальто, так что мне было тепло – исключая руку с топором, который лежал на полу. Когда лестница за дверью начинала скрипеть, пальцы сами сжимались у топора на горле. В перерыве между тревогами я отпустил его, чтобы согреть руку у нее под мышкой.

– Неужели ты способен зарубить человека?

Я не ответил.

– Это ужасно, – сказала Инес. – Не знаю, как я буду с тобой жить. Запад проявляет тебя с неожиданной стороны.

– Зато проявляет. А то так бы и остался невидимкой. Как все.

– Не знаю, не знаю...

Я закрыл глаза. Я почувствовал, как из меня выходит прежний образ. Испаряется вместе с дыханием. Мне его стало жалко, я всхлипнул. Она повернулась и обняла меня. Груди у нее были влажны от пота.

– Ну успокойся. Что с тобой?

– Х-холодно, – сказал я, содрогаясь от сознания, внезапного, как кровавый кошмар, – что я способен теперь на что угодно.

В понедельник, спустившись в гараж, мы обнаружили хозяина. Поставив рядом свой пикап, Пепе сидел за нашим обеденным столом. Он хлопнул по железу и поднялся. Распахнул дверцы машины, вынул картонку и бухнул об стол:

– Налетай!

Связка бананов, спайки йогуртов, сыры, ветчина, хлеб, кока-кола и много пива.

– Давайте, давайте... За мой счет.

Я сорвал пробку с "Кроненбура" о стеллаж. Настроение у меня, как и у всех, было отличное. Мы заканчивали небоскреб и со следующей недели выходили на новый и волнующий объект – обивать шел-ками будуары на авеню Фош.

– Ходер, Алехандро... – Пепе смотрел на мои колени. – Снова штаны мне порвал. Третьи уже.

– Вторые.

– Где же вторые? Первые в Сен-Жермен-ан-Ле. Вторые в Нантерре...

– В Нантерре, – возразил я, – первые.

– А в Сен-Жермен-ан-Ле? Или не рвал?

– Порвал. Но мои собственные.

– Разве?

– Спроси у них.

– Ладно, – сказал Пепе. – Снимай. Отвезу жене, починит.

Меня это удивило:

– Как это "снимай"? А работать в чем я буду?

Бригада смотрела на хозяина. Даже Мигель перестал жевать. Хозяин взял со стола его "Мальборо", щелкнул зажигалкой и выдул дым в сторону.

– Работать, Алехандро, больше ты не будешь.

– То есть?

– У меня, во всяком случае.

Мне показалось, что я его не понял. Но у бригады вид был потрясенный, и я поставил бутылку на стол. Мигель назвал хозяина его полным именем:

– Ты что, Франсиско? Работает он хорошо. И парень неплохой.

– Неплохой, говоришь? – Не глядя на меня, хозяин слез со стола, где сидел одной ягодицей, сходил к машине, открыл переднюю дверцу и вернулся с воскресной газетой. Припечатал он ее так, что гул по гаражу пошел:

– Или я обознался?

С портрета на первой странице бригада перевела глаза на меня. Я ухмыльнулся – чисто нервное.

– Так кто это, Алехандро?

– Ну, я. И что с того?

В гараже зацокала задержавшаяся на обед секретарша, рядом с которой шел начальник. Они сели в его "Ланчию", завелись и уехали, оставив выхлопной аромат. Параллельно шла нормальная жизнь – адюльтеры, рестораны, эмоции, минеты...

– А то! – сказал хозяин. – Когда здесь наконец начнется, я первый ворвусь в эту газету. И вот так! – вскинул он воображаемого "Калашникова". – Всех сволочей до одного. И тогда советую тебе мне на глаза не попадаться. Я помогал тебе как советскому человеку. А ты... Теперь ты по другую сторону баррикад.

Сам он дезертиром был из армии генералиссимуса: сделал ноги за Пиренеи. В Париже подставил спину под случайный рояль и заработал первые франки. Сейчас у Пепе есть все, чего не будет в этой жизни ни у меня, ни у трехсот миллионов жертв коммунизма – кипучая энергия, цветущее здоровье, красивая жена, дети-билингвисты, две машины, миллионы в банках, недвижимость, как здесь, в стране убе-жища, так и в Испании, которая давно на Пепе не в обиде, а главное, вот это наживное дело, приносящее прибавочную стоимость. И эта жи-вая, симпатичная частичка капитализма смотрит на меня, чернорабочего, с горячей ненавистью.

– Какие баррикады... Ты же не коммунист?

– В партию не записан, но... целиком и полностью! – Он постучал себя по груди. – Товарищ Висенте попросил тебя трудоустроить, и я пошел на риск. А ты подвел товарища Висенте. Опозорил его перед Кремлем.

– Не лезь, – сказал я, – в семейные дела.

– Очернил свою страну, как Солженицын. Писатель он. *Экривен.* Таких экривенов я бы к стенке и та-та-та!

– Ставь! "Калашников" уже выдали?

Хозяин захлебнулся. Вынул из заднего кармана конверт и бросил на стол. Повернулся и пошел к машине. Еще у него выходная, как у де Голля, хвастался он, черный "ситроен ДС" с гидравликой, на котором раз он отвозил меня в Бельвиль после воскресного обеда, на котором он сам мешал мне "Куба либре" и говорил, что лично он университетов не кончал и "Капитал" не конспектировал, а вот...

Я крикнул:

– Спятил, да? Я же обо всем тебе рассказывал. И ты смеялся, Пепе, постой! Все, что в этой газете, правда!

Он чуть не въехал в стену задом. Тормознул и высунулся.

– Правда в другой газете! В *"Правде"!* Знаешь такую? Правда в том, что правые свиньи в жопу тебя выебли!

Я разорвал конверт и запустил ему под колеса.

– Конформист! Капиталист! – Захлебнувшись, я перешел на русский. – И рыбку съесть, и на хуй не сесть?

Он выскочил с монтировкой.

Я схватил бутылку. Ее уже открыли, и, замахнувшись, я облился. Из горлышка кока-кола хлестала мне в рукав, на грудь и на пол, где, пузырясь, растекалась лужа.

Он опустил первый:

– А ну снимай мою одежду.

Я выложил на стол сигареты, они промокли вместе с обратным билетом на метро, заложенным под целлофановую облатку, вот сволочь, сорвал спецовку и бросил на пол. А следом ебаные спецштаны. Уже мне не хозяин, он все это подобрал, швырнул в пикап на банки с краской и вылетел из гаража, ободравшись крышей о забрало, которое еще не успело как следует подняться.

Мигель с Али изучали мое интервью в газете.

Мустафа закурил, сел на корточки и собрал обрывки стофранковых бумажек. За пол рабочего дня мне причиталось 50, но Мустафа сложил шесть сотенных – заплачено за всю неделю.

– Не возьму! – я крикнул. – Тоже мне, филантроп.

В одних трусах я сидел на железе. Сжимая с одной стороны трицепс, а с другой косую спины. Одно утешение, что накачался в этой роли.

– Склеить, и все, – сказал Мустафа.

– Где мы работали, есть скоч, – сказал Васко.

– Вот и сходил бы.

– Это мы сейчас...

– Не ходи! – крикнул я вслед португальцу. – Не нужны мне ебаные деньги. Я их не заработал.

– Но ходас, Алехандро, – сказал Мигель. – Сюрплюс. Прибавочная стоимость. Ты Маркса проходил?

– Тогда пропьем, – сказал я. – Месье, я приглашаю!..

"Кус-кус" на всех и розовое марокканское. В арабском ресторанчике было грязновато и очень вкусно.

– Сволочь он, Пепе, – говорили они мне.

Я возражал:

– А мне он чем-то нравится.

– Он в общем неплохой мужик, – поддакивали мне. – Но сволочь.

– При этом дети у него хорошие.

– Ну, дети! Они уже французы.

– Что с того? Французы разные бывают.

– Зато во Франции свобода.

– Что ты ему-то объясняешь?

– А что там ее нет, про это каждый знает. Он просто сволочь...

– Не только там, – сказал Али. – Да, Мустафа?

– Но мы с тобой помалкиваем в тряпочку, – добавил Мустафа. – Сидим во Франции и радуемся. Что?

– А ты попробуй! Достанут и во Франции. Руки у них какие, знаешь?

– Нам хорошо, мы люди маленькие. А он писатель... Молчать не может.

– Профессия такая...

– Профессия неплохая.

– Это смотря где, – оспорил я.

– Во Франции они живут, как боги. Говорю вам.

– Ты-то откуда знаешь?

– Кончита говорила.

– Кончита...

– Она без книжки заснуть не может. Говорит, живут, как в масле сыр, Сименон там, Сан-Антонио. Или этот, который серию про САС.

– Видишь? Ты, Алехандро, еще на "мерседесе" в гости к нам приедешь.

– Конечно, по-французски надо писать.

– Научится. Делов-то! Главное, чтоб сочинять умел, а там...

– "Мерседес" не "мерседес", но сотню в день себе он заработает. Притом работа чистая. Не так, как мы: в грязи да в краске. Перышком по бумаге...

– Еще бутылочку, ребята?

– Наверное, будет...

– Домой же ехать...

– Хорош.

– Тогда по кофе? Эй, сильвупле!..

А было это в Курбевуа за Сеной, где родился Селин и где еще сохранился ломтик домов той эпохи, облупленных, с трещинами, с глухими стенами в просвечивающих сквозь известку рекламах вечных ценностей, вроде "перно" или "дюбонне", – с мусором вдоль тротуара, с мощеной мостовой, где даже в начале зимы из булыжников выбивалась трава. Обязательно вернусь, думал я. Надеюсь, этот ломтик до весны не доедят бульдозеры...

– Осторожно в метро, – шепнул Али.

Даже если воскресный номер газеты в понедельник еще не забыли, то просто невозможно было опознать его эксклюзив в разбитом и хмельном люмпене, свесившем между потертых вельветовых ляжек изрезанные руки с грязными ногтями. Но на меня смотрели в метро. Хотя и отводили взгляд, когда я вскидывался в упор.

Инес сказала, что телефон не умолкал весь день. На предмет интервью меня домогались средства массовой информации этого мира, как-то: Би-Би-Си, Радио Свобода и еще...

– Издательства не звонили?

– Издательства нет...

– Еще позвонят! – сказал я уверенно. – Мне нужно книжку продать. Как можно быстрее.

– Куда спешить? Мы же на Западе.

– Вот именно...

– Что случилось?

– Меня с работы выгнали.

Инес поднимает голову со стоном, от которого Анастасия не просыпается.

– А кофе?

– Готов.

– Принеси мне трусы. На батарее в душе...

После кофе Инес натягивает сапоги. При этом она морщится, поскольку в поисках работы уже стерла ноги в кровь. Шарф один на двоих, и надевая его на Инес, я обнимаю ее на прощанье. Неуместная эрекция елозит по ворсу ее пелерины.

Меня будит дочь.

– Папа, мне пора в школу.

Преимущество нищеты в том, что каждая вещь на виду. Я беру с камина расческу.

– С-сс...

– Что?

– Больно!

– Пардон. Сделаю тебе конский хвост, а то опоздаем.

– Не хочу конский.

– Это же красиво. В мое время все его носили.

– Ты не так его делаешь, надо туго.

Капитулируя, я скатываю обратно зеленую резинку, она распускает по плечам свои медные волосы, бросая при этом взгляд самосознающей красавицы. Четыре года, бог ты мой.

Холодильник у нас запирается на тяж от эспандера.

Дочь ест, болтая ногами.

– Принеси мне воду, пожалуйста. Только в стакане *авек Сандрийон.*

Имеется в виду из-под горчицы – с картинкой.

– А как по-русски?

– С Золушкой.

– Молодец.

В толпе африканских детей дочь исчезает в двери, над которой герб Парижа и сине-бело-красный флаг. Кафе на углу рю Бельвиль и рю Туртий уже опустело, официант в запятнанном фартуке сгребает опилки, перемешанные с окурками. С пачкой "голуазов" я возвращаюсь на

свой перекресток. В писчебумажной лавке – проблема выбора бумаги. Еще в Союзе, где и с белой проблема, меня журнал "Америка" впечатлил фактом, что Джон ОэХара имел обыкновение писать на желтой. Возможностью выбора индивидуальной бумаги. Но какую выбрать мне? Желтую было бы эпигонством. Бледно-бордовую? Но к оттенкам красного у меня идиосинкразия. А сиреневый? Его нет. Может быть, поехать в Центр – приходит из прежней жизни. Но какой тут центр? Ты на Западе, где центр только и исключительно там, где в данную минуту ты заполняешь собой объем. Повсюду. Сейчас – вот здесь. И не в бумаге дело. В том, что внутри. В том, что когда-то называли Царство Божие...

Купив десть цвета увядшего латука, я поднимаюсь домой и ложусь головой на стол. Потом я встаю, я открываю дверцу встроенного шкафчика и достаю советский самоучитель французского языка. Я листаю, задерживаюсь на фразе: *"Они встретились в Москве. Она парижанка, он – советский.* Переведите..."

На вклеенном листке срок возврата – дата пятилетней давности. Я взял этот учебник в библиотеке "спального города" после того, как загоревшая в закрытом доме отдыха в Крыму Инес в один прекрасный день вернулась в шлакоблочный город на черной "Чайке" со своим отцом, который нас с ней скрепя сердце благословил – на долгую и счастливую жизнь.

Но не на Западе, конечно.

В СССР...

Я запускаю самоучитель в угол.

Беру машинку и удаляюсь в кабинет. Ванную хозяин-бретонец превратил в третью комнату – с плиточным полом и высохшим умывальником. Вот перед ним я и сижу – поперек доска, на ней машинка. Я смотрю в стену, но образы прошлого не возникают. Во-первых, потому что в комнате воняет. Запах из тех, что либерализм оставляет за порогом сознания. Но он реален – плотный, телесный, как бы кондитерский. До нас квартиру населяла огромная семья из Африки. Спали вповалку на циновках. Я набиваю каморку сигаретным дымом. Встаю и с треском открываю окно. Внизу мусорные баки, а квадратик двора красный от крысиного яда. Вокруг тылы домов Бельвиля. Их мрачность оживляют только разноцветные сушилки с бельем, выставленным за окна, в которых никого. Мужчины на работе, дети в школе, женщины досыпают или предаются сексу – который у них для себя.

Я закуриваю новый "голуаз" и, оставив лепрозорий с открытым окном, возвращаюсь с машинкой в цивилизованную часть квартиры. В детской из стены торчат оголенные провода. Надо купить патрон, ввинтить лампочку. Но это уже излишества на будущее, пока же можно утешиться тем, что дотянуться ребенок при всем желании не сможет.

В гостиной камин. Бездействующий, но полезный. За его решеткой мы держим официальные бумаги. Еще гостевая моя трехмесячная

виза не истекла, а бумаг накопилось в Париже масса – и это все, что у нас есть. Не считая кровати – основы без матраса.

Я сажусь к окну с машинкой на коленях. Не нищета, в конечном счете, раздражает, в проекте она предусматривалась. Антиэстетичность. То, что обивка основы бордовая, сама она голубая, а одеяло на ней армейское. Пластик стульев и стола. Обои по вкусу хозяина-бретонца. Эстетические разногласия с реальностью и на свободе продолжаются. Вынося все это "за скобки", я устремляю взгляд на флакон Герлена, который отражается в черном зеркале каминной доски. Есть еще утешение, которое всегда под рукой: голубая пачка сигарет. С окрыленным шлемом – бессмертное творение некоего Яхно.

Неужели "голуазы" нарисовал им эмигрант?

Мешок со старой одеждой мы по пути домой заталкиваем в мусорный бак, а завернутую в номер "Русской мысли" стопку супных тарелок, хотя и старых, но полезных, я несу дальше в ночь.

На повороте нас обгоняет машина новых знакомых. Тяжелый "вольво" юзом идет вниз по бульвару Бельвиль.

Я подскальзываюсь, падаю. В газете одни черепки.

– На счастье, – говорю я, складывая их у порога чужой парадной, где уже выставлены мешки для мусорной машины.

– А если они в гости придут? Неудобно.

– Вряд ли они придут.

Новый год, встреченный у русских парижан под блюдом с двуглавым орлом империи Российской, я выблевываю в свой сортир. На кухне Инес делает кофе.

– А где Анастасия?

– Спит.

На ней вельветовые джинсы.

– Убери руку.

Я шевелю пальцем в ее заднем кармане.

– Убери, говорю.

– Почему?

– Весь вечер этой русской на пизду смотрел.

– Я?!

– Не я же. В лоно хочется вернуться?

Окно заиндевело. Я соскребаю, прижимаюсь лбом. Темно. Только одно горит, но почему-то красным светом. Оно зашторено, и жуткий этот свет пробивается по краям.

– Не знаю, о чем ты с ней ворковал, но муж ее мне предложил работу.

– Неужели?

– Домработницей.

– Кем?

– Ну, бонной... К русским.

– Ты – домработницей?

– Почему нет? Соцобеспечение хотя бы будет. А то даже к врачу ребенка не сводить.

– С твоим дипломом, с языками? Неужели, – говорю я, – неужели твой отец покорил эту пирамиду, чтобы ты... Неужели все это напрасно? Полмира убитых, и эта пирамида...

– Какая пирамида? Что за бред?

– Хеопса!

Одним ударом я выбиваю стекло. После паузы осколки разбиваются внизу, в крысином пятачке двора. Она меня втаскивает обратно, и во время: сверху, вырвав замазку, лезвием гильотины выпадает часть стекла и разлетается по кухне.

Я зажимаю себе запястье. Руку я держу подальше, чтобы не запачкаться в своей крови.

Кап-кап – пятнает она плитки.

– Чем же ты писать теперь будешь?

– Ногой...

В издательстве на рю Жакоб беглый советский писатель выкладывает на стол свою советскую книжку и убирает перевязанную руку.

– Рассказы? Во Франции нет спроса, это в Америке...

– Что же, мне в Америку бежать?

– Роман у вас есть?

Чего нет, того нет.

– Вот если бы роман...

Ступени деревянной лестницы круты по-дантовски и взвизгивают.

Из-за стекол кафе "Флор" парижские интеллектуалы, щурясь на солнце, созерцают толчею, а заодно и нас, садящихся на скамью посреди площади Сен-Жермен-де-Пре. Одеты мы на грани приличия, да и бинт мой на руке не первой свежести. Я затягиваюсь до дрожи пальцев на губах, ощущая, как вздувается желвак под ее взглядом.

– Страна романа. Я предупреждала...

Я отстреливаю окурок.

– Пошли.

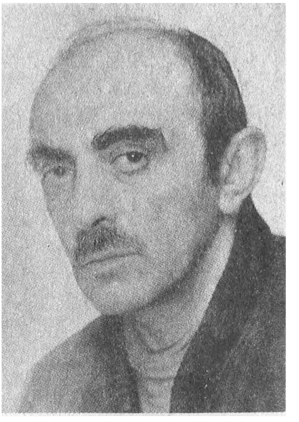
Дома я ввинчиваю лист в машинку. С этой портативки с русским шрифтом началась моя свобода. Над забитым входом в дом напротив проступает замалеванная надпись: Пкфтв Рщеудю Январское солнце уходит с улицы, но верхний этаж еще освещен. Его окна заложены кирпичной кладкой. Выстрела оттуда можно не ждать.

– Хочешь кофе?

Зная, что в доме этого нет:

– *Водки!* – говорю я. – Ма шери. Стакан – и мы с тобой вернемся на круги своя. Но только чтоб граненый и до краев.

Мюнхен



Валерий Краско

"ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ОРБИТУ..."

ОТПУСТИ...

В детстве – было до боли светло
От звезды, указавшей Дорогу
Злу – во благо и благу – во зло,
А народу-то было, народу! –
А теперь – на парсек – ни души,
А в душе – нерожденные души,
Нежно шепчущие: "Не тужи", –
Но бездушье все туже и туже...

Были – в юности – сны высоки
О "народной душе", о блаженстве
Грешных душ, угодивших в тиски
Виршей, грезивших о Совершенстве,
А теперь – в подступившей тиши
Разжимаю души пассатижи:
"Из психушки осиплой души
Отпусти свой народ, отпусти же!.."

Были – в зрелости – сны-мятежи...
А теперь – на морозной заре я

Свой народ выношу из души,
Словно Ленина – из Мавзолея,
И, зажав, словно нищий, в горсти
Юбилейный "полтинник" итога:
"Отпусти, мой народ, отпусти! –
Я прошу всемогущего Бога, –

Добрым словом твой лаз подопру,
Чтобы всех, не по доброму слову
Стосковавшихся, а по "добру",
Отпустил подобру-поздорову –
Пусть влечет их осенняя тьма,
Если Истины листья пожухли,
Из иллюзий – на рынок дерьма –
В каменно-электронные джунгли..."

Я прозрел –
Мне уже не к лицу
Лицезреть лицемерные лица
Тех, кто льнут к золотому тельцу,
Чтобы ликом Любви отелиться,
И от пропасти не отпасти
Паству: пасть палестин – бездна Рока...

"Отпусти мой народ, отпусти,
Я останусь один – без народа..."

1991

* * *

Из детских грез – в гипноз тоски и страха
Уходим – налегке или "с вещами":
Оракулы инфаркта или рака
Недаром на прощание вещали
В небесной канцелярии – во храме –
В ночи мечетей, синагог и пагод,
Что Бездна – коль не в нас,
то перед нами –
Туда нам остается только падать.

Прощаемся – рабы "сроков" и Сроков –
До следующих – после нас – рождений?
До притаившихся в душе "пророков",
Чуть притомившихся от наслаждений?
До встречи в крематории Лубянки? –

Исход Любви – из ада ли, из рая ль –
Печален, как прощание славянки
С евреем, уезжающим в Израиль...

1992

* * *

Аэропорт переполнен –
Видимо, дело к тому,
Что вырывается – с корнем
Зла, излучающим тьму –
Сердце –
на время? навеки? –
В траурном а э р о п о р т у:

Немцы, евреи и греки –
Кто там еще на борту?
Кто там – в тоске первородной
По улетающей тьме? –

Видимо, дело к холодной,
Полуголодной зиме...

Октябрь 1991 г.

* * *

Выхожу один я на орбиту
Века – с кляпом Вечности во рту –
Где звезда не горнему Арбитру,
А звезде доносит на звезду.

Восхожу – без вызова – по зову
Полуистины – из полулжи
Подлых душ – в безвизовую зону
Независимости от души,

А в душе – сквозная, как Идея,
Язва столь постыдного стыда,
Что уже не знаю – кто я,
где я,
Знаю лишь – откуда
и куда...

1991

СНЮСЬ...

Мне снится мама –
снится свет
и храмы осеняет,
но ни души на свете нет –
ни мамы, ни меня нет.

Мне снится папа –
синью дня
вот-вот из тьмы восстанет,
но нет ни сини, ни огня,
ни сына, ни отца нет.

Мне снится явь,
где тлю и гнусь
захлестывает сон мой,
в котором я не сплю, а снюсь
звезде своей бессонной:
погаснет и распнет, слепя,
но воскресит, сияя...

Вновь ускользаю – от себя –
сквозь самого себя – я,
и снова – к Свету вознесен,
как предок первородный, –
я замыкаю смертный сон
на бред внутриутробный,

где из небесных уст – н е т е
слова – насквозь, навылет,
где в бессловесной пустоте
ни звезд, ни синевы нет...

1992

Москва

Евгений Козловский

НОСТАЛЬГИЯ

Новелла

Я придумал это, глядя на твои
Косы – кольца огневеющей змеи.

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза...
Н. Гумилев "Лес".

– А ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СЫГРАТЬ? – А ВЫ ЧТО ХОТЕЛИ БЫ ПОСТАВИТЬ? – И ВОПРОС-ТО, ПОЖАЛУЙ, БЫЛ ТАК СЕБЕ, САЛОННЫЙ, В ТОН РАЗГОВОРУ, – ОТВЕЧАЙ ЧТО УГОДНО, НУ, "ГАМЛЕТА" ТАМ или "Бориса Годунова", ну, из того, примерно, что девяносто человек из оказавшихся в моем положении ста, а я возьми да и ляпни, черт его знает зачем вдруг возьми да и ляпни, мол, "Пятую колонну", и сразу заминка какая-то мгновенная, непонятно почему, в разговоре, во всей дешевой атмосфере, словно откуда-то ясно стало им всем, то есть не только ей, а и им всем, и, может быть, главное, – мне самому, что струна задета искренняя, истинная, туго натянутая, и хоть она и тиха, а перекричала все вокруг: и пластинку, и свечи горящие, и трёп... Ну и ладно, возникла эта заминка и прошла, и дальше все покатилось, как каталось не первый год уже, да и у меня что-то засверлило, засвербило, и глаза, наверное, посерьезнели, потому что у Синевы глаза погрустнели, а она сидела напротив меня и уже взглядом, так сказать, положением визави, была со мной связана; и

эти глаза грустные, и этот выход неожиданный на подспудную, но Бог весть как давно протоптанную дорожку, и все воспоминания о Лене и о себе самом, о том, как я воспринимал ее тогда, в те несколько встреч, что у нас случились, – все это выключило меня из компании в тот вечер уже невозвратимо. И хоть я и ощущал, что следующая моя фраза, скажи я ее всерьез, зазвучит уже не как случайно вырвавшаяся неловкость, а как откровенная непристойность, ну, вроде, как в том анекдоте... Ну, вы знаете!.. Ну, в концертном зале, на шестой симфонии Чайковского... – Кто сказал еб твою мать?.. Извините, значит, музыкой навеяло... – помните? – так вот, хоть я все это и ощущал, кожей чувствовал, сказал-таки, словно меня несло: "А не хотите сыграть у меня..." – и тут поймал себя на том, что забыл имя героини, помню только, что в предисловии к пьесе Хемингуэй пишет: ее можно назвать и Ностальгией, – и так она для меня Ностальгией и осталась: "А не хотите сыграть у меня... не ее... Н о с т а л ь г и ю ?" – и столь нахальна была эта откровенность, столь неприлична, что все сделали вид, будто и не заметили ее вообще, хотя скорее всего и на самом деле не заметили, а Синева ответила что-то, но что именно – я не понял, да и не это, в конце концов, было важно.

Ну, еще какое-то время все продолжало катиться, а потом мы вышли на улицу, на мороз, и пошли все вместе, пока не приспело время расходиться кому куда, и ничего не случилось, и ничего не случилось, и ничего... а когда это время приспело, нам с ней получилось идти в одну сторону, ну, почти в одну, настолько, хотя бы, что проводить ее я был просто обязан, и тут-то она мне и отомстила полной мерой за ту непристойную откровенность, что я позволил себе, и, главное, чуть не затащил и ее.

Ни о какой канаве на нашем пути я и не подозревал, но Синева заранее спросила, и не то чтобы иронически, а эдак... ну, вы понимаете как... спросила, пойдем ли мы напрямик через эту самую канаву, или сделаем крюк по дорожке, то есть не пугает ли, дескать, меня необходимость преодолеть препятствие, и спросила-то в таком тоне, что и не ответить было никак, разве что послать ее на и уйти в свою сторону, но на это меня, увы, никогда не хватило бы, хоть и хотелось часто, но все равно, из ее грубости выход искать было надо, и поэтому, когда пресловутая канава сперва у нее, а потом и у меня осталась позади, я сказал фальшиво, ибо фальшь в любой более или менее спокойный разговор была заложена уже самой ситуацией, я сказал ей фальшиво, так, что меня самого от этой фальши чуть не вывернуло: "Что же вы, Лена, не посмотрели даже, не свалился ли я?" – и она ответила, пусть слишком зло, и все же не так безразлично, во всяком случае, принимая уже мой тон и даже, может быть, извиняясь за предыдущее, ответила, что ничего со мной случиться не могло, потому что я не позволил бы себе оскандалиться (вот словечко!) перед дамой (еще одно!) – ответила, тем самым давая вместе и отпор возможным моим приставаниям, которых у меня и в мыслях не было, и не только сейчас, но и никогда, даже семь лет назад в Ленинграде.

Впрочем, надеюсь, что давала она этот отпор со зла, сама прекрасно зная, что ничего этого у меня и в мыслях не было, а может быть, даже и пуще того – наводя меня на мысль, что не было-то зря.

Ну ладно, на этот вечер все, в общем-то, кончилось, потому что две-три фразы до подъезда, и дальше ей – налево, на третий этаж, мне – направо, через пустырек, и все это – совсем уж врозь, что было, впрочем, даже к лучшему, потому что у меня в мозгу пошел уже, пошел тот Ленинград семилетней давности, и все вокруг нее, вокруг нее да вокруг меня, ходящего кругами вокруг нее...

Но здесь просто необходимо задеть историю неудавшегося моего романа с этим городом, с Ленинградом, потому что иначе и не понять будет ничего. А роман был старый, затяжной, и кончился как-то неопределенно, гадостно, так, что я года три просто боялся встречаться с ним, не подходил к нему, а потом время от времени подходил, но был подчеркнуто вежлив с ним, у нас установились официальные отношения. А что может быть хуже официальных отношений, имеющих прошлым некий интим?..

Любовь к нему возникла давным-давно, еще в детстве, в деревенском ссыльном детстве, возникла заочно, по фотографиям, как у солдата срочной службы к героине-доярке, чей портрет напечатан в "Огоньке", – а первая встреча случилась позже, уже в отрочестве, когда отец, впервые за много лет получивший свободу передвижения внутри своей и моей необъятной родины, упивался этой свободой, как алкаш на ЛВЗ, – мотался то в один, то в другой ранее запретный для него город и меня брал с собою, и я тоже ощущал эту новую свободу, хотя и не было в моей индивидуальной памяти времени без ограничений, а сидело оно во мне, чувство свободы, должно быть, память родовой: от отца, деда, прадедов – чрезмерно, возможно, гордых, но всегда униженных людей – от маленькой и вот уже триста с лишним лет зависимой родины. Совсем другой родины. Объятной.

Итак, мы ездили с отцом, тратили деньги, выданные ему в качестве компенсации за пятнадцать лет отсидок и ссылок, опьяняясь суррогатом свободы, что предоставили ему неожиданно в 1956-ом, но и этого было довольно после слишком долгой насильственной трезвости. Тут-то и случились со мной эти два ленинградских дня.

Автобус от самолета повез нас к аэровокзалу на Гоголя (тогда я еще не знал, что это бывшая м.Морская), и пока мы ехали по Московскому проспекту, мимо парка Победы, мимо чугунных Московских Ворот, потом по Загородному и по еще мощенной в ту пору Гороховой, нет, не Гороховой – Дзержинского (как любопытно в этом переименовании лавочка железного Феликса ассоциировалась с гороховым пальто), и пока мы ехали по нему, по этому городу, я не отрываясь смотрел в окно на слепленные в сплошную стену дома разных, но образующих общую темную сырую гамму, цветов, на зеленые стеклянные круги домовых номеров, на трамваи посередине проспектов, на кариатид с угрюмыми лицами, на новые для меня

вывески "КОФЕЙНАЯ", "РЮМОЧНАЯ", и еще на что-то, и пока мы ехали в автобусе, я не отрывался от стекла, расплющив об него нос, и все же не ощущал свидания с объектом моей д е т с к о й с т р а с т и, то ли потому, что первый раз в жизни воздушный полет назеленил меня и вывернул наизнанку, то ли потому, что все-таки надо же для встречи с городом ступить ногою на его землю, пусть даже болотистую, пусть даже скрытую под булыжником или асфальтом.

И пока мы ждали багаж, я сделал эти первые шаги по тротуару Невского и увидел впереди на площади длинное и низкое зеленое здание, исчерченное вдоль белыми колоннами, и это было странно и никак не вязалось в мозгу ни с фильмами, ни с фотографиями, и я спросил отца, что это, а он ответил: Зимний дворец, и я не поверил, то есть, конечно, поверил, но не вместил в себя, не примирился с этой информацией, не сумел соотнести ее с лежащей перед глазами реальностью, и так было долго, не в тех масштабах времени долго, не часами, не днями, а годами, да и не знаю, прошло ли до конца теперь.

Итак, эти два дня были просто запойными, я не хотел расставаться с ним, с моим городом, ни на час, как не хотят расставаться только влюбленные в первые, лучшие свои дни, не хотел терять времени даже на сон и, уезжая, увозил с собою его живой образ и даже ощущение взаимности, в которую мне тогда не могло еще вериться.

Потом было много встреч — тоже как у влюбленных: каждая свободная минута, каждая возможность и даже невозможность, — и я уже там, у него, в нем, и чем дальше, тем больше я знаю его лицо, его тело, и кажется, что даже знаю и душу его. Обычная ошибка: что душа? — и тело возлюбленной не дано нам познать до конца, пусть оно стройно, красиво и на первый взгляд понятно, как у нее, у *м о е й* северной столицы...

И вот пришло счастье: я в Ленинграде. Уже не в гостях, а навсегда: буду учиться в нем, жить... Я и представить тогда себе не мог, что он, старый мой знакомый, мой возлюбленный, которого я знал в любой месяц года, только что эти годы были разными, при любой погоде, только что не подряд, что он не примет меня, оттолкнет так холодно и зло. А он мог улыбнуться, приласкать маленького смешного провинциала, заходящего к нему иногда на часок с обожающим взглядом, но когда тот обнаглел, захотел стать на равную с ним ногу, стать ЛЕНИНГРАДЦЕМ... нет, даже ПЕТЕРБУРЖЦЕМ... Это уж было слишком. И тут-то весь город с его зданиями, улицами, составленными из этих зданий; с его Невой, речками и канавами, сливающимися в эту Неву и текущими потом в мелкий и мутный Финский залив; с его людьми, полными какого-то мертвенного и неистребимого снобизма, снобизма жителей разжалованной столицы, — стал со мною вежлив и холоден, как только можно быть вежливым и холодным с лакеем. Я не умел этого выносить. Я медленно, постепенно, день за днем сходил с ума, и чем сильнее меня оскорбляли, тем больше мне хотелось быть с ними, с моими оскорбителями, быть принятым в их круг, тем глубже я чувствовал

стыд за низкое рождение – не в нем, в этом великолепном городе-кладбище, а где-то на Дальнем Востоке, в лагере, в исправительно-трудовом лагере. Я не хотел отдавать себе отчета в этих постыдных ощущениях и приписывал их ни в чем не повинным друному климату и пасмурной погоде...

... Мне самому заметна нестыковка полов в рассказе, некая даже в этом отношении двусмысленность: моя возлюленная – то, что называется словами мужского рода: ГОРОД, ЛЕНИНГРАД, ПЕТЕРБУРГ... а тут все мгновенно становится на места: ОНА – город, ОНА – Ленинград, ОНА – Петербург, и тоже не отдаленная какая-то, не лицо, мелькнувшее на Невском, в толпе, как в первые мои приезды, а реальная студентка третьего курса актерского факультета Лена Синева, девочка, которую я вижу каждый день, кроме, увы, воскресений, то на широкой мраморной лестнице, то в огромном прохладном вестибюле учебного театра – бывшего Тенишевского училища, то в вечерних аудиториях, куда заглядываю с однокурсниками, чтобы найти место для репетиций.

Была она для меня королевой института, королевой этого красивого города, и уж тут вполне естественно и понятно, что королева не может иметь недостатков, а только быть прекрасной и желанной. Желанной, впрочем, лишь издалека, так сказать, теоретически, даже не в воображении, а где-то глубже, потому что и воображение такого рода – кощунство, особенно когда воображает выскочка, готовый кичиться этой допущенностью передо всем миром, но с нею-то, с хозяйкой, почтителен, как и подобает рабу по рождению, испытывающему, как бы высоко ни занесла его впоследствии судьба, – потребность хоть в каком-то хозяине, хоть в какой-то родине.

Я вспоминаю, как однажды, в тот же ленинградский год, я попал на квартиру к Игорю Сосюре, моему однокурснику из Красноярска. Он сразу же сумел устроиться на работу – дворником, за что и получил бесплатную комнатку со входом из подворотни – бывшую дворницкую же в старом доме, что-то вроде каморки, из которой Раскольников спер в свое время топор для своего гнусного эксперимента.

И вот – пьяночка под стать комнатке: грязная, тесная, и в числе прочих – Ленина сокурсница Оля, что-то в том же самом роде, и, как знать, повернись Юпитер иначе, – Ленино место в моей душе могла бы занять и она. Умопомрачительно короткое платье. Ноги, обтянутые починенными кое-где колготками, растут прямо из-под мышек...

Принужденно-интимная обстановка и винные пары придали мне развязности, которую я один мог принять за внутреннюю свободу, и я попробовал подступиться к этой самой Оле, но был награжден таким взглядом, что только серьезным усилием воли сумел сдержать слезы обиды и зависти к тупому Сосюре, который вел себя с Олей легко и вольно, и она не отказывала ему, по-видимому, ни в чем: танцевала перед ним соло на глазах у всех, извиваясь длинным развратным

телом, поблескивая влажными от желания глазами (позже я много видел таких танцев в таллинских варьете и на московских бардаках, но тогда!..), откровенно-бесстыдно осталась наедине, когда пришло время расходиться по домам, которых у нас не было. И теперь, встречаясь с Олей в институте, я как-то поджимался и избегал ее глаз: я и стыдился ее, и презирал за развратность, и, тем не менее, должно быть, восхищался ею, тосковал по непонятной мне невозможности оказаться на Сосюрином месте. Но – при всей привлекательности, – в сущности, была она мне гадка, а кто может поручиться, что не один случай хранил меня от подобной встречи с Леной?..

Но, в общем, вам более или менее понятно, какими глазами смотрел я на Лену, приехав спустя семь лет, в провинциальный городок П. договариваться о постановке, какой полный комплект ощущений возник у меня, когда я сидел на ночной полупьянке у завпоста Валерки Никитина, среди окурков, пустых и полупустых бутылок, среди полузнакомых-полунезнакомых людей и смотрел на нее, молчащую о чем-то с Нахамесом, на нее, маленькую актрису маленького театрика, уже несколько лет играющую служанок, девочек на вечеринках (без слов) да машенек из сказочек, переступившую, кажется, ту пору, когда еще можно попасть на *настоящие* роли и стать кем-то хотя бы в масштабах мини-городка, смотрел на нее – гордую, оскорбленную королеву, у которой отобрали королевство, и нет никаких надежд на его возвращение, а естества не отобрали, и все воспитание, выраженное теперь в одном высокомерии, брезгливости, гордости, вроде бы не нужно уже никому, и властность – смешна, а никуда ото всего этого деться не дано.

Тогда, на вечеринке, и возник у меня впервые этот сакраментальный вопрос: почему, собственно, так жалко ее положение? В чем дело? Неужто лишь в органической ненависти плебса к высшему сословию? Или, может быть, она не столь уж и талантли... Додумать тогда я не посмел, ибо видел ее перед собою, а это, сами понимаете, куда сильнее и пьяной трезвости, и холодной наблюдательности, и даже – здравого рассудка...

А вопросец все-таки возник впервые именно тогда...

И вот я снова, как по заколдованному кругу бродя, возвращаюсь к тому институтскому ленинградскому году, когда происходил мой своеобразный роман с Леной (читай – с Ленинградом), роман ущербный и возвышенный вместе, но тем не менее никак не компенсирующий потребности в нормальном половом общении (тьфу!), и потребность эта зрела, росла и просто не могла уже не привести к знакомству с аспиранткой ЛГУ (так случилось) и, как вы догадываетесь, безусловно, не с ленинградкой (я уж не помню, из Саратова, что ли) – к знакомству, произошедшему в читальном зале Публичной библиотеки и развившемуся в многомесячные встречи в стенах этого сырого и холодного города-кладбища, встречи, отдающие некрофилией.

Сначала два-три свидания, кино, концерт в филармонии, стихи,

троллейбусы, улицы и непременное расставание в конце, расставание быстрое, потому что – зима, холодно, но потом – этого уже мало, и вот мы после концерта – на метро – до конечной, выходим к часу ночи и – холодно! – в подъезд большого дома на окраине Московского проспекта, на площадку между этажами, и до шести, снова до метро, целуемся и все такое прочее, и терпеть уже больше нельзя, а в расстроенном мозгу моем – почему-то увертюра к "Кармен" – не по частям, не текущая во времени, сразу вся, целиком, со всеми голосами, и отверженность всеми, бездомность дикая, и желание, и у нее, конечно, тоже, и вот тут-то впервые в натуре то, о чем слышал когда-то в разговорах и анекдотах, в песенке у Клячкина:

Мне сказала То-шень-ка:
– Миленький, мне тош-нень-ка-а...
– Ну чем тебя пора-ду-ю-у?
Что ж, зайдем в парад-ну-ю-у?

слышал и не верил, что это м о ж е т быть на самом деле, не представлял, к а к это бывает... А на улице – зима, и одежда, естественно, зимняя и не подобраться друг к другу... Ничего не поделаешь: я живу в комнате на пятерых, она на шестерых, и как тут подгадаешь, чтобы никого не было дома, а лета все равно не дождаться, и друзей никаких, чтобы тоже не в общежитии, разве Сосюра, но к нему почему-то стыдно, из-за Ол-Лены, что ли? – и ночь идет, тянется, и надо ждать шести, пока метро откроют, и возимся, возимся, и финал такой же, как в той клячкинской песенке у нас, положим, не было,

Все равно мне тош-нень-ко...

Ну, ночей-то напролет в подъезде больше у нас, положим, не было, но и той, что случилась, оказалось довольно, чтобы перейти и психологический, и технологический рубежи. Теперь всякое провожание непременно заканчивается одинаково, но уже в каких-то случайных парадных, в проходных подъездах, и не в три часа, когда люди в основном спят, а в десять вечера. То и дело ходит народ и вынуждает отскакивать друг от друга, делать вид, что мы просто целуемся, а потом...

Потом мы немного обживаемся в этом городе и заводим *собственный подъезд,* тут же на Васильевском, где стоят оба наши общежития: мое – на самом краю, у Гавани, ее – в начале, у Малой Невы, заводим подъезд в глубине двора, где-то посередине острова, линии так на двенадцатой, у Малого проспекта, самого гнилого, самого грязного проспекта в этом районе Ленинграда.

Дому лет сто, он обшарпан и высок, этажей эдак в восемь, этажей еще старорежимных, полнометражных, и, конечно, без лифта, что даже в нашем возрасте – не сахар, а два верхние – нежилые, и это-то уж *н а ш и* этажи, вернее, наши *у ч а с т к и л е с т н и ц ы.* Здесь стоит сундук, и мы на нем занимаемся любовью, не обращая внимания – закалка проходных парадных – на жизнь внизу, на хлопающие двери ленинградских квартир, на разговоры их обитателей, хотя дом-то, в общем, принадлежит им, с их мебелью,с их уютом, с дореволю-

ционными клопами, которых никто и никогда не выведет, потому что все дома – вместе, и клопы путешествуют из квартиры в квартиру, из дома в дом, успешно избегая любых нашествий санэпидстанций.

На сундуке нам почти удобно, и после предыдущих мытарств мы едва ли не счастливы, что этот чопорный город все же дает чужакам приют – мы чувствуем в глубине души, что могло бы быть и хуже, что нам просто дико повезло.

Итак, по вечерам – встречи с аспиранткой, а днем я бываю в институте, вижу там Лену и живу (как вспоминается сегодня) ею одной, хотя, конечно, были в институте и другие занятия, да, были другие занятия и кроме института.

Сейчас, по прошествии семи лет, я совсем уже не помню ту аспирантку, а Лена, моя королева из ЛГИТМиКа, превратилась в маленькую актрису маленького провинциального театра, и Ленинград здесь, вроде, уже ни при чем (Ленинград–Ленин град), а я, пардон, все же *режиссер* и спектакль ставить приехал пусть из вульгарной, из плебейской, но, однако, *реальной* столицы.

Мне стыдно в этом признаться, но как бы я ни крутил, какие бы ни выдумывал мотивчики для своего поступка, правда все равно выйдет наружу: я струсил. Я не занял арт. Е. Синеву в распределении моего спектакля. Я не рискнул покуситься на мнение, сложившееся о ней в труппе. Я слишком боялся собственного неуспеха – это была моя первая постановка.

Поэтому на проводы (в Ленинград) своего еще ленинградского знакомого, режиссера Эдика Нахамеса (он отбыл свои положенные распределением три года в П. и возвращался домой, где его ждала тотальная безработица) я пришел лишь после его клятвенного заверения, что Синевой там не будет.

Шла не совсем обычная пьянка, потому что, во-первых, существовал к ней повод, во-вторых, совершенно пустая, готовая к ремонту квартира выглядела странно, и пили не за уже вывезенным столом, а за снятою с петель дверью на двух собранных в дорогу чемоданах, и сидели на чем-то тоже импровизированном, низко, я уж и не помню на чем, на подушках каких-то, что ли, или на собственных пальто, и много пьяных, и музыка, и танцевали, и плакались в жилетки друг другу по многочисленным углам оголенной трехкомнатной квартиры, едва освещенной свечами, и кто-то занимался любовью в пустом стенном шкафу.

А час спустя Лена таки пришла, принесла с собою, как все, бутылку водки и банку баклажанной икры за двадцать семь копеек, села в самый угол. Все окружение сразу пропало для меня, собралось в ней, как в фокусе, в ее лице, в ее глазах, из которых ни для кого, кроме меня, незаметно – пьянка! – до слез ли?! – текли медленные слезы, а лицо было нейтральным: что забавляло, и чуть-чуть даже пугало, но только чуть-чуть.

Я терпел какое-то время, потом не выдержал, подсел к ней и сказал нечто невероятно пошлое, впрочем, без подъебки, доброжелательно и с той застарелой робостью, что осталась во мне с ленинградских времен, а она продолжала себе плакать, словно не замечая меня, и если бы я не повторил (тут-то пошлость фразы и стала для меня очевидной... ухослышной...) свою фразу еще пару раз, коснувшись даже ее плеча, так смог бы, пожалуй, поверить, что Синева и на самом деле меня не заметила. Все это дало достаточно пищи моим комплексам, стыду перед окружающими (которым, впрочем, и дела-то не было ни до меня, ни до нее, ни до моих комплексов, ни до ее слез — пьянка!), злости на нее, и я вскочил и выбежал вон, как мальчишка, и долго еще в тот вечер ее слезы стояли в моих глазах.

И только на улице я понял, что как-то они с Нахамесом связаны, что я тут совершенно ни при чем.

Тем не менее как раз эти слезы и стали неделю спустя поводом для разговора о Ностальгии, и хотя завел я его вроде бы не слишком серьезно, а все же — всерьез, а потом, после этого разговора, был банкет по поводу открытия сезона, и мы снова сидели визави, а Нахамес был где-то далеко, в Ленинграде, и я решился напомнить о "Пятой колонне", и Лена на этот раз разговор приняла и чуть ли не с дрожью в голосе дала согласие приехать, куда бы я ее ни вызвал на эту роль, после чего я сказал ей...

Впрочем, то, что я ей сказал, я оставлю на конец новеллы, чтобы заранее не продевать припасенного мною сюжетного хода.

"С того вечера прошло еще пять лет", — прочел Юра очередную фразу Арсениевой рукописи, не обратив на нее никакого особенного внимания. Сам же Арсений над рукописью своего "Д.Т.П." споткнулся на этой самой фразе и вспомнил, что с момента написания "Ностальгии" действительно прошло именно пять лет, стало быть, то, что следует в ней дальше, должно соответствовать его сегодняшнему если не положению дел, то, во всяком случае, миропредставлению.

Не соответствовало категорически — футуролог из Арсения получился говенный. Главка представляла собой краткую режиссерскую экспликацию "Пятой колонны", симпатии лирического героя были на стороне республиканцев, мерзацы из контрразведки представлялись ему трагическими фигурами, а сам Филипп — в определенной мере *мягкотело-интеллигентным,* усталым, но бескомпромиссным борцом за прогресс и социальную справедливость. Несколько декалитров слез невинных детей казались лирическому герою дорогою, но необходимой платою за светлое будущее.

В предполагаемом спектакле звучали революционные песни вплоть до "НИнтернационала" (припасенного Арсением для "Д.Т.П."), и светился в глубине сцены зеленым светом настольной лампы номер Дороти, *Ностальгии,* — образ тоски по обветованной земле, по свободной родине, за которую якобы Филипп и дрался, не особенно разбираясь в средствах.

В этой же главке лирический герой разъяснял Риму и миру свою уникальную неповторимость и неповторимую уникальность, согласно которым в провинциальном театре, где постановка осуществлялась, не могло найтись более подходящей кандидатуры на главную роль, чем он сам (Испания ассоциировалась у него с собственною мифической родиной, с маленькой страною гордецов – с Польшей), и приглашал на роль Дороти Лену Синеву, потому что (цитирую дословно): "все актрисы труппы были мне более или менее понятны и, кажется, не таили в себе зернышка, из которого произойдет превращение Дороти в Ностальгию. А Лена во всяком случае *могла* в себе что-то сохранить от того моего впечатления о ней, от тех слез... Собственно, для меня она и была *Ностальгией*...

Дальше шла главка следующая:..

Начались репетиции. На Лену я особого внимания не обращал, едва ли уделяя его больше, чем технологически необходимо, меньше, пожалуй, даже: боялся какого-то сглазу, что ли, и в голове моей вертелись тысячи вопросов и вопросиков, проблем , проблемочек и проблемок, которые всегда вертятся в режиссеровой голове перед выпуском спектакля, как бы затем только, чтобы не оставить места вопросу главному. В один из выходных, когда дело уже вовсю шло к премьере, я не смог усидеть дома. Выходной пытался выбить меня из бешеного выпускного ритма, и я, изо всех сил сопротивляясь, пришел в театр, бродил по сцене, смотрел, как монтируются и доделываются декорации, мешался под ногами завпоста и художника, выпиливал лобзиком какую-то раму, сломав при этом десяток дефицитных пилок, мотался без дела по мастерским, словом, – всем мешал. Я не заметил наступления вечера и, хотя чувствовал себя вымотанным, как после полного дня настоящей работы, домой идти вовсе не собирался: я жил одним спектаклем, дома им одним жить не хотели, да и не могли. Я побродил по зимним улицам, замерз, зашел в кино, но не высидел там и четверти часа. Проехался по кольцу в теплом автобусе, но и это было совсем не то, что надо, и я направился к известному мне дому в Заречье, где Лена жила в одной из театральных квартир, деля ее с молодой актрисочкой, комсоргом театра, у которой я пару раз бывал вроде как в гостях. Где-то за пределами сознания я отметил, что соседка в отъезде, и Лена должна быть дома одна.

Лена открыла мне дверь, и по виду ее я сразу понял: она никого не ждала, давно уж не ждала, меня же – менее всего. Одета она была по-домашнему, некрасиво: в халатик и теплые рейтузы, сбившиеся в складки на коленях. Она засуетилась: "Здравствуйте... в Тамары дома нету... Она в Москве. Ах, вы ко мне? Конечно, конечно, проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Что будете пить? Чай или кофе? Идите пока на кухню, я сейчас, вот только Андрюшку уложу (Лена приехала с двухлетним сыном, нисколько на Нахамеса не похожим), а потом, когда заснет, перейдем в комнату. Яблок хотите печеных? Я купила сегодня килограмм, сделала. Правда, они не очень удались, но

вы попробуйте, может, ничего?.. Или вы есть хотите? Не стесняйтесь, я могу яичницу приготовить, и суп вот есть... Разогреть?"

Мы сели пить кофе. (Еще одна футурологическая ошибка – не предугадал Арсений, что кофе к тому времени вздорожает впятеро). Говорить было не о чем. То прошлое, что нас связывало, скорее, впрочем, не нас, а меня, не могло стать темой ни для разговора, ни даже (тем более) для подтекста – так переменилось и перемешалось все, выбило почву из-под ног. Оставалась еще работа, но не за тем же я приперся сюда, чтобы о работе говорить, все же не затем... "Да, яблоки очень вкусные". "Правда?" "Конечно". "Хотите еще? Да вы не стесняйтесь, у меня много!" (Много! ты ж сама сказала только что: всего килограмм и купила – на себя и на пацана!) "Нет-нет, спасибо... Да что вы суетитесь, Лена? Все нормально..." – и мы опять пьем кофе и разговариваем какие-то идиотские разговоры, похожие на сплетни, – об актерах, о главном, о директоре, – но ведь не за тем же я пришел сюда! – и я говорю: "Знаете, Лена! Ну ее, работу! Побеседуем лучше о жопе... Хотите, я вам стихи почитаю? (Бог ты мой! Представляю, какой иронией обдала бы она меня, скажи я ей что-нибудь в этом роде тогда, пять лет назад, или того хуже, в Ленинграде, совсем уж давно... А тут... Впрочем, может, мне это только казалось, может, и не обдала бы...) "Да, конечно". (А что ей еще отвечать: гость, вдобавок – режиссер...) И я, сам уж не понимая зачем: "О знал бы я, что так бывает..." и дальше, дальше, все почему-то Пастернака, то, се, потом "Вакханалию", а потом, как-то так, по-идиотски, со значением, что ли:

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки...

и встал, подошел к ней – как бы дотронуться, прикоснуться, начать *это дело* (неужто я шел сюда как раз за этим!?), чтобы не так глупо, не так пошло выглядело – рукой к голове, волосы погладить (для начала!), а она резко встала, отскочила: "Вот этого, – говорит, – не надо. Только этого – не надо!" – и говорит не то что в те годы, а как-то испуганно, просительно, чуть не плачет, словно я ее насиловать собираюсь, – и мне уже стыдно за себя: "Да нет, Лена, что вы, вы меня не так поняли!" (тАк, тАк она меня поняла, очень даже тАк!), – и я снова за стихи, теперь уже за Тютчева, но слава Богу, хоть не про любовь, а:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба – безнадежна...

и что-то еще о сверхзадаче спектакля, но она уже не слушает, вся в моем этом жесте дурацком, в каких-то мыслях, по-видимому, с ним связанных, и перебивает в самом неподходящем месте: "Простите... Можно вопрос? Только честно, а? Нет, правда, для меня это очень

важно..." – а мне уже страшно ее вопроса, я знаю, что это тот самый вопросец, который я не то задал, не то побоялся задать себе самому тогда, в П., на пьяночке, – "Так можно?" "Да конечно же, можно, что за церемонии?!" – а ответа-то я так до сих пор и не знаю, нет, пожалуй, знаю, только не вслух, не словами. "У меня правда совсем ничего не выходит в вашем спектакле? Да? Только честно: да или нет?" Уж лучше бы я не знал этого сраного ответа! "Видите ли, Лена, во-первых, не в моем, а в нашем, во-вторых, дело то сложное, и о нем так просто говорить..." – и тут я понес такую галиматью, что только диву можно даться, откуда столько шелухи в мозгу, а Лена, собственно, и не слушает уже, а только как-то странно и грустно мрачнеет и глядит на спящего сына. Я окончательно запутываюсь в периодах собственной речи, встаю, одеваюсь: "Ну, я пойду. Еще раз спасибо за все, за кофе, за яблоки... Извините". (Кретин!) "Да нет, ничего, очень хорошо, что зашли. Приходите еще..." – и дверь захлопывается.

Словом: давайте ходить друг к другу в гости – мы к вам на именины, вы к нам – на похороны...

Назавтра Лена репетировала нервно и плохо, хуже обычного, то и дело забывала текст, мизансцены, и я несколько раз при всех наорал на нее – не сдержался, хотя очевидно было, что орать следует на себя одного. На другой день Лена не пришла совсем...

.....

– Такси!

.....

У ее подъезда – я был уверен, что увижу их там, хоть и заклинал судьбу обмануть мою уверенность, – стояло два РАФика: санитарный и милицейский, и старухи, в это время дня обычно гуляющие с детьми и собаками, сбились в кучку и качали головами, как фарфоровые японские болванчики. Я ускорил шаги чуть не до бега и поспел как раз к моменту, когда двое санитаров выносили из подъезда носилки с телом, покрытым с головою простыней и Лениным зимним пальто сверху. Больше всего меня поразили торчащие из-под простыни босые, несмотря на мороз, ноги и темное мокрое пятно вокруг пяток на брезенте носилок. Я рванулся в подъезд, потрясая своими ничего в этой ситуации не значащими корочками, пробился мимо сержанта, перегородившего вход, и вскочил на третий этаж. Дверь в квартиру была настежь, внутри суетились люди в форме и штатском, фотограф сверкал вспышкой, пожилая женщина у порога держала на руках Андрюшку. Тот спрашивал у женщины своим трогательным, еще не привыкшим как следует к родному языку за два года жизни, голоском: "А зачем дяди унесли маму? Когда ее принесут назад?" Увидев меня, мальчик обрадовался: "Дядя Андрей пришел!" "Гражданин, вы к кому?" – отнесся ко мне человек в штатском. Я объяснил. "Вскрыла вены. В ванне. Не знаю. Клиническая смерть. Сказали, что попробуют. В реанимацию, на проспект Мира..."

Я зашел в ванную комнату. Это был *объединенный санузел*, гованна, унитаз зиял белым жерлом, в нем журчала вода. Ванна на три четверти была налита кровью, разумеется, и это была просто вода, но в нее Лена выпустила всю свою кровь. Вода, которая легко распознавалась по полупрозрачным розовым на светлых плитках пола лужицами,образовавшимися, когда Лену вытаскивали из ванны, по лужицам, растоптанным ботинками санитаров в розовые следы на пути к выходу. Впрочем, о цвете следов за порогом можно только догадываться: пол в квартире покрашен краской бурого, ржавого цвета. Цвета запекшейся крови. Женщина, держащая Андрюшку на руках, – соседка из квартиры рядом (Тамара из Москвы так и не вернулась) – помогла мне одеть ребенка. – "Мы идем к маме?" – "Да, да, к маме. Конечно, к маме". Милиционер что-то выписал из моего паспорта, взял телефоны, служебный и домашний. – "Простите, она оставила какое-нибудь письмо? Записку? Извините..."

Мы с моим маленьким тезкой вышли на улицу. Записка! На кой черт мне понадобилась записка?! Словно и так не все было ясно...

...Словно и так не все было ясно...

Ах ты, Господи! Да конечно же – не все! Ничего не было ясно! Больше того – ничего этого даже и произойти-то не могло! Неужто женщина, имевшая мужество (каламбур) остаться одна, родить и воспитывать ребенка, неужто актриса, способная покончить с собой, почувствовав художническую, творческую несостоятельность, да еще при вопросе – врожденную или благоприобретенную в столкновении с реальностью, неужто она в свои тридцать с лишним лет смогла бы оказаться в подобном положении? Неужто не посетило бы ее это горькое разочарование, это презрение прежде, коль уж она оказалась натурой столь неординарной, чтобы покончить счеты с не подошедшей ей жизнью, настолько хотя бы прежде, чтобы успеть уйти из театра или примириться со вторыми ролями на нем и не ездить черт знает куда за какой-то там Ностальгией? Неужто она, наконец, олицетворение того странного города, о котором, собственно, я и веду речь, о городе и о родине, неужто она могла покончить с собой, что означало бы (по крайней мере для меня) самоубийство и Ленинграда, а уж куда яснее, что город этот более чем когда-либо далек от идеи самоуничтожения. Напротив, он жиреет, набирает новые жизненные соки, обстраивается, окружает Черную Речку многоэтажными бараками, засыпает потихоньку ненужные ему теперь каналы, обзаводится собственным метрополитеном, плюя на болота, и вот уже его полномочным представителем, его депутатом в Верховный Совет становится парвеню с замашками вдруг разбогатевшего купчика, коротконогий, длинноносый грузин (что за везенье такое России на грузинов!), хам, мой прежний учитель Гоги Товстоногишвили, лауреат всего, чего только можно: Сталинских, Ленинских, Бериевских, Государственных, Хрущевских и прочих премий, профессор, Георгий Александрович Товстоногов. Вот он – действительно Ленинград: в меру продажный, в меру способный, в меру заносчивый, безмерно пошлый, давно уже

утративший все связи с Петербургом (в котором, впрочем, тоже следовало бы разобраться), а вовсе не усталая женщина, оказавшаяся у жизненного барьера со взрезанными венами.

Нет, так развязывать наши с Синевой отношения не годится. Все надо кончать раньше, в том же самом городке П., да и куда пошлее. Без особого труда я мог бы сделаться ее любовником, и, разумеется, не дольше, чем до моего отъезда: мне наверняка стало бы скучно с нею в конце концов, и не в том смысле, что спать хочется, а в том, что не хочется, ибо никакая жизнь не может питаться одними воспоминаниями.

И вот как раз тот самый банкет, описание которого я прервал ради фантазий о "Пятой колонне" и Ностальгии, ради жутеньких картинок самоубийства с трогательным детским лепетом и кровавыми следами на полу, картинок несколько дурного тона, тот самый банкет, когда мы снова сидели с Леной vis-a-vis, а Нахамеса не было, тот самый банкет и застал меня над размышлениями о рассказе, застал даже уже над написанным его началом, и, естественно, я не мог отказать себе в мстительном удовольствии поделиться мыслями и фантазиями с Леной. "Вы знаете, Лена, я ведь пишу о вас маленькую повесть. Я же вас помню давно, еще по ЛГИТМиКу". "Вот как? Любопытно (она уже немножко подвыпила). Что же будет в этой вашей *маленькой* повести?" "Давайте, Лена, без иронии. Я ведь серьезно. Я не могу сказать вам точно, я только начал... Но сюжет уже придумал весь... Хорошенький, миленький, с трагическим финальчиком: вы кончаете с собой, вскрываете вены. Ванна... Все в крови... На полу – лужицы, скорая помощь, милиция..." "Словом, все в крови, а вы – в белом фраке?" "Лена, я же просил!" – "Да какая уж тут ирония... Так недолго и сглазить..." (Боже! Что за дурацкое кокетство! Противно-то как! Но и я хорош!) – "Да нет, ничего, вы не волнуйтесь. Я сам чувствую, что такой финал фальшив, что в данном случае не может быть ни самоубийства, ни какой иной трагедии. Точнее так: трагедия есть, но она как раз в том и заключается, что *трагедии быть не может*... Повесть закончится очень спокойно, тривиально, с пошлиночкой... Никак... Словом, как в жизни. Как в нашей с вами жизни. А эти страсти-мордасти, этот финал с самоубийством – если хотите – просто тоска по времени, когда люди совершали поступки. Тоска по людям, умевшим их совершать. Ностальгия".

Разговор продолжается о чем-то вокруг да около (мы сидим за столом, выпиваем), Лене не то надоедает, не то – тревожно, и она перебивает меня и нашу тему: "А вообще-то смешно. Прозу ни мне, ни про меня еще не писали. Стихи – да, а вот прозу..." "Ну что ж, стихи так стихи. Это проще всего. Что вам написать? Сонет? Триолет? Мадригал? Стансы? Балладу?" – "Сонет, пожалуйста", – жеманится Лена. – "Одну минутку", – выебываюсь я, беру салфетку и пишу сразу, без помарок, заготовленные, впрочем, загодя стихи:

В дыму повиснувшая дверь,
в дыму, в бутылках, в разговорах,

и все, что было – верь – не верь:
воспоминанье, глупость, шорох.

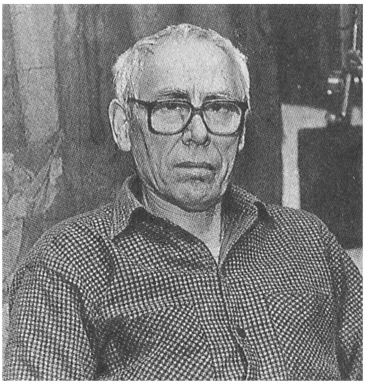
Ах, сколько было их, которых
внесли мы в список то потерь,
то – неудач, то – просто в морок,
но все ж мечтали... А теперь:

Попойка, Господи, попойка!
Устрой их души, успокой-ка!
А я держусь на тормозах,

лущу поэзию из прозы,
но вижу только эти слезы,
от свеч стоящие в глазах.

Прошла еще пара недель. В предпремьерной лихорадке короткие случайные встречи с Леной в коридорах театра все же не проходили для меня бесплодно, накапливая подспудную потребность хоть в какой-нибудь, хоть в плохонькой, но определенной развязке нашей истории. Истории, которая, впрочем, скорее всего и не существовала нигде, кроме моего воображения.

Спектакль наконец вышел. Все было о'кей. Управление культуры приняло без поправок. Я откланялся свое на двух положенных премьерах, оформил документы, получил деньги и купил билет. Самолет летел утром, а вечером я сидел дома и переживал специфическую тоску, знакомую, наверное, всем режиссерам – своего рода профессиональное заболевание: в момент рождения спектакля, твоего детища, сам ты становишься никому не нужен, все налаженное тобою, твоим разумом, твоей кровью, катится само по себе, может быть, даже хуже и хуже, а может быть, и лучше, но – само по себе.



Игорь Холин

ИЗ КНИГИ СТИХОВ-ПОСВЯЩЕНИЙ

* * *

И. Кабакову

Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом
Барачного типа.
Коридор. 18 квартир.
На стене лозунг: "Миру–Мир!"
Во вдоре Иванов
Морит клопов.
Он – бухгалтер гознака.
У Романовых – пьянка,
У Барановых – драка.

* * *

В. Кропивницкой

Работал как вол –
Шлифовал ствол.
Норму перекрыл вдвойне.

Повесили портрет
На стене.
Пришел домой,
Не разогнуть спины.
Попросил чай у жены.
Лёг на кровать.
Думал:
"Пришла пора помирать".
Во сне бормотал что-то...
Утром ушел на работу.

* * *

В лавке запах пота.
Вдруг
Свисток:
Кто-то у кого-то
Свистнул кошелёк.

* * *

Э. Штейнбергу

На стенке завода приказ.
Несколько концелярских фраз:
"Рабочие,
Сдавайте в контору
Расчетные книжки!
Иванова уволить:
На складе излишки".
Директор – Утюгов
Бухгалтер – Сапогов

* * *

Д. Краснопевцеву

Работал на заводе – "Мосштамп".
Ремонтировал штамп.
Кто-то по ошибке
Включил рубильник...
Раздавило, как муху,
Остался один напильник.

* * *

Г. Сапгиру

Жил за городом
На даче.

Покупал билет,
Кассирша не дала сдачи.
Ругается на весь вокзал,
На последнюю электричку
Опоздал.
В гостинице
Без паспорта
Не пустили в номер...
Ночевал на улице,
Простудился и помер.

* * *

Л. Мастерковой

Пейзаж прост:
Улица,
Мост,
Дом.
В нём уют,
Добытый с трудом,
Горбом.
Муж лег на диван,
Уснул.
Газета выпала из рук:
Читал про Ливан
И Ирак.
Рядом жена.
Живот растет.
Думает:
"Вдруг война,
Заберут.
Убьют!"
Обняла его,
Зарыдала...
Он
Бормотал сквозь сон
Что-то об экономии металла.

* * *

Олегу Васильеву

Голова лыса.
Похож на крысу.
Работает
Директором.
Ухаживает за
Секретарем-машинисткой.
Написал ей

Записку.
Речь,
Пропитанная интимностью,
Нежна...
Ответила взаимностью:
Квартира нужна.

* * *

Ю. Мамлееву

Иванов – круши
Иванов – пляши
Иванов – стой
Иванов – строй

* * *

Э. Неизвестному

Напился.
Обострился миокардит.
Думал:
"Водка вредит,
Нужно на что-то решиться,
Пока
Окончательно не заболел".
Вспомнил:
Забыл похмелиться –
Повеселел.

* * *

О. Рабину

Повесился. Все было просто:
На службе потерял он
место.
В квартире кавардак:
Валяется пиджак,
Расколотый фарфор...
Вдруг –
Сирены звук...
Вошел милиционер, ворча,
За ним халат врача.
А за окном
Асфальт умыт дождем,
И водосточная труба
Гудит,

Как медная труба.
Сосед сказал: "Судьба".

* * *

А. Синявскому

На днях у Сокола
Дочь
Мать укокала.
Причина скандала –
Дележ вещей.
Теперь это стало
В порядке вещей.

* * *

А. Глезеру

Осень

С плеч деревьев
Облетают листья
С плеч людей
Слетают головы
С плеч галактик
Падают звезды
С плеч Вселенной
Сваливаются
галактики
И так
Каждый год
Осень
Орудует топором
Как палач
Плачь
Мировая система
Плачь
Лей
Мировая система
Кровь
Лей

* * *

Севе Некрасову

Привет товарищ Рыбников
Я к вам товарищ Рыбников
А вы товарищ Рыбников
Ко мне товарищ Рыбников

* * *

А. Звереву

Институт красоты
Гардины
Картины
Цветы
Пришла Нина
Образина
А Ниночка
Специально для тебя
Кабиночка
Вошла
Ойл
Нерп
Бойл
Терп
Вышла
Ангельское личико
Ангельские ножки
Из-под шляпы
Выглядывают рожки

РЫБИНА РАБИНА

Выйдя из метро
На Преображенской площади
Иду
По улице Богородицы
Проходя
Мимо дома № 8
Укорачиваю шаг
Здесь живет
Мой друг
Оскар Рабин
Художник
Друг Генриха Сапгира
Родственник
Евгения Леонидовича Кропивницкого
Муж Вали
Сестры Льва
У которой
Двое детей
Катя и Саша

Зимнее утро
2 января 1968 года
Просыпается город
Открываются
Конторы
Магазины
Дворники
Соскребают снег
Скребками
С тротуаров
Люди
Спешат на работу
Возле дома № 8
Они как и я
Замедляют шаг
Люди смотрят в окно
Где выставлена
Новая картина
Икона
Перевернутая вверх ногами
Люди удивляются
Возмущаются
Как такое могло произойти
В наше время
Куда смотрит
Начальник ЖЭКа
Пропаганда религии
Строжайше запрещена
Но люди
Как всегда
Ошибаются
Это не икона
Это автопортрет
Художника
Оскара Рабина
На фоне
Окна в окне
Через которое
Мы заглядываем
В собственные души
И ничего не видим
Автопортрет
Выглядит так
Умудрённое жизнью
Лицо
Голый череп

Коротко подстриженные усы
Лик спокоен

Я ничего не вижу странного
В том
Что проходящие мимо
Ошибаются
Принимают
Автопортрет за икону

Самого Рабина
Нет дома
Он идет
По улице Богородицы
Он спускается в метро
Он спешит
На работу
На шоссе Энтузиастов
В клуб
В котором недавно
Была выставка
Левых
И который переименован
В дом культуры
Им. А. Глезера
Выставки этой
Организатора
И вдохновителя

Рабин берет молоток
И прибивает
Дамские туфли
К стене
Работа не трудная
Не требующая внимания

Прежде Оскар
Служил
На станции Лианозово
Машинистом паровоза
Или грузчиком
Или десятником
По выгрузке шпал
Или контролером
в тамошнем парке
Или билетёром в кино

В наше время художник
Должен быть универсалом
Чтобы уверенно чувствовать
Завтрашний день

Оскар Рабин таков
Он
Толкователь снов
Сеятель облаков
Созидатель мостов
Мастер по ремонту часов

Я собственными глазами
Видел
Как он
Рассекая
Морские волны
Головой касаясь
Небесной сини
Мчался на мотоцикле
Я не удивился
Подобному обстоятельству
Людям
Которым исполнилось 40 лет
Полет к облакам разрешен

Оскару Рабину
Сегодня стукнуло
40 лет
На тахте
На полу
На подоконниках
Сидят художники
И поэты
Лев Кропивницкий
Александр Глезер
Генрих Сапгир
Игорь Холин
Сева Некрасов
Евг. Леонидович Кропивницкий
Андрей Амальрик
Н. Вечтомов
Овсей Дриз
Ян Сатуновский
Ю. Нетгар
Алик Русанов
Алик Гинзбург

Леонид Пинский
И другие

И женщины
Симпатичные
И не очень

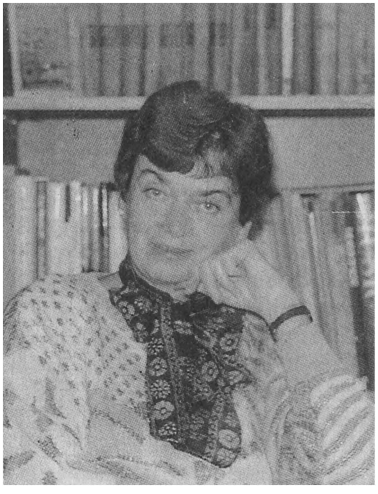
Гости пьют чачу
Привезённую Глезером
Из Грузии
Закусывают
Рыбиной Рабина
Этой Рыбиной
Можно накормить
Не только гостей
Приглашенных
И не приглашенных
Но и всех
Людей Мира
Идущих
По улице Богородицы
И тех
Которые толпятся
На Преображенской площади
У метро
И тех которые
Толкаются
На Преображенском рынке
Продают
Всякую всячину
Разные
Ненужные вещи
Старые ватники
Рабочую спецовку
Вонючее
Хозяйственное мыло
Ржавые керосинки
Резиновые ботики
Брезентовые плащи
Старые книги
Части от мотоцикла
Заслонки для печек
Горшки и кадушки
Главное в жизни
Еда и тепло
Вино и женщины
Воздух и вода

Небо и Звезды
Земля и деревья
Дома и книги
Солнце и горы
И все остальное

Так да здравствует
Приображенский рынок
Да здравствует
Улица Богородицы
Да здравствует
Лианозово
Да здравствует
Сам художник
Да здравствует
Жена художника
Да здравствуют
Родственники художника
Да здравствуют
Дети художника
Да здравствуют
Картины художника
Да здравствуют
Друзья художника
Да здравствует все
Кто приглашен
На день рождения
И те кто не приглашен
Да здравствует

Рыбина Рабина

Москва



Алла Туманова

ПОД СОЛОВЬИНОЕ ПЕНЬЕ

Рассказ

Этой весной я впервые услышала пение соловьев. Было какое-то странное чувство – да неужели это в первый раз?! И в самом деле, я уже в детстве слышала, как поет соловей в сказке Андерсена: он пел божественно, великолепно! Император сладко засыпал под его пение. Соловей Алябьева заливался, щелкал в колоратурных руладах знаменитой Барсовой – черная бумажная тарелка радио превращалась в волшебную птицу. И хотя все говорили, что певица неимоверно толста, голос ее рисовал что-то маленькое, грациозно-воздушное. Но соловей был не только сладкозвучен, он еще имел разудалый посвист былинного Соловья-разбойника или превращался в какой-то непонятный гибрид соловья с канарейкой и пел "жалобно", хоть песня была грубо-скандирующая, солдатская и веселая. В общем, я давно была знакома с соловьиным пением и видела на картинках маленькую серую пташку, напоминавшую обычного воробья.

Куда же надо было ехать, чтобы услышать настоящего соловья? Наверное, куда-нибудь за тридевять земель в тридесятое царство.... Далеко, далеко от шумного города. Но я прожила всю свою жизнь в центре этого города, редко бывала на природе, и соловьиное пение стало для меня атрибутом искусства, символом красоты, как пейзаж, нарисованный художником.

И вот этой весной произошло чудо: в двадцати минутах езды от Кремля мы наслаждались соловьиным концертом! Более банальной картины я не могла бы нарисовать: весенняя ночь, лунный свет заливает неясные очертания низины реки, невысоких деревьев и кустов. В воздухе майская прохлада, аромат пробуждающейся природы. А над всем этим благоуханным великолепием острый, пронизывающий голос соловья.

Смешно даже пытаться передать словами, что чувствуешь в такой момент. Можно нагромоздить еще гору штампов, затрепанных эпи-тетов, вроде тех что уже присутствуют в этом описании, но никто не услышит соловья, если его никогда не слышал раньше. Так что не стоит и задерживаться на соловьином концерте. Да и рассказ этот вовсе не о соловьях. Примечательно лишь место, где он происходил.

Деревня, которая здесь испокон веку стояла, называлась Давыдково. И прославилась она не пением соловьев, хоть пташки эти, видимо, жили здесь всегда: и в те времена, когда деревня была далеко от Москвы, и в те времена, когда город приблизился к ней, и тогда, когда деревня уже стала частью столицы. Не зная о строжайших правилах прописки, соловьи продолжали здесь вить свои гнезда, улетали осенью на юг, а весной снова возвращались в эту сугубо запретную зону, не предъявляя вида на жительство. И пока это им сходило с рук. Видимо, пение не беспокоило хозяина сих мест, а может быть, оно будило в нем нежные воспоминания о детстве и юности, когда он сам мог слагать стихи о природе своей родной Грузии.

Хозяином этих мест был Сталин. Собственно, он был хозяином и Москвы, и всей страны. Но лично для себя он облюбовал мелководную речку Сетунь и окрестные негустые леса, где за высоким забором скрывался построенный для него дом. Говорили, что в этом доме даже был сооружен тайник или бункер, где Сталин и проводил остаток своей жизни.

— Здесь расположена дача Сталина, — шепотом говорили друг другу люди. Приближаться к ней никто не решался: по лесу ходил патруль, дорога резко сворачивала, повороты ее исчезали за деревьями, и никто даже издали не мог увидеть высоченного забора в два человеческих роста.

Сталин сам следил за строительством дома. Однажды рабочих предупредили, что приедет комиссия с очень важными лицами. Всем приказали не поднимать головы и продолжать работать. Но такой приказ можно было и не выполнить. Много лет спустя, когда мы проезжали мимо дороги, ведущей к даче, шофер такси рассказал нам, что он работал в то время на строительстве и, ослушавшись приказа, незаметно поглядел на приехавших. Среди военных он увидел низкорослую фигуру в длиннополой шинели и узнал Сталина. Тут только рабочие поняли, для кого строится дом. Другой таксист тоже завел с нами разговор о сталинской даче, когда мы миновали поворот дороги, ведущей к ней. Он как бы невзначай заметил: "Здесь, кажется, жил Сталин?" Когда мы подтвердили, он ухмыляясь добавил: "Говорят, он

умер..." Мы засмеялись – шел 1966 год, и было самое время усомниться, умер ли властелин или притаился где-то здесь и командует нами по-прежнему.

Много мрачных слухов ходило об этих местах. Рассказывали, что в деревне Давыдково жили евреи-ремесленники, которых в одночасье всех поголовно выселили. Остальных жителей подвергли тщательной проверке до седьмого колена и оставили доживать век в маленьких захудалых домишках вдоль реки Сетунь. На карте Москвы появилось странное название – "Хозяйство Волынское". Это было подсобное хозяйство со стадом коров, с огородами, теплицами, которое снабжало дачу свежими продуктами. Там и работали проверенные давыдковцы.

Шли годы. Ничто не нарушало заведенной жизни хозяйства. На рассвете пели петухи, возвещая приход нового счастливого дня, и заря окрашивала нежным светом стены древнего Кремля в центре Москвы и одновременно – стены скрытого от глаз дома за высоким забором. В Кремле гас свет в кабинете, где всегда работал на благо народа вождь. Но там была только его тень, а сам он проводил бессонные ночи здесь, за бронированными стенами и окнами днем и ночью охраняемого дома. Заслышав пение деревенских петухов, Сталин ложился спать и долго еще ворочался, одолеваемый тяжелыми мыслями и воспоминаниями.

Дача мало напоминала древний замок, но в ней тоже водились призраки, как и подобает обители короля, падишаха, магараджи. Призраки приходили навестить старого, одинокого человека. Его боялись все живые, но мертвым уже ничего не было страшно, и они располагались в этом отрезанном от мира кабинете как у себя дома. Сколько их было – старых и молодых, родных по крови и породнившихся с ним в общей борьбе то против царя, то против Троцкого, то против друг друга...

Старик привык к гостям, они даже развлекали его в долгие ночи. Тягостно было лишь оттого, что все его в чем-то упрекали, всем им от него что-то было нужно. К одним он относился по-отечески, журил, что зло против него держат и на том свете. Объяснял, что в их судьбе не виноват, а вся вина лежит на тех, других, которые уже понесли заслуженное наказание.

Те, другие, тоже навещали Сталина. Их визиты были неприятны и мучительны. Они заводили нескончаемые споры, в которых хозяин чувствовал себя не так, как обычно – великим, мудрым, непререкаемым. Жалкие, мягкотелые интеллигенты! – он презирал их с юности. Недаром само слово "интеллигент" давно уже стало в народе бранным. Только путаются под ногами и мешают ему вести народ к коммунизму. Все их сомнения, мучения совести гроша ломаного не стоят. Всех скопом он их терпеть не мог. Но среди них были особенно ненавистные ему болтуны. Все в них было чужое, враждебное. Блики, отбрасываемые пенсне, скрывали глаза, речь пересыпалась не всегда понятными иностранными словами. В его представлении их объединяло что-то трудноуловимое, не только еврейская национальность,

внешнее сходство, манера поведения, но и значительно большее – их общий путь в революционное подполье, какая-то отрешенность от всего, что не связано с идеей, которой они служили.

Сталин ненавидел евреев и никогда не скрывал этого. Собственно, от кого скрывать – их ненавидел весь мир, гнали от себя все народы во всем времена. Гитлер сделал много, чтобы освободить человечество от этой нечисти, он сделает еще больше. Но надо спешить: евреи, словно многоголовая гидра – отсечешь тысячи голов, и тут же появляются новые. Они проникают во все щели. Сколько их в науке, в искусстве! Напялят русскую фамилию, как маскировочный халат, и, глядишь, все уже окружено ими. У его ближайших соратников еврейские жены, его дети наплодили ему еврейских внуков. От этой последней мысли горечь из желудка подступила к самому горлу. Действовать надо немедленно! Какие только планы не приходили в голову – один лучше другого. Надо все взвесить и все решить самому – никому он не мог доверить, может быть, последнее великое дело своей жизни. Он знал, как разжигать зависть, страх, раболепство и ненависть людей друг к другу. Он хорошо знал своих подданных...

Не знал мудрый Сталин только одного, что не хватит ему жизни для завершения этого последнего дела. Смерть настигла его внезапно. Сама ли она пришла или ей помогли найти дорогу другие – об этом, наверное, никто точно не узнает.

Опустел дом-крепость, а деревня Давыдково затаилась в ожидании своей дальнейшей участи. Недобрые предчувствия ее сбылись – приказано было снести деревню с лица земли, а на ее месте построить новый район Москвы и присвоить ему имя исчезнувшей деревни.

Мы оказались теми счастливцами, которые из центра Москвы, со знаменитого Арбата, переселились в этот новый, с иголочки, район. Коммуналку с семнадцатью соседями мы сменили на кооперативную отдельную квартиру. Ничто не могло омрачить радость новоселов: ни безликие серые дома, ни захудалый сельмаг с полупустыми полками, ни бездорожье и непролазная грязь, в которой мы буквально тонули. Нам все было нипочем: ведь это временные трудности, а впереди прекрасная жизнь. – Где вы теперь живете? – спрашивали меня. – Неужели согласились уехать навсегда из центра? – И я объясняла, что наша новая квартира в Давыдкове совсем недалеко от Кремля – ведь это правительственная трасса, по которой "слуги народа", то есть правительство, ездят на свои загородные дачи. И обязательно добавляла: – Там расположена бывшая дача Сталина. В слове "бывшая" было так много смысла: и дачи нет, и Сталина нет, и место из запретного для таких, как мы, стало местом нашего жительства. – Приезжайте в гости, – приглашала я. – Мы пойдем гулять на реку, в лес, и я покажу вам высокий забор, в целочку можно и дом увидеть.

Дача продолжала функционировать и охранялась днем и ночью. По слухам, там жили уже не властелины, а наоборот, потерявшие власть политические эмигранты-коммунисты. Такое соседство нас не смущало и настроения не портило.

* * *

Наш дом стоял в конце поселка, и окна квартиры смотрели в настоящую "неприбранную" природу. Не какие-то пыльные бульвары и подстриженные скверы города, а живая речка с зелеными берегами была перед глазами. Я чувствовала себя совершенно счастливой. И даже без сил добравшись после работы домой, тут же забывала о поездке в переполненных автобусах, о тяжелых сумках с продуктами, которые надо было тащить из центра. – Вот сейчас передохну, поем, и мы с сыном и нашей собакой пойдем гулять в лес.

Но сегодня меня ждал дома неожиданный сюрприз. Меня встречает радостным лаем собака. А где же Дима? Обычно мой одиннадцати-летний отпрыск набрасывается на меня с кучей новостей. Отметки, замечания учителей, требование классного руководителя немедленно прийти в школу, классные интриги и смешные истории – все это сыплется, как горох из мешка. На этот раз в квартире необычная тишина. Произошло что-то экстраординарное.

– Дима, где же ты? У тебя все в порядке? – Из глубины квартиры доносится неясное бормотание. Я нахожу сына в столовой на диване. Он сидит, поджав под себя ноги, уставившись в открытую книгу. Но читать он не может, так как в комнате темно.

– Почему ты не зажигаешь свет? Ты испортишь себе глаза. – Дима поднимает от книги лицо, он как будто осунулся. Я никогда не видела его таким серьезным.

– Мама, ты только не волнуйся (это его постоянная присказка). Завтра меня будут бить всем классом, – говорит он очень спокойным и тихим голосом.

– За что?! Что ты натворил? – Я всегда была готова к очередным неприятностям в школе. Мой сын был "недисциплинированным", "несобранным", "несознательным", "неусидчивым", "невнимательным". Все эти "не" я выслушивала на каждом родительском собрании от классной руководительницы Веры-Серы, грузной, непривлекательной учительницы истории Веры Сергеевны. Кроме Веры-Серы, она имела и другую подходящую кличку: Задумчивый бегемот. Не вполне было понятно, почему бегемот был задумчив... Я никогда не видела эту энтузиастку своего дела не в боевом настроении. Ее хриплый голос можно было слышать на большом расстоянии от класса, где она вела урок истории или воспитывала своих подопечных на очередном классном собрании.

– Из тебя никогда не получится настоящего коммуниста! – вопила она каждому провинившемуся, иногда занимаясь исподтишка рукоприкладством: то пихнет, то встряхнет за шиворот. Дети ее терпеть не могли, а родители... Ну, об этом я могла только догадываться. Сама же я обходила школу десятой дорогой, боясь случайной встречи с Бегемотом. К жалобам учителей на моего непоседливого сына я привыкла. Учился он неплохо, особенно отличался на уроках французского языка. Дисциплина же дело десятое. Некуда было парню

энергию девать, вот и носился на переменах по школьным коридорам, где правила предписывали бедным ученикам от мала до велика ходить чуть ли не парами и переговариваться вполголоса. Ну кто может выдержать это – я вполне сочувствовала всем отступникам, и двойки по поведению просто игнорировала. Бывали в школе и потасовки между мальчишками: то появится Дима с синяком на лбу, то с шишкой на голове. Все это я считала нормальным.

– Но почему тебя будут бить всем классом, чем ты провинился перед всеми?

– Я разбил пингвинье яйцо, – сказал он тихо.

– Какое яйцо? Пингвинье? Ты разве был в зоопарке? – недоумевала я.

– Да нет же, мама, яйцо было не у пингвина, а у Вережкина в портфеле. Ему папа привез его из экспедиции, и он приносил показать яйцо на урок зоологии.

– Как же ты разбил это яйцо, если оно было не у тебя в портфеле, а у Вережкина?

– Я выбил у него портфель из рук. У нас такая игра: подбираемся незаметно сзади и своим портфелем выбиваем портфель у зазевавшегося.

– Что за идиотские у вас игры, – возмутилась я. – Но почему Женя Вережкин не всыпал тебе хорошенько сам? Причем тут весь класс?

– Жене было не до драки, он заглянул в портфель и заревел. На меня с кулаками набросился Соков, но его остановил Семёнов. Он сказал, что Вережкин принес яйцо для всего класса, чтобы все посмотрели. И теперь весь класс мне объявляет бойкот и все вместе меня будут бить.

Дима сидел в углу дивана, опустив голову. Я хотела его обнять, успокоить, но он отстранил меня. Я чувствовала по его рассказу, по голосу, что мучит его больше всего не предстоящая расправа, а собственная вина. Надо было ему чем-то помочь, ободрить.

– Ты ведь не нарочно это сделал, ты просто забыл, что у Вережкина в потфеле это злосчастное яйцо. Хочешь, я пойду завтра с тобой в школу и поговорю с классной руководительницей? Ребятам надо объяснить, что произошло все случайно. Вы ведь все выбиваете друг у друга портфели, значит, это мог сделать и кто-то другой.

Закусив губы, Дима отрицательно покачал головой. Ему, видно, очень хотелось заплакать, но он сдерживался что было сил.

– Нет, я один пойду в школу, пускай бьют, я не боюсь. А как ты думаешь, мама, когда меня ударят, я должен стоять без движения или я могу защищаться? – У меня холодом сжалось сердце! Так во все времена расправляются с беззащитными жертвами, забивают камнями, рвут на части. Жестокость детей под стать жестокости взрослых. Как защитить мне моего бедного сына, попавшего в беду?

В комнате стало совсем темно, а мы все продолжали сидеть на диване, думая каждый свою думу. Для меня это был маленький эпизод, такой обычный в человеческом обществе, так часто повторяющийся, что и удивляться нечему. Одиннадцатилетний мальчик не мог сделать подобных обобщений. Для него это было соединение несоединимого – справедливое возмездие за несуществующую вину. Он не хотел ничего плохого, вышло все случайно – значит он не виноват. И в то же время драгоценное чудо с Южного полюса навсегда исчезло из-за него. Как совместить, понять? Ничего не решив, мы разошлись по своим комнатам. Утром, провожая Диму в школу, я снова предложила пойти с ним вместе, и снова он категорически отказался. На вид он был спокойнее и веселее – видно, привык к мысли, что надо "претерпеть", и тогда все станет на свои места. Когда захлопнулась за ним дверь, я совсем разволновалась: ну как я могла отпустить сына на расправу, хоть и детскую! Эти милые детки могут и изувечить. Я решила пойти в школу, вместо того чтобы идти на работу (позвоню в лабораторию и скажу, что заболела, как-нибудь потом объясню ситуацию, меня поймут). Время близилось к девяти. По моим представлениям потасовка должна была произойти после уроков, так как времени перед началом занятий просто не было, а на перемене не решатся устраивать драку на глазах учителей. Так что мне надо быть около школы часам к двум. Идти к Вере Сергеевне я не решалась, ко всем сыновним неприятностям прибавится еще и ябедничество, этого дети, как правило, не прощают, вернее, это можно не всем. Я решила подождать Диму в отдалении от школы и идти на большом расстоянии за ним так, чтобы он меня не заметил. И если ему достанется пара тумаков от "возмущенного народа", я не стану вмешиваться и даже не расскажу потом о своем ослушании. Но если все примет опасный оборот, кому же заступиться за него, как не мне.

С трудом дождалась я появления ребят на широком школьном крыльце. Они вываливались из дверей, группами или поодиночке, с такой быстротой, как будто ветер им дул в спину. А вот и знакомые физиономии: круглая отличница и любимица всех учителей Вера Столповская. Форма на ней сверкает, в косах банты. Сережа Штовба и Вова Зеликман, не переставая о чем-то горячо спорить, сбегают по лестнице. Откуда-то сбоку к ним незаметно подкрадывается знаменитый второгодник Соков. Бац, и у Зеликмана из рук выпадает портфель. Соков гогоча убегает, а пострадавший спокойно поднимает портфель с земли, не прекращая спора. А вот и мой герой появляется в дверях. (Форма нужна другая, замечаю я про себя – фонари на коленях, руки торчат из коротких рукавов. Вид оставляет желать лучшего). Я вижу издалека, что ребята из его класса собрались группой и о чем-то совещаются. Главенствует верзила Семенов, он размахивает руками и что-то кричит.

Дима спускается с лестницы и не оглядываясь идет по направлению к дому. Идти ему недалеко, минут пять-семь. Не теряя его из

виду, я следую по параллельной тропинке. За ним на расстоянии идет группа из двенадцати ребят, я точно сосчитала, среди них и девочки. Жени Вережкина я не вижу, может быть, от расстройства он сегодня и в школу не пришел, а может быть, доверил отомстить другим, такая позиция удобнее. По дороге идут люди, спешат с работы домой с тяжелыми сумками в руках. Я прячусь за их спины, не выпуская из виду ребят.

Недалеко от нашего дома Соков обгоняет Диму и преграждает ему дорогу. Я вижу, как ребята теснят его к площадке, где стоят огромные контейнеры для мусора. По поведению ребят мне кажется, что ни у кого из них нет охоты драться, и все совершается ради ритуала. Кто-то толкает Диму, кто-то ударяет в грудь портфелем. Девочки зло что-то выкрикивают, но "рук не марают". Сердце мое стучит где-то в горле, руки леденеют, еле сдерживаю себя, чтобы не броситься на помощь. Я подошла уже совсем близко, меня могут заметить и узнать. Но все обходится, акция завершена, последние тычки получает жертва, и для подведения черты Семенов вырывает из рук Димы портфель и бросает его в глубокий мусорный ящик. Ребята безразлично поворачиваются спинами и расходятся по разным дорогам.

Все в порядке, кровопролития не произошло, я начинаю дышать спокойно и иду в обход к дому, чтобы прийти позже Димы. Мне показалось, что он не плакал, так что все ничего, могло быть значительно хуже. Когда я спустя полчаса вернулась домой, сын с аппетитом уплетал подогретый им самим обед.

– Ну, как прошел день? – спросила я, стараясь придать голосу полное безразличие.

– Ничего особенного не было. По математике четверка, по французскому пять, – с полным ртом ответил Дима.

– А как же кончилось дело с разбитым яйцом?

– Как видишь, я цел, – коротко заключил он, явно не желая разговора на эту тему. Вечером, когда Дима уже спал, я тщательно помыла его портфель, побывавший в помойке.

Ну вот – все проходит, и эта неприятность ушла из нашей жизни. Я надеялась, что предполагаемый бойкот не состоится: детская память короткая, злиться ребята долго не умеют. Но я была не права. На другой день меня ждал новый сюрприз. На этот раз, вернувшись с работы, я застала Диму в слезах. Дело приняло совсем другой оборот.

– Меня обзывают евреем! На всех электрических столбах написали. "Манов – еврей", – всхлипывал он. – Я не один еврей в классе, а обзывают только меня.

Среди одноклассников Димы было несколько еврейских фамилий, но я подозревала, что все эти ребята были записаны русскими. Мимикрия давно приняла всеобщие размеры. Мы ведь тоже носили русскую фамилию.

Не могу сказать, чтобы все услышанное было для меня какой-то особой неожиданностью. Мы жили в один из тех повторяющихся в нашей интернациональной стране периодов, когда антисемитизм висел

над головой уже не как мифологический дамоклов меч, а как обыкновенный топор, который можно повесить, по меткому народному выражению, в зловонном помещении.

За свою жизнь недолгую мой сын испытывал на себе удары этого топора намного чаще, чем выпало на мое детство, хотя и мне досталось немало. В недалеком прошлом оскорбляли, называя жидом. Но за это теоретически можно и под суд попасть. Теперь все упростилось, и кричат тебе в лицо или шипят в спину – еврей! Значит это то же самое: презираемый, чужой, не такой, как все. Совсем маленький Дима не раз спрашивал, почему ему на улице говорят, что он еврей, как это узнают, ведь на лице не написано. Давным-давно велись у нас дома душеспасительные разговоры, когда ребенку объясняют такие вещи, которые в нежном возрасте понять трудно или невозможно, которые заставляют маленького человека ощутить враждебность мира, почувствовать свою уязвимость, стать в оборонительную позицию. В общем, мы закладывали в душу сына то, что и делает еврея евреем во все времена и всюду, где бы ни посчастливилось ему родиться.

И сейчас все происходящее для меня было ясно и даже логично. Одно происшествие вытекало из другого: разбил ценный экспонат, нанес ущерб коллективу – значит чужой, враждебный элемент, не как все. Но ведь он же еврей, этим все объясняется, все стало на свои места.

В голове моей был кавардак. Что делать, с кем я должна разговаривать, на кого жаловаться, и главное – кому?! Я понимала, что самое правильное было успокоить в первую очередь себя, а потом с холодной головой прочесть очередную лекцию сыну: о человеческой гордости, о равенстве, о благородстве и низости, о неумолимой, непоборимой реальности.

Но это уже было, и не один раз. Сейчас я справиться с собой не могу, я взорвусь от бурлящего во мне возмущения. Все эти долгие на бумаге размышления пронеслись в моей голове в одно мгновение. Я не успела снять пальто и выслушав новое сообщение сына, сразу же побежала в школу. К кому – я сама не знала. К директору, к заведующему учебной частью, к старшей пионер-вожатой – много было наделенных властью фигур на административной лестнице. Не идти же мне к Бегемоту, который терпеть не может сына! Но я дисциплинированная гражданка и знаю, как должно идти по начальству. Начинать надо с классного руководителя.

Занятия уже закончились, и я нахожу Веру Сергеевну в учительской. По моему виду она понимает, что произошло что-то особенное, и приглашает меня в пустой класс. Садимся мы по установленной традиции: она – за учительский стол, а я – за парту, с трудом умещая под ней ноги. Такое положение делает меня зависимой, на ступеньку ниже: ученица и учительница. Так бывает на всех родительских собраниях, когда мы, родители, выслушиваем и похвалы, и разносы в адрес своих детей. Но мы всегда как бы на месте детей, а

учительница на недосягаемой высоте. Мой муж давно уже отказался ходить на эти собрания, считая их для себя унизительными. Ну а я терпеливо сношу все, понимая, что иначе хуже будет сыну.

– Так я вас слушаю, товарищ Манова. – На меня смотрят настороженные холодные глаза. Я с трудом справляюсь с волнением. У меня дрожат руки, срывается голос. Я не хочу показывать своего состояния, но ничего не могу с собой поделать.

– Вера Сергеевна, моего сына в школе оскорбляют, против него ополчился класс, его побили.

– За что? – спрашивает она, и чуть заметная розовая краска зали-вает ее щеки и шею. Мне ясно, что за этим вопросом скрывается ее осведомленность.

– Дима нечаянно разбил пингвинье яйцо, принесенное Женей Вережкиным.

– Нечаянно ли? – многозначительно, как бы для себя, говорит учительница. А мне бросает: – Самосуд недопустим в советской школе. Я им покажу! Если хотите, приходите завтра на пионерский сбор. Я созову экстренный сбор после уроков, – решительным голосом заключает Вера Сергеевна и как бы невзначай добавляет: – Посмотрим, что нам ребята расскажут?

Знает стерва, всю эту историю и делает вид, будто слышит в первый раз, – думаю я, – уж кто-нибудь из любимчиков ей донес, а она решила не встревать. Вот только не уверена, известна ли ей суть оскорблений, о которых я упомянула. Но она меня ни о чем больше не спрашивает, и мы сухо прощаемся.

Я возвращаюсь домой с тяжелыми мыслями. До сих пор действующими лицами событий были подростки, школьники. Теперь на сцену выходит педагог, "учительница первая моя", как поется в песне – выражение, ставшее уже нарицательным. Она и самоотверженная воспитательница, любящая детей, бессребреница (а кто еще согласится за гроши работать?), и в то же время существо крайне ограниченное. Ей бы умывать деток да зады подтирать, а она их учит в меру своих сил. Дети чувствуют убогий ее интеллект, называют без всякого уважения "училкой", но одновременно и любят, как добрую тетю, если "училка" добра к ним. Ну, а если не повезет, и к серой личности педагога прибавляется злобный характер? Что тут поделаешь, надо терпеливо переходить из класса в класс, чтобы удрать от мегеры.

Наша Вера-Сера была значительно хуже предыдущей, действительно первой учительницы моего сына. Дина Михайловна хоть любила своих малышей-первоклассников и второклассников. За это мы прощали ей смешные ошибки в русском языке. То потребует "обложить" учебники, что значит обернуть их бумагой, то, прислушавшись к шуму в конце класса, громогласно заявит: "Что-то у меня в заду шумно". Однажды устроила переполох, изобретя новую систему всеобщей слежки, с целью поднятия дисциплины. Придя домой, Дима рассказал о новых правилах на уроках. Дина Михайловна назначает дежурных на каждый день. Кто этот дежурный, ученикам не известно.

Весь день дежурный следит за всем классом, тайно делает пометки и в конце дня сдает их учительнице. Мы пришли в ужас от этого детского КГБ. Муж побежал в школу разъяснять "училке", что она воспитывает доносчиков, шпионов. Но бедная Дина Михайловна не поняла, почему папа Димы так разволновался. Она ведь заботится о дисциплине в классе и ничего плохого в ее нововведении нет. Все же слежка была вскоре отменена, то ли не принесла результатов, то ли еще кто-то выразил свое неудовольствие.

Но все познается в сравнении, и, получив вместо доброй, заботливой Дины Михайловны Веру-Серу, этот бурлящий котел энергии, коммунистической сознательности, воспитательского рвения, кристальной честности и невежества, мы пришли в полное уныние. Преподаватель истории на несколько лет, да еще классный руководитель! Вот не повезет., так не повезет. Хоть переходи в другую школу или переезжай в другой район, или... Это последнее "или" еще не появилось на нашем горизонте.

На другой день после уроков я пришла в школу на экстренный пионерский сбор. Когда я вошла в класс, ребята уже чинно сидели за партами, сложив как полагается руки перед собой – поза, демонстрирующая прилежание и повиновение. Как их много: милые, розовощекие, глазастые. Такие паиньки на вид, что тут же хочется забыть причину, по которой они здесь собрались. Я села на свободную парту и стала разглядывать ребят. Мне казалось, что я со всеми давно знакома, знаю их характеры, склонности. Уже больше четырех лет я слышу их имена, рассказы об их успехах и неудачах, о проказах и происшествиях. На собраниях встречаю родителей и выслушиваю отчет классного руководителя о каждом ученике. Почти одна семья: один за всех и все за одного – это их девиз. Сначала их приняли скопом в октябрята, потом в пионеры, еще через пару лет они станут все без исключения комсомольцами. Ну, а еще позже пополнят ряды коммунистической партии. Широкая, светлая дорога перед этими самыми счастливыми на земле детьми. Они все это твердо знают, ни тени сомнения на их детских лицах. Я перевожу взгляд с одного лица на другое, а они в свою очередь разглядывают меня, понимая, почему мама Димы присутствует на сборе отряда.

Но вот на пороге класса появляется Вера Сергеевна. Грузное ее тело на коротких ногах энергично катится в направлении капитанского мостика – письменного стола в центре между доской и рядами парт. Гремя крышками парт, ребята встают и секунду приветствуют ее стоя. После милостивого "садитесь" все плюхаются на свои скамейки. В классе воцаряется непривычная тишина, в ней ощущается настороженность – ведь ни для кого не секрет, почему созвали их на собрание. Чувствуют ли они себя виноватыми? Сомневаюсь. Они ведь коллективно вершили справедливый суд. Я смотрю на сына, он сидит наискосок от меня, и я вижу его пунцовые щеки, вспотевший лоб и беспокойные, напряженные глаза. Я нервничаю не меньше ,чем он. Ну скорей бы уж началось это дурацкое разбирательство! Учительница

что-то изучает в большом классном журнале. Потом, не глядя на класс, она коротко командует:

– Манов, выйди к доске. – Дима медленно вылезает из-за парты и подходит к учительскому столу. Он стоит вполоборота к классу, видимо не желая, чтобы видели его лицо.

– Итак Манов расскажет всему классу о своем поведении., – торжественно объявляет Вера Сергеевна. В классе чувствуется общее оживление, как будто все поняли, что поведение плохое только у Манова, а все остальные ни в чем не провинились.

– Вот сегодня подходящий случай, – продолжает учительница., – перед всем классом сознаться в своих недостатках. Какие у тебя недостатки, Манов?

– Я не уступаю старшим место в автобусе, – не поднимая головы, тихо говорит Дима.

– А еще? – наступает на него Бегемот.

– А еще... Я не перевожу стариков через дорогу. – Бормочет мой сын. Он собрал вспомнившиеся и набившие оскомину правила из устава пионеров. Видимо, не этих признаний ждет от него Вера Сергеевна. Она начинает свое медленное передвижение по классу.

– Ну, вспомни, Манов, какие еще ты совершаешь нехорошие поступки, несовместимые со званием пионера?

Я ловлю быстрый взгляд Димы, брошенный в мою сторону , просит помощи, но чем я могу помочь?!

– Ну, что же ты молчишь? Расскажи классу, как ты выбиваешь у ребят из рук портфели. – В голосе учительницы явное раздражение. Она останавливается перед Димой и сверлит его глазами.

Теперь я поняла стратегию этой воспитательницы будущих строителей коммунизма: судилище устроено над Димой. Моя жалоба возымела действие: Бегемот разъярился и хочет растоптать ни в чем неповинного.

– Но, Вера Сергеевна, у нас в классе почти все выбивают портфели. Это такая игра, – более уверенно возразил Дима.

– Разве это правда? – обратилась Вера Сергеевна к классу. – Вот ты, Иванов, скажи, ты выбиваешь портфели?

– Я не выбиваю, – не вставая, буркнул Иванов.

– Видишь, Манов, вовсе не все так поступают. – Но не успела она окончить фразу, как Иванов, движимый вдруг поснувшейся совестью, неожиданно внес уточнение:

– Я, Вера Сергеевна, уже два дня не выбиваю портфели.

Наступило общее замешательство. С задней парты кто-то пропищал: – Все это делают, чего врать-то! – Еще несколько голосов присоединились несмело: – Да, да, это игра, все так дурачатся, не один Манов.

Лицо учительницы покрылось буроватыми пятнами, она явно не ожидала такого поворота дела. Контроль над заранее спланированными событиями ускользал из ее рук. Нужно было на ходу перестраиваться. После нескольких секунд раздумья она пошла в наступление:

– В результате твоего недопустимого поведения был разбит ценный экспонат – пингвинье яйцо! Ты не можешь этого отрицать. – Что мог Дима возразить, в этом он был виноват.

– Я сделал это нечаянно, – почти шепотом сказал дима.

– Ну что ж, – заключила Вера Сергеевна, – ты совершил плохой поступок, и ребята решили тебя наказать. Разве это не справедливо?! Хотя в другой раз я требую, чтобы такие дела не решались кулаками, – для порядка добавила она.

Но тут неожиданно раздался громкий, какой-то окрепший голос Димы.

– Вера Сергеевна, я не жаловался, что меня побили, это ничего, так должно было быть. Но потом меня оскорбили по национальности! – Вера Сергеевна останавливается перед Димой и пристально смотрит ему в лицо.

– Как же тебя оскорбили? – делая удивленные глаза, спросила она.

– Всюду написали: Манов – еврей. – На лице учительницы появилась тень улыбки.

– А какая твоя национальность? – вкрадчиво спросила Вера Сергеевна.

– Еврей, – ответил Дима, он вытер рукой капельки пота над верхней губой и бросил растерянный взгляд в мою сторону. Вера Сергеевна снова поплыла между партами.

– Так что же тут оскорбительного? – продолжала она мягким голосом. – Вот посмотри в классный журнал, сколько национальностей в нашем классе. И грузинка есть, и украинцы, и русские – для меня вы все одинаковые. Ты, Манов, еврей, и никакого оскорбления в этом слове нет.

Я окаменела. Мне бы встать, мне бы подойти к этой сволочи и плюнуть ей в лицо или хотя бы крикнуть, чтобы она прекратила этот издевательский спектакль, где никто из присутствующих, кроме нее и меня, не понимал, что действительно происходит. Комедию-то ломала она для меня, меня она хотела наказать за непокорность, за то, что не снесла молча положенное таким, как я, унижение.

Из оцепенения меня вывел звонкий голос моего сына:

– Да, еврей – слово не оскорбительное, но... – Дима остановился на секунду. – но... когда его пишут на столбах и заборах, это уже оскорбление!! – Дима почти выкрикнул эту фразу. Видимо, он сам был горд, что нашел нужный ответ. Я ликовала! Я не ожидала от одиннадцатилетнего мальчика такого ответа.

Бегемот задумалась – наступило короткое молчание. Теперь мне было уже смешно, весело наблюдать за явной растерянностью немолодой, опытной учительницы, которая всегда знала ответы на все вопросы и была твердо убеждена, что правда только на ее стороне. Спектакль не удался, и она была обескуражена. я даже толком не помню, как она закончила пионерский сбор. Наверное, подвела какой-то итог, пожурила своих подопечных. Но все было так невыразительно, что не отлось в памяти.

Мы возвращались домой молча. Я чувствовала себя такой усталой, будто на мне воду возили. Сын тоже выглядел измученным, бледным. Какой след останется у него в душе от всего пережитого? Ведь это на первый взгляд маленький эпизод. На самом деле после перенесенной травмы раньше времени взрослеют, иногда озлобляются или замыкаются в себе. Но я надеялась на веселый характер Димы, на его беззаботность и незлопамятность. Смутные воспоминания шевелились во мне, не давая успокоиться. Ведь и в моем детстве было что-то подобное. Я вспомнила с необыкновенной ясностью, как во время войны в далекой казацкой станице меня хотели побить за то, что я дружила с еврейской девочкой, беженкой из Витебска. Почему-то меня принимали за русскую, а подружка моя говорила на идиш, у нее был сильный акцент. Над ней смеялись, называли жидовкой. Я почти забыла этот случай, была я в то время моложе, чем мой сын сейчас.

И вот память вытащила на поверхность все, что казалось погребенным навсегда. Вытащила и больно ткнула носом: Смотри, такой опыт не забывается никогда, чуть что – и горькая обида прошлого ошпарит и соединит настоящее с давно прошедшим... Нет, надо перестать обо всем этом думать, ничего же ужасного не случилось.

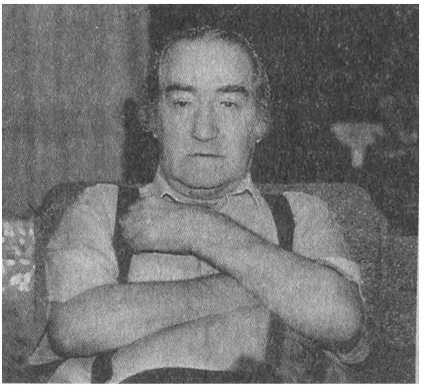
Вот идем мы с сыном по нашему новенькому району. Уже ничто не напоминает здесь деревню, на месте которой стоят многоэтажные жилые корпуса. Но деревенское название района осталось – Давыдково, и осталась пока нетронутой зеленая пойма реки Сетунь, и лес, а в лесу по-прежнему стоит дом за забором.

– Бывшая дача Сталина, – уже громко рассказывают друг другу люди.

– Говорят, он умер?! – многозначительно заметил шофер такси в тысяча девятьсот каком-то году. Может быть, и умер, но тень его не покинула этих мест, этого тайного дома, где на краю могилы безумный властелин вынашивал свой последний сокрушительный план уничтожения евреев. Деревня Давыдково вошла в историю. Я, и мой сын, и Вера Сергеевна, учительница истории, и дружные пионеры, и даже разбитое пингвинье яйцо – мы все уже принадлежим истории. Мы ее песчинки, заполняющие время. Время истекает нами. И останется ли след?

И над всем этим временем и пространством разливалось соловьиное пение. Я только сейчас его услышала. Каким бальзамом оно обволакивало душу, исцеляло, успокаивало. Снова пришла весна, вернулись из далеких краев соловьи. Они не замечают перемен на земле. Поколения сменяют друг друга, тираны приходят и уходят... А соловьи остаются.

США



Морис Поцхишвили

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

СОМНЕНИЯМ

Оставьте меня –
Внимания вашего
Я пока что еще не достоин.

* * *

Так же как после жизни есть жизнь,
Есть и смерть после смерти,
Которой не пожелал бы я и врагу.

* * *

Почему-то
трусу
не везет
никогда.

* * *

Если кому-нибудь на свете и трудно жить,
То в первую очередь человеку, ибо
Среди животных, наверное, он единственный,
Кто с самим собою борется постоянно.

* * *

Близок Бог,
Если ты сам
Не отдален от
Него.

ПЕРЕД БИТВОЙ

Если обречен на поражение,
Проиграй так,
Чтоб сочли тебя
Достойным победы!

* * *

Горе тому,
кому
и вспомнить
не о чем!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будь начеку,
Когда враг
Обряжается в маску
Друга!

НАВЕРНОЕ

Александру Глезеру

У них нет пули,
Чтоб отнять у меня жизнь.
Нет у них и веревки,
Чтобы меня повесить.
Не зарежут они меня,
Потому что нож потеряли.
И поэтому,
Чтобы меня уничтожить,
Вооружились они
Клеветой.

* * *

Убийца, который
Еще никого не убил,
Опаснее много убийцы,
Который уже убивал.

ПЛАКАТ В ЦИРКЕ

Лаской
укротили
даже льва.

* * *

У клеветника
Не бывает друзей,
Но зато
Подстрекателей –
Сколько угодно.

* * *

Многие полагают,
Что продлевают мне жизнь
Лекарства.
А я-то жив
Лишь любовью к тебе.

* * *

Лишь на мгновенье
В мыслях мелькнуло –
Уже не люблю.
И тут же подумалось –
Видно, я мертв.

* * *

Чем порадовать мне тебя,
Чтоб порадоваться самому?

* * *

То, что теряю я,
Совсем не терпение –
Ведь у терпения
Тоже есть границы.

* * *

Устыдился рода своего навечно,
Когда мне сердце растоптал навек
Человек. Человек-зверь,
Зверь-человек.

Но исцелил меня и помог
О ране безмерной забыть навек
Человек. Человек-Бог,
Бог – человек.

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ АНГЕЛА В НЕБЕ

Оскару Рабину

Мальчик рисовал то, что видел в небе,
Рисовал то, что не могли рисовать другие,
Говорил то, что не могли сказать другие,
Мальчик рисовал то, что видел в небе.

И злая молва меж людей загуляла:
Ненормальный, мол, он – в руки иглы вонзили,
В рубашку смирительную облачили,
Чтоб сочинять неповадно стало.

Но ты, мой Господь Всевидящий, свидетель,
Что он рисовал то, что есть на свете,
Лишь то рисовал он,
что видел в небе.

СИЛЬНЫМ МИРА СЕГО

Погубила вас
Ваша алчность.
Ваша ненависть
Вас сгубила

Погубила вас
Ваша жестокость,
Глухота ваша
Вас сгубила,
Равнодушие ваше
Сгубило вас,
Загубила вас
Ваша сила!

* * *

Каждый стих
Мне стоит жизни,
И жив я
Только потому,
Что палачи стихов не читают...

СИЛА ВЕРЫ

Кто верует в то, что
Говорит с Всевышним,
На самом деле
С Ним говорит!

* * *

Людям
терпения
не хватает.
Когда б не так,
То со Всевышним
Жили опять бы
Они в раю.

* * *

Кто говорит сегодня
О моем одиночестве,
Кто осуждает его?
Странно –
Ты же со мной!

Перевод с грузинского
Александра Глезера

Юрий Мамлеев

ШАТУНЫ

(Отрывок из романа)

Тайна секса Извицкого уходила далеко в прошлое, когда он был еще "просто" сексуален.

Он прошел тогда ряд "посвящений", главным образом по отношению к женщине и мужчине. Но ни то, ни другое не захватывало его полностью. Он искал "своего" секса, который пожрал бы все подсознание, не оставив ни одного подземного ручеечка.

Извицкий считал, что человек, который владеет своим членом, владеет всем миром. Ибо весь мир, все потустороннее и тайное для Извицкого болталось на ниточке секса.

В конце концов, он просто искал подходящий объект для любви. "Не может же быть, – думал он, – чтобы такая чудовищная, подпольная, духовная и в то же время чувственная энергия была направлена только на эти ничтожные существа.

Извицкий метался от одних ощущений к другим, включая все механизмы воображения; населял свою постель всеми представимыми и непредставимыми чудовищами: Гаргонна с поэтическим даром Рембо; некий синтез Чистой Любви и Дьявородицы; сексуализирован-ный Дух; змея с нежной женской кожей и душой Блока – все побывали тут. Это примиряло с жизнью, но не более; параллельно шли контакты и на внесексуальном метафизическом уровне.

Освобождение пришло не сразу. Оно началось после тайных, мистических сдвигов в душе, но получилось так, что этими сдвигами воспользовалась скрытая, подсознательная эротическая энергия. Но все произошло как-то удивительно органично и естественно.

Это случилось примерно год назад. В бездне Извицкий сосредоточился на том, что сексуальная ярость и глубина ее проникновения у него увеличивается, чем ближе к "я" предмет любви. Кроме того, он стал замечать, что его, чаще спонтанные, прикосновения рукой к собственной коже (будь то на груди или на другой руке) вызывают в нем какую-то особенную сексуальную дрожь. Это ощущение было совсем иного качества, чем если бы его кожи касалась чужая (скажем, женская) рука. В этой дрожи заключалось что-то до боли интимное и непосредственное. Как будто рушилась какая-то завеса.

Наконец, он видел также, что нечто странное происходит не только с чувственным, но и с духовным объектом любви. Он все время сдвигался в сторону самого субъективного и родного, то есть в конечном счете в сторону собственного "я".

Еще раньше (но особенно последнее время) его часто тянуло, даже во время любви с обычной, "реальной" женщиной как бы подставлять (хотя бы частично) свое "я" в ее тело. От успеха этой операции в значительной мере зависела мера возбуждения. Ему все чаще и чаще необходимо было или найти в женщине себя, или (без этого вообще не обходилось) допустить подлог с помощью воображения.

Теперь же, после вышеописанных изменений, оболочка женщины вдруг разом и таинственно спала, и он явственно увидел за ней свой истинный объект любви – самого себя.

Первый раз (в явном виде) это случилось утром, после дикой и развратной ночи: в воображении предстал он сам – родной и невероятный – и именно туда, к этому образу ринулась эротическая энергия. Даже сердце его забилось от какого-то чудовищного восторга. "Вот она, вот она – любовь! – мысленно возопил он, чуть не рухнув на колени. – Самый родной, самый близкий, самый бесценный... Един-ственный... Ведь ничего не существует рядом!"

Взглянув на себя в зеркало, Извицкий вздрогнул: по его лицу пробежала судорога какого-то черного сладострастия. Инстинктивно он дотронулся до щеки рукой и тотчас отдернул ее: пальцы пронзил жар нечеловеческой любви, они дрожали и точно тянулись утонуть в лице, объять его изнутри.

"Но как, как обладать?" – мелькнуло в его уме. Но само поющее от прилива нежности к себе тело, казалось, отвечало на этот вопрос. Ум мутился, дрожь проходила по членам, со сладостным ужасом он смотрел на собственную руку, которая казалась ему теперь желанней и слаще ручки самой утонченной сладострастницы. Да и качество было другое; "ведь это же моя рука, – стонал он, – моя кожа, моя, моя, а не чья-то другая". Рушилась преграда между самим субъектом и предметом любви; тот, кто любил, и любимый сливались воедино; между ними не было расстояния; та же кожа любила и была любима самой же; "нечего и выдумывать про обладание, – дрогнуло у него в душе, – оно всегда с тобой... ибо ты и твоя любовница – одно и то же"...

Разумеется, надо было "научиться" изощренно представлять себя как бы внешним, с помощью воображения. Это было самое простое и

верное, так как тогда – в сознании – собственная личность виделась целиком и на нее направлялся весь жар. Кроме того, имелись дополнительные, не менее драгоценные возможности: зеркало, фотографии, созерцание невидимых частей тела и, наконец, совсем особенное состояние неги, когда не нужно было представлять себя, а чистое, без воображения и созерцания, самобытие как бы нежило самое себя. Существование, все тело, все его токи, не разделяясь, словно целовались сами с собой. Последним путем можно было ежеминутно, ежечасно, ежедневно совершать с любимым, с собой, тысячи невидимых, нежных, тонких микрополовых сближений.

Что касается способа непосредственного удовлетворения, то Извицкий сразу же предвидел все возможности. Это не обязательно был онанизм. Вскоре Извицкий, например, выработал потаенную, психологическую технику общения с женщиной (или с мужчиной), когда она (или он) являлась только голым механизмом удовлетворения, а страсть, воображение, любовь и т.д. направлялись лишь на себя.

Итак, перелом произошел. Однако долгое время Извицкого преследовал призрак женоподобия. Все же, как ни была преображена природа, она упорно пыталась проникнуть в старое русло. Поэтому даже такой предмет любви, как собственное "я", нередко облекался в женскую форму. Извицкий не раз представлял себя в виде женщины или хотя бы со сладострастно-женоподобными чертами. Так было проще и привычней направлять либидо на себя. Даже в обыденной жизни он старался "обабить", изнежить и выхолить собственное тело. Для этого он много ел и пил, меньше двигался и старался спать в мягкой постели. Даже на стул, прежде чем сесть, он норовил положить подушечку. С нарастающим блаженством он замечал, что его плечи с каждым меся-цем округляются, ненавистные мускулы исчезают, живот становится мягче и сладострастнее, там и сям на родном теле возникают нежные ямочки, интимные скопления жирка. Особенно, до истеричности, он старался изнежить кожу, превратить ее в постоянный источник сла-достратия. Руки же у него и без того были нежные, бабьи, словно созданные для неги и ласки.

В конце концов его стремление представлять себя в воображении в виде женщины с течением времени почти стерлось; чаще он видел себя уже непосредственно в том виде, в каком существовал; это было полноценней с точки зрения любви к "я" и поэтому сладостней; к тому же и вид его все более и более изнеживался, хотя это уже было, конечно, второстепенный момент... Время окрасилось в бурные, неугасимые тона. Все существование трепетало в легкой, бесконечной, сексуальной дрожи. Это было связано с тем, что жгучий источник полового раздражения, то есть собственное тело, был всегда при себе. Среди грохота и гама раскореженного мира, среди пыли, воя сирен и людских потоков, любое даже случайное прикосновение к обнаженной части своего тела вызывало судорогу, не только телесную, но и души. Мир исчезал, словно делаясь оскопленным, и сексуальная энергия направлялась внутрь, обволакивая "я" безграничной любовью. Легко и

радостно было тогда Извицкому проходить сквозь этот оскопленный, лишенный плоти и интереса мир... Зато самого себя он чувствовал наполненным не выходящей страстью. Он мог целыми днями ощущать себя как любовницу. Оргазм был сильнее, чудовищней и больше колебал душу, чем во время любви к любым женщинам или мужчинам. Одно сознание плотского соединения с самим собой, плюс сознание, что наконец обрел любовь к самому дорогому и вечно-бесценному, придавало ему – оргазму – нечеловеческое, последнее бешенство.

Но и устав от обладания, Извицкий с бесконечной нежностью всматривался в свои отражения в зеркалах. Каждый изгиб собственного тела мучил своей неповторимой близостью; хотелось впиться в него и разбить зеркало. От мира сквозило бесконечной пустотой; даже женщины, которых Извицкий порой использовал в качестве механизма во время любви к себе, настолько не замечались, что казалось, их тела и души были наполнены одним воздухом. Зато какая радость была очнуться одному в постели и почувствовать обволакивающую, принадлежащую только тебе нежность своего тела! Каждое утреннее прикосновение к собственной коже, к собственному пухлоокруглившемуся плечику вызывало истерический, сексуальный крик, точно там, в собственном теле, затаились тысячи чудовищных красавиц. Но – о счастье! – то были не чуждые существования, а свой, свой неповторимо родной, неотчужденный комочек бесценного "я"; в восторженной ярости Извицкий не раз впивался зубами в собственное тело...

Собственные глаза преследовали его по ночам. Иногда в них было столько любви, что его охватывал ужас.

Такова была поэма, длившаяся уже целый год. И именно в таком состоянии Извицкий приехал в Лебединое.

Возглас Анны "Ты ревнуешь себя ко мне!" застал Извицкого врасплох. Во время любви к себе ему приходилось использовать женщин в качестве механизма. Но то, что произошло у него с Анной, носило уже другую печать. Анну Извицкий не мог воспринимать как механизм. Прежде всего потому, что еще раньше, до возникновения любви к себе, он испытывал к ней сильное, поглощающее чувство. В Лебедином же метастазы этих чувств внезапно ожили. Извицкий почуял пробуждение прежних, уже, казалось, забытых эмоций, эмоций, направленных во вне. Их оживлению к тому же способствовала их двусмысленность: ведь Анна была не просто извне, в то же время она была неимоверно близка по духу, целиком из того же круга, из того же мира, как бы изнутри. Сначала Извицкий полностью отдался течению эмоций, но потом чувство к Анне натолкнулось на растущее органическое сопротивление...

Прежде всего сознание (можно даже сказать высшее "я") встретило крайне враждебно этот прилив чувств, оценив его как измену. Чувства, правда, как бы раздвоились: он видел в себе возможности любить как себя, так и Анну. Зная, как опасно подавлять влечение внутренней

цензурой, он решил не противиться любви к Анне. Однако ж его опасения были напрасны: за этот год он слишком углубился в любовь к себе, чтобы это чувство могло надолго отступить. Оно продолжало неизменно существовать, хотя одновременно было сильное влечение к Анне.

Такой раздвоенный, иронизирующий, чуть подхихикивающий над самим собой, Извицкий выехал из Лебединого с Анной. Но, оставшись с ней наедине в комнате, охваченный ее обаянием, он, упоенный, бросился в ее объятия, целиком отдавшись новому влечению. Прежнее вдруг исчезло. Оно неумолимо предстало перед ним вновь в самый неподходящий момент. Целуя Анну, сближаясь с ней, он вдруг почувствовал какую-то острую, нелепую жалость к себе. Жалость к себе из-за того, что его секс направлен не на себя, что он целует чужое плечо. Одновременно в сознании молнией пронеслась мысль о прежних неповторимых чувствах и ощущениях. Тело его ослабло, а чужое тело показалось смешным и далеким. Именно потому, что оно – чужое. В этот момент Извицкий захохотал, и Анна взглянула на него...

...Он выглядел очень смущенным. Анна быстро коснулась его колен: "дорогой"; где-то она любила его даже больше, чем Падова. Одновременно страшная догадка жгла ее, разом осветив все изгибы прежнего поведения Извицкого. Она спросила его: "Да?"

Извицкий покорно наклонил голову: Да. Иного ответа быть не могло. Нервная дрожь охватила Анну. В обрывочных, но определенных словах Извицкий нарисовал картину.

Они встали. Некоторое время прошло в полном молчании. Анна уходила на кухню – покурить.

– Но это ведь Глубев, – вдруг сказала она, вернувшись.

Извицкий расхохотался.

– Скорее всего искажение этой религии или секта внутри нее, – ответил он. – Ведь у них любовь к Я носит религиозный и духовный характер...

– Да, но и религиозная любовь может иметь сексуальный момент.

– Но чаще всего сублимированный... И притом только момент. У меня же, как видишь, все по-другому.

– Дух можно привносить и в голый секс.

– Разумеется... Конечно – для меня это не составляет тайны – все началось с того, что я – независимо от всех – близко подошел к религии Я; когда действительно – всеми фибрами, всем сознанием – ощущаешь свое "я" как единственную реальность и высшую ценность, то... и сексуальная энергия, сначала подсознательно, естественно, направляется на это единственное, бесценное... Ведь остального даже не существует... Вот мой путь... вера "я" дала толчок сексу, освободила поле для него...

– Я так и думала. Метафизический солипсизм ведет к сексуальному, – прервала Анна.

– Не всегда так... У глубевцев по-другому.

– Да, – улыбнулась Анна. – Как говорят, аскетизм рано или поздно

неизбежен. Ведь надо же обуздать это чудовище внутри себя. К тому же и чистый Дух вне эротики...

– Но в моем пути, – продолжал Извицкий, – который можно считать резко сектантским в пределах религии Я, метафизическое обожание собственного "я" приняло чисто сексуальную форму. Даже мое трансцендентное "я" лучше предвидится в любви. Каждое мое прикосновение к собственной коже – молитва, но молитва себе...

Глаза Извицкого загорелись. Анна была невероятно взволнована. В глубине такой эго-секс импонировал ей, и она могла бы только приветствовать его. Но в то же время она была уязвлена, чуть стерта и желала восстановить равновесие. Ведь только что Извицкий – как она думала – любил только ее. Она не могла не попытаться – почти безосновательно – прельстить Извицкого.

Где-то достали вино, и Анна употребила все свое тайное очарование. Она знала, что значит для людей их круга духовная близость к женщине чрез общие мракобесные миры. Молчаливым восторгом приветствовала она и сексуальное открытие Извицкого, но словно призывая его разделить эту свою победу с ней. Этим пониманием его тайны она в последний раз очаровала Извицкого; он был в раздвоении и никак не мог оторвать взгляда от тела Анны, сравнивая его со своим. Оно опять казалось ему таким родным, что в некоторые мгновения он не мог ощутить разницу между своим и ее телом. Оно завораживало его каким-то внутренним сходством.

Потом, нежно дотрагиваясь до ее плеч, он все-таки, даже в угаре, уловил эту бездонную, страшную разницу, хотя она в тот момент касалась только ощущений. Увы, не было того абсолютного чувственного единства между любимым и тем, кто любит, которое сопровождало его эротику... Все-таки Анна была точно за каким-то занавесом.

Понемногу он приходил в себя, в глубине сердца предчувствуя, что Анна не сможет одержать победу в этом чудовищном поединке, тем более, когда он окончательно опомнится...

Анна виделась, как сквозь туман. Извицкий был так погружен в свои мысли, что не мог понять ее состояния. То ли она улыбается, то ли нет?

Наконец они вышли на улицу. Внутри Извицкого вдруг выросло неопределенное желание овладеть собою. Даже дома казались ему проекцией собственного тела.

Прежнее влечение торжествовало: оно было сильней, реальней и нерасторжимо связывалось с "я", с его существованием.

Зашли в одинокое стеклянное кафе. Анна была нежна, но как-то по-грустному. Реальность ее лица мучила уже где-то на поверхности. Вопрос о ее существовании уже не решался, он просто отодвигался в сторону, а в сознании накалялись свои реальности, свои черты...

Вымороченность и двойственность мира: то существует, то нет, исчезали вместе с самим миром: каждый укус, каждое прикосновение к себе выдвигало на первый план тотальность собственного бытия и его пульсирующую сексуальность.

Улыбнувшись, Анна простилась с Извицким. Тихо подошла и поцеловала его в губы... Он всматривался ей вслед. И вдруг понял, что если Анна не смогла отвратить его от нового пути, то уже не сможет никто. И ему остается только погружаться в бездну.

Через некоторое время Извицкий был один около странного, полуразвалившегося дома. Все стерлось, кроме любви к себе. Но в душе была томность и легкая усталость. Хотелось нести себя на крыльях. Он окружал себя целым роем мысленных, трогательных поцелуев. Проснулось даже некоторое потусторонне-извивное кокетство по отношению к себе. Решил купить цветов, чтобы встретить себя как любовницу.

Это оказались нежные, черно-лиловые цветы. Он зашел с ними в кафе, чтобы выпить рюмку вина, и поставил их перед собой. Они точно обнимали его, находясь в яйном круге. Почти полчаса он провел в нежной, предвещающей истоме. Но уже надвигались первые тучи. Кровь клокотала в самой себе и кожа дрожала от само-нежности. Вместе с тем повсюду предвещались видения. Собственная тень быстро затмила весь мир, все солнце. Он хотел было тихо погладить ее. Усилием воли Извицкий сдерживал себя. Яйность вспыхивала порывами, точно сдавленная. Отойдя в сторону, он увидел в стене свои глаза, в благодарных слезах и в каком-то молении. Чуть преклонив колени, он мысленно вошел в них, как в храм.

Толстая тетя у стойки была за пеленой.

"Надо успокоиться", – шепнул он самому себе. Опять направился к своему месту за столом. Но все его существо дрожало, не в силах устоять перед страстью и томлением. "Милый, милый", – начал бормотать он, уже почти вслух. Легкий пот прошел по лбу. Опять сел за столик.

– Только бы не дотронуться до себя, не коснуться, – прошептал он, отпивая вино, – а то разорву, разорву на части.

Но даже томный укус вина, не опьяняя, вызывал только прилив нежности к животу. Рука так и тянулась, изнеженно, почти воздушно, коснуться того места, около которого пела теплота вина.

Но он упорно сдерживал себя. Глаза налились кровию, и у него появилось желание разорвать живот, вынуть все и в дрожи зацеловать. Равновесию помогала тайная мысль продлить, растянуть теперешнее наслаждение. Отключившись, он оказался на минуту в некоей душевной пустоте, благодаря которой сумел перенести первый прилив.

"Потихоньку надо, потихоньку, – пролепетал он потом, но язык еще дрожал от вожделения. – Надо обволочь себя тихими безделушками любви к себе".

Встал и, выйдя на улицу, сел в полупустой трамвай. Цветы остались на столе, точно изваяние несостоявшегося оргазма. "Безделушками", которые не доводили до конца, но все время поддерживали на должном уровне, были: разные вздохи, полустоны, идущие в глубь

себя, туманные очертания собственного тела где-нибудь в стекле. Наконец, общее ощущение себя-тела. Нервное ожидание, что его проткнет игла разрушения. Даже внутренний, утробный хохоток нежил живот сказочной, нестерпимой лаской. Однако ж больше всего он боялся коснуться рукой своего тела. Дикая, безграничная, уничтожающая весь мир нежность к себе прикатывалась к горлу, уходила в мозг, дрожала в плече. На глаза навертывались слезы и губы дрожали. От постоянной нежности к себе у него кружилась голова и мгновеньями наступало полу-обморочное состояние. Он чувствовал даже прикосновение верхней губы к нижней, и это прикосновение возбуждало его.

"Не надо, не надо", – и он отводил губы, чуть приоткрывая рот.

Чтобы успокоиться, лучше всего было прикрыть глаза и так неподвижно сидеть. Тогда, во-первых, мир даже формально выключался из поля зрения и это тоже был добавок нежности по отношению к себе. Во-вторых, внутренняя нежность почему-то становилась успокоенной и, пронизывая все тело тихой истомой, хоронила его как бы в сосуде. Каждая клеточка пела бездонную симфонию любви к себе. Но вместе с тем не было "безумия", взрыва, и этого хохотка, напоминающего бешеные, истерические поцелуи внутрь.

В таком состоянии, недвижим, Извицкий проехал какие-то бесконечные улицы. Но потом своей особой нежностью его стала мучить шея. Она была очень женственна, в яйном жирке, и потом, сквозь нее проходили сосуды, несущие кровь к голове, к "сознанию". Может быть, она требовала такой всепожирающей нежности, потому что была слишком беззащитна, скажем, от удара ножа. Извицкий не выдержал и коснулся рукой самой гладкой, мягкой, затылочной части шеи. Дернувшись, почти закричал. Сидеть было уже почти невозможно. Извицкий быстро сошел на неизвестной остановке. Кровавая тяга к себе, желание впиться, погрузиться в себя руками, как в бездонную, единственную вселенную, застилали сознание. Перемена обстановки чуть привела в чувство. Извицкий глянул на мир: вдруг увидел себя, себя, идущего прямо из-за угла навстречу, чуть сгорбленного, с дрожащими руками, с распростертыми объятиями. Он ринулся, он понял, что он уже у себя. Видение исчезло, но мир словно был залит яйностью.

"Женичка, Женичка – не надо", – успокаивал он себя. Ум мутился, формально он сознавал, что надо идти домой, в конуру. Побрел пешком, по залитой несуществующим улице. Но везде из-за домов, из-за кустарников, из-за машин выплывали части собственного тела. Сладострастные, обнаженные, с мутящей ум прозрачностью кожи, они были точно плывущее по миру собственное, родное сердце, которое хотелось зацеловать. Руками, теплотой собственной ладони он тянулся согреть их. "Игрун", – мелькнуло, усмехаясь, в его уме.

Наконец объекты исчезли.

Кроме сверхизнеженной, почти девичьей, еле видимой части внутренней стороны ляжки, которая долго не исчезала, точно умоляя

поцелуя. Она появлялась то в окнах домов, то прямо в небе. Наконец и она исчезла.

Некоторое время прошло в полном отсутствии.

И вдруг разом, прямо из подворотни, высунулась собственная голова с раскрытым ртом. Она обнажила язык и как бы подмигнула неподвижным глазком.

Извицкий понял, что дальше идти этими боковыми изгибами уже нельзя, что так можно и доиграться, ибо, как говорится, хорошенького понемножку. Он смог остановить себя; вела его любовь к своему "я" в целом.

Теперь он полностью ощущал видимость, как продолжение себя, вернее, как собственную тень. Тень своей законченной и единственной личности. Только иногда появлялся, как бы извне, свой неповторимый, уже не расчлененный образ, в ореоле и нередко в каких-то неземных, исчезающих знаменах. Он пытался уловить себя, но потом вдруг с нежностью и радостным ужасом обнаруживал присутствие родного "я" внутри, и непомерное, вселенское торжество распирало грудь. Видимость становилась все чернее и чернее, точно непроницаемая ночь охватывала ее, но тем более билось внутри и ласкалось о самое себя солнце – собственное "я". Внутри вопила одна голая, неистребимая "субъективность". Извицкий посылал в воздух поцелуи, стараясь вдохнуть их в себя. Несколько раз он останавливался, прислонившись к "дереву".

Нежность кожи уходила в кровь и разносилась вместе с ней к сердцу и мозгу. А нежность ее была так велика, что казалось, эта кожа могла легко, как пушинка, сдернуться и оказаться перед глазами в воздухе, где ее можно, не ощущая ни боли, ни стона, сжать и зацеловать, как ребенка.

Глаза томились и болели ненужностью иногда вдруг всплывающего мира.

Он не заметил, что уже был дома и "глядел" в окно. Некий свет, как планета, взошел в нем: то было родное, сияющее, непостижимое Я, таинственное, бесконечное и единственно реальное среди всей этой шевелящейся помойки полу-небытия. Он видел "над своей головой" – точно поток звезд, точно острие бессмертного Я, которое "выходило" из тела, как из своей теплой постели. И его тянуло пронзить это родное, духовное "я" своим членом, охватить спермой, как фонтаном, потопить его в неге и в неповторимой, содрогающейся ласке за то, что оно – его "я". И он чувствовал, что это чистое, выделенное Я, этот центр, пламенеет от нежности и отвечает на его ласку.

В то же время в неге окутывалась, сжималась и пульсировала и его собственная индивидуальность, душа, родная и неповторимая, таинственно и сладостно связанная с Я.

И тело тоже дрожало нескончаемой, проникающей внутрь дрожью самолюбви, потому что и оно, тело, тоже было освящено Я, как бы пропитано его бессмертными яйными брызгами. Все это: и чистое Я, и душа и тело, поскольку они были его, составляло единый непов-

торимый синтез, исходящий визг, на вершине которого сияло вечное Я. Он не понимал, то ли он молится, то ли находится в экстазе любви.

Где-то, за гранью, мелькало непознаваемой полосой трансцендентное "Я", родное, скрытое, и к нему точно бросалась черной и сверхчеловеческой пеной нежная и бьющаяся сперма.

Крик, один крик стоял в его душе.

Мгновеньями он видел себя то приближающимся из темной глубины, то парящим в небе, то врезающимся в звезды, то сладострастно-голым и извивающимся. Внезапно до того родным и близким, что чуть ли не смешанные с кровью слезы капали из глаз и душа содрогалась, целуя сама себя. Секундами он чувствовал, впадая в забытье, прикосновение к самому себе, особенно к нежно-пухлому животу собственного тела. Впивался в себя животом, и душа выходила навстречу самой себе, поднимаясь, целуя подножие высшего "я", докатывая до него сладостные телесные волны само-любви. И в "я", в родном "я", раздавался уходящий внутрь, в бесконечность, ответный стон той же само-любви. Губы, покрываясь пеной, касались собственных губ.
раздавался уходящий внутрь, в бесконечность, ответный стон той же само-любви. Губы, покрываясь пеной, касались собственных губ.

"Миленький, миленький", – зашептал он вдруг, как бы обнимая свою спину, и тело провалилось в себя, точно в бездонную, но родную пропасть.

Самоощущение, лаская себя, выло от наслаждения...

И вдруг откуда-то вырвался чудовищный, долгий и целующий стон, потом поток, и он увидел себя озаренным светом, поднимающимся в небо, и в то же время бессмертно-родным, не уходящим от себя.

– Ты будешь вечен, любимый! – закричал он в небо. – Ты будешь вечен...

И обессиленный упал на пол...

Покинув всех, Федор, проведя несколько дней у Ипатьевны, приближался к Москве. Даже Клавенька – сестра – уже не интересовала его. Каменное лицо его сдвинулось, и в глубине было видно жуткое, последнее вдохновение. Он осторожно обходил даже тихих, вкрадчивых девочек.

Район Москвы, где оказался Федор, напоминал своею прелестью подножие ада. В стороне по холмам виднелись прилепившиеся друг к другу, словно в непотребной, грязной сексуальной ласке, бараки. Деревца, хоронившиеся между, казалось, давно сошли с ума. Слева от Федора на бараки наступали бесконечными идиотообразными рядами новые, не отличимые друг от друга, дома-коробочки. Это была испорченная Москва, исковерканный район.

С умеренным удовольствием Федор впитывал в себя запахи извращения. В город он приехал, чтобы осуществить свое новое, нарастающее желание: убить всех "метафизических", т.е. Извицкого, Анну, Падова и Ремина...

Кое-какие адреса были у него в кармане. Уничтожающая мозг, ос-

тановившаяся радость была в его душе. Когда она врезывалась в сознание, он выл. Выл – вглядываясь в поколебленный для него внешний мир, как в уползающий запредельный.

Сел на отходящий в далекие концы бараков трамвай и, ошарашив кондуктора своим непомерно-мертвым взглядом, взял билет. Отошел в сторону и, пожевав, съел билет, мутно оглядывая серое непроходимое пространство вдали.

Причиной его смертоносного желания была нарастающая, бурная потребность прорваться в потустороннее.

Или, иными словами, поступить согласно своему внутреннему состоянию, состоянию, которому, казалось, не было наименования на человеческом языке. И "метафизические" как раз отвечали его тайне. "Кроме них, никого убивать нету, – улыбаясь в себя, бормотал Федор, – остальные и так мертвые..."

Осознаваемую часть своего состояния он мутно и неповоротливо, с провалами, все же выражал перед собою. (Остальное было навеки погребено для человека). Ему стерающе казалось, что убийство этих наиболее духовных людей, можно даже сказать, наполненных духом, разрешит какую-то тайну, может быть, тайну существования души, прервет сон мира и вызовет сдвиг в запредельном. Именно поэтому – над ним, над самим духом! – Федор так тянулся сейчас совершить свое, Сонновское. "Это что за жертвы были... А здесь я нож словно в саму душу вонзаю... В самую сердцевину", – повторял Федор. Ему виделось, что после этого акта с ним самим произойдет что-то значительное и невероятное, и он окажется где-то между мирами. Иногда при этих видениях голова его поворачивалась вверх, к небу, и холодные капли пота уходили внутрь тела. А глаза обычно наполнялись тем, что отсутствовало даже на дне "я".

Кроме этого внутреннего состояния, оболочка которого еще как-то осознавалась им самим и которое в целом явилось причиной его желания уничтожить своих необычных друзей, были еще параллельные, странные, подспудные, иногда второстепенные ощущения и даже эмоции, черной вереницей сопровождающие его потребность.

Порой, мельком, в бессвязной, почти подсознательной форме, проходили мысли, что во время самого убийства он вдруг увидит, что душа – иллюзия и вся его деятельность – только страшная забава. Но взамен точно откроется дыра в некую другую реальность, и он увидит, что то, что было душой, есть лишь уловленное поле, смятый, искаженный луч какой-то бездонной, почти непонятной реальности, которая неприступна. И что он гонялся только за тенями.

Порой наоборот – опять подсознательно, снимая предыдущее ощущение, но все же удерживая его внутри – поднимались величие этого будущего убийства, его сверхъестественная значимость и небывалое чувство, которое, казалось, могло охватить любую скрытую реальность.

Одновременно более трогательные и даже чуть детские чувства

копошились в его нутре, точно обвиваясь вокруг всего жуткого, Сонновского. Его охватывало умиление, когда он представлял себе, как Анна упадет на землю и будет "умничать" в луже крови.

Еще большая умильность находила на него, когда он представлял себе их трупы, на которые он заранее не мог смотреть без нежности. И предвкушал собственное, почти благоговейное, религиозное настроение.

Видел себя в белом.

Порой же – в эмоции – все заслоняло одно: величие и величие...

Но все это было лишь легкой дымкой и не заслоняло главное, Сонновского.

Федор ехал в трамвае, приближаясь к одному грязному, но в чахлой зелени, району бараков. Там ему нужно было неотложно, по делу, повидаться с одним тихим, давно ему знакомым человеком. Трамвай, казалось, был выше раскинувшихся кругом домов – сараюшек с черными дырами вместо глаз. Из этих дыр выходили помятые, точно не от самих себя люди. Федор слез на "площади" и, оглядываясь на корявистый столб, поплелся к приземистому бараку. Облака гуляли в небе, точно отражения его мыслей.

В коридоре барака его встретили визг, апокалипсический по отношению к крысам стук посуды и пугающе-немой хохот. Из кухни выползла девочка, онанирующая на игрушечном коне. Федор, коченея душой, постучал в дальнюю, у темного окна, дверь. Комната, куда он зашел, была на редкость огромна; лысый, в средних летах, мужчина в свитере и с уголовным лицом радостно приветствовал Федора, подняв обе свои тяжелые руки вверх и соскочив со стула. Остальные три человека, сидящие по углам, не пошевелились. Федор отстранил лысого и сел за стол, покрытый белой, как ангельская кровь, скатертью. Лысый тут же присел рядом и как ни в чем не бывало продолжал свое занятие: всаживать в пол непомерный, жуткий нож. Огромная женщина, стоявшая у стены, пошевелилась. Бледный человек около нее играл на полу сам с собой в карты, харкая вокруг. Мощно-неповоротливый детина с мелкими волосиками и вялым, прыщеватым лицом душегуба стал обходить комнатные цветочки по подоконникам, внимательно-отчужденно обнюхивая их. Так прошло некоторое время. Федор плыл в бесконечность. Наконец, огромная женщина, сложив руки на груди, подошла к столу и, глядя на Федора, захохотала диким, лошадьим голосом.

Федор вдруг застеснялся такого заигрывания; он даже чуть покраснел от смущения: в иные мгновения Соннов был чист и робок, как дитя.

Женщина, не отрываясь, смотрела на него своими помойными, но в то же время удивительно светлыми, все охватывающими глазами. Еще мгновение – и она, казалось, изнасилует Федора. Даже груди ее чувствовались, как орудие насилия. Но мощно-неповоротливый мужчина

подошел к ней и осторожно, положив лапу на плечо, что-то проговорил. Женщина села на стул, устремив взор в полу-помойку, полуполяну, виднеющуюся за серым окном.

Федор встал и, кивнув на дверь этому мужчине с лицом душегуба, пошел к выходу. Проходя мимо, остановился и дружелюбно-отсутствующе подергал за нос огромную женщину.

Лысый продолжал забивать нож в пол.

Федор очутился с "душегубом" за дверью, в конце коридора, у темного окна. Минут семь–десять они о чем-то переговаривались. Потом Федор, облапив за шею "душегуба", махнул рукой и пошел к выходу.

Светлый, земной мир встретил его ласковыми, щебечущими звуками и небом. Посмотрев вдаль, Федор заковылял к трамваю. Вскоре трамвай уже медленно катился мимо ровных домов-коробочек. Грязный крик отдаленно доносился до слуха Федора. Странно, но здесь, в этих до предела близких домах, копошилась та же смрадно-вечная жизнь, что и в бараках. Но выглядевшая на фоне этой полной безликости еще более ненормальной и затерянной. Лишь начавшееся загрязнение "коробочек" придавало отдельным местам индивидуальные оттенки.

Наконец Соннов оказался в старом районе Москвы.

Федор сошел у маленького, летнего, безлюдного кафе. Безразлично попивая сок, думал о своем. Мысли уходили далеко-далеко, в засуществующее; собственное сознание казалось одиноким, слегка чудным, хотя и своим, но таинственно-неизвестным, как марсианский ветер; Федор и думал о себе, точно о марсианском путешественнике. Равнодушно щупал ноги, как стол. Состояние вело дальше, к убийству "метафизических". Он совершенно отбросил всякую мысль о внешних последствиях; ему было безразлично, что с ним будет потом – арестуют его или уничтожат; единственное, что интересовало его, – это новое, всеохватывающее убийство, последнее свершение, после которого все на земле станет третьесортным и сам он, может быть, уйдет в новую форму бытия; и поэтому все предосторожности, которые он принимал раньше, готовясь к своим прежним, как ему теперь казалось, "мелким" убийствам, отпадали за ненадобностью.

Формально он решил использовать два адреса, которые он узнал случайно еще раньше из разговоров с Падовым и Анной: один московской квартиры Извицкого, однокомнатной и заброшенной, в которой он жил один; другой – Падовского подмосковного "гнезда", где, как он слышал, должны были приютиться сейчас "метафизические". Последний особенно привлекал Федора: его тянуло сразу, одним ударом, совершить свое действо. Но, подумав, он решил сначала забрести к Извицкому, а потом сразу ринуться в Падовское "гнез-до".

Нечеловечески Федор тащился мимо старинных, многоэтажных домов по безлюдным арбатским переулкам. Останавливался посмотреть в пустоту. Вглядывался в еле возникающие фигурки людей; косился на окна, которые меркли в своем безразличии.

Вход в квартиру Извицкого был со двора; дворик оказался почти петербургский: маленький, холодный, зажатый между громадами каменных семиэтажных домов; но все же безобразно-загаженный мертвой, серо-исчезающей и все-таки вонючей помойкой.

Лестница вела ввысь круто, с какими-то безжизненными провалами по бокам, и кажется по черному ходу; там и сям виднелись грязные, оборванные двери квартир; еле слышались голоса; но Федор знал, что здесь единственный ход в комнату Извицкого; он тяжело дышал, поднимаясь, и все время ловил взглядом свет из каких-нибудь полуокон, полу-щелей; когда же была полная тьма, поворачивал голову в сторону по еле слышному, тихому повелению; в кармане нелепо болтался нож.

Наконец на самом верху засветилась какая-то щель; по холодному и тупому вздрагиванию сердца Федор понял, что это квартира Извицкого. Странная истома овладела им; на лице был пот, а в глубине слышалось пение; самобытие поднималось внутри себя, чувствуя окружающее, как запредельное и смерь. Федор увидел, что дверь слегка приоткрыта и, словно прижавшись к пустоте, осторожно заглянул внутрь... То, что он увидел, поразило его: нелепо-захламленный какими-то полу-старинными, полу-будущими вещами угол комнаты, огромное, как бы вовлекающее в себя зеркало, перед ним оборванное, вольтеровское кресло и в нем – Извицкий, в исступленной позе глядящий на себя в зеркало. Федор сжался, чувствуя невозможное. Машинально вынул нож. И вдруг услышал стоны, бесконечные, глубокие, словно исходящие из самовлюбленной бездны. Федор застыл, всматриваясь в отражение, и не мог двинуться с места.

Глаза Извицкого, широко раскрытые, напоенные каким-то жутким, пугающим себя откровением, в упор, не отрываясь смотрели на точно такие же широко раскрытые глаза своего двойника. Федору все хорошо было видно. Два лика Извицкого дрожали в непередаваемой, бросающейся навстречу друг другу ласке; кожа лица млела от нежности; неподвижны были только глядящие друг на друга, готовые выпрыгнуть из орбит глаза, в которых застыла самонежность, ужас перед "я" и безумие нечеловеческого переворота. Все полуобнаженное тело Извицкого и его лицо выражало нескончаемое сладострастие, бред самовосторга, страх перед собой, смешанный с трепетом приближающегося оргазма, и порыв броситься на собственное отражение. Волосы были всклокочены, рука тянулась к своему двойнику и, встречаясь, две руки дрожали от возбуждения, готовые проникнуть в себя и утопить друг друга в нежности. Все тело, казалось, источало сперму и дрожало в непрекращающемся, спонтанном оргазме, точно вся кожа, каждая из миллионов ее пор, превратилась в истекающий кончик члена. Стон от двух лиц шел навстречу друг другу. Зеркало было холодно и невозмутимо, как мир. Из дальнего угла в нем отражался страшный портрет Достоевского, Достоевского с неподвижным и страдальческим взором.

Вдруг Извицкий ринулся навстречу себе, в бездну; лицо его припало

к своему отражению, а тело изогнулось; губы искривились и стали целовать губы; по всему пространству пополз шепот: "милый, милый, любимый"; нервная судорога сладострастия прошла по влажной щеке; брови изогнулись, словно по ним провел невидимой рукой больной ангел; глаза были закрыты, как у мертвеца в припадке страсти; Федору была хорошо видна сзади сладостная шея, нервнодрожащая, потеющая, извивающаяся каждой своей складочкой... В этот момент Федор инстинктивно двинулся, чтобы вонзить нож в эту шею; но вдруг невероятная, бесконечная истома овладела им и парализовала его. При мысли о том, что он прервет этот невыразимосладострастный, нежный, бесконечно-купающийся в себе акт само-любви, жалость сразила его, как громом. Даже слабого подобия такой жалости он не испытывал никогда, ни к кому, даже к себе.

Как только он понял суть того, что перед ним происходит, он ощутил это, как чудо, как взрыв; если бы Извицкий возился с любовницей или с кем-нибудь еще, он, не задумываясь, прикончил бы обоих; но... убить человека, который так любит себя; любит неистово, до умопомешательства, до слез; это значило бы прервать жизнь столь чудовищно-самовлюбленную, представляющую для самой себя не только сверхценность, но и абсолют... У кого бы поднялась на это рука?! ...Все это в секунду, в единую обобщенную мысль пронеслось в мозгу Федора; он чувствовал, что не в силах убить существо, столь неистово, патологически любящее себя; это значило бы коснуться чего-то нового, невиданного, болезненно-потустороннего, слишком сверх-родного для себя. Федор вообразил, как ужасающе-непредставимо было бы этому существу прощаться (хотя бы на миг) с самим собой, с родным, бесконечным; тем более в такой момент неистового оргазма по отношению к себе; ему почудилось, что умирая этот человек будет лизать собственную кровь, как сперму, как истекающее наслаждение и плакать такими слезами, от которых перевернет мир.

Между тем нож поблескивал в руке Федора и отражался в глубине зеркала, где-то рядом с портретом Достоевского. Однако Извицкий, поглощенный страстью к себе, ничего не замечал; как огромная потусторонняя жаба, он ползал по зеркалу, стараясь обнять свое отра-жение... Федор дрогнул, бросил в карман нож и испугался его смерто-носного прикосновения; теперь он боялся даже на секунду прервать этот чудовищный акт; страшась самого себя, своего неожиданного взрыва и возможного удара по этому дрожащему телу, он попятился и, незамеченный, тихо проник за дверь. Не шелохнувшись простоял около нее минуты две, дыша в камень. И стал крадучись, оглядываясь на пустоты, спускаться по черной лестнице...

И вдруг Федор услышал из только что покинутой им комнаты – дверь была полуоткрыта – холодный, отвлеченный, нечеловеческий хохот, точно раздающийся из огромного, непостижимо-оборванного кресла. И память об этом хохоте преследовала Федора до самого конца его пути, по всей черной, с бесконечными поворотами и провалами лестнице. Очевидно, все было окончено и Извицкий "отдыхал", глядя на себя в зеркало.

Ничего не различая, в пене, Федор выбежал во двор. Но между тем прежнее, вслевластное состояние: убить этих невероятных, встретившихся ему личностей, не покидало его. Он весь выл от противоречия. Это было несравнимо более значительное, чем срыв с Михеем, о котором он даже не пожалел. Здесь был другой, страшный, глубокий срыв, когда собственной потусторонности тоже противостояла иная, но уже не менее мощная потусторонность, которая пронзила его своими флюидами. В бешенстве Федор решил тут же броситься дальше, под Москву, в Падовское гнездо, чтобы застать всех, и Падова, и Анну, и Ремина, и осуществить наконец свой замысел.

Уже несколько дней Алеша Христофоров не мог прийти в себя: папенька, его папенька исчез. Действительно, Алеша, с трудом разысканный Падовым, вскоре приехал в покинутое Лебединое, чтобы забрать "Андрея Никитича". Сначала все было хорошо: Алеша, правда, с неприятностями, нашел обезжизненного куро-трупа где-то в стороне, на печке; благополучно, держа его за руку, как мертвого идола, довез до дому; в Сонновском доме осталась одна поганая кошка, которая, не находя пустого места Михея, лизала столбы. Алеша положил спать папулю рядом с собой, на соседнем диване, хотя куро-труп вяло сопротивлялся, кажется, воздуху. Дело еще осложнялось тем, что наутро должны были прийти, обеспокоенные долгим отсутствием Андрея Никитича, его нетерпеливые ученики, которых Андрей Никитич воспитывал в духе христианства и всеобщей любви. Алеша, разумеется, не надеялся на какую-либо коммуникацию: он понял это сразу по мертво-надменному лицу куро-трупа, в котором не было даже бессмыслия; по абсолютному молчанию. Он даже не попытался рассказать отцу в чем дело; все его мысли были направлены на то, чтобы как-нибудь съюлить и отвадить жаждущих спасения юных христиан. Усугублялось еще тем, что молодые люди уже подозревали что-то неладное в том смысле, что Алеша-де прячет своего отца, и были настроены весьма воинственно.

Рано утром Христофорова разбудил показавшийся ему ублюдочно-настырным стук в дверь; впопыхах, в одной рубашке, он открыл и обомлел: перед ним стояло несколько учеников Андрея Никитича.

– О чем бы вы хотели с ним поговорить? – нелепо проговорил Алеша.

– Как о чем, – обиделся один из юношей. – Наша тема: "Бог есть любовь"; мы уже два месяца ждем этой беседы.

В этот момент вдали коридора промелькнуло мертвое, ни на что не похожее лицо куро-трупа; юноши тем не менее что-то радостно вскрикнули; но перепуганный Алеша, в отчаянии, обалдело захлопнул перед ними дверь; юноши завыли, Алеша бросился к папеньке, но последний не реагировал на происшедшее, совершенно не замечая ничего вокруг; Алешенька опять бросился к двери, в которую колотили; разыгралась шумная, психопатическая сцена, во время которой собрались почти все жильцы со двора и растерзанный Алеша колотил себя в грудь. Когда все относительно уладилось, Алеша кинулся посмотреть на

отца; но куро-трупа нигде не было, ни в здании, ни в окрестности. Не помог и розыск милиции. В крике Алешенька метался по Москве, от одного священника к другому, от одного приятеля к третьему. Наконец, узнав, что "падовские" осели в своем старом гнезде, расположенном в двадцати километрах от Москвы, Алеша ринулся туда, ожидая хоть от Падова и Анны услышать что-нибудь об отце.

Гнездо Падовских приютилось на отшибе одного селения, около довольно безлюдной дороги; оно представляло собой одноэтажный домик, скрюченный и покосившийся, прикрытый не то травкой, не то кустами. В доме была всего одна большая комната, но рядом различные закутки; одно окно было сбито набекрень, второе почему-то заколочено.

Христофоров прямо-таки влетел в дом; в комнате было темно, две свечи освещали сидевших на полу людей; то были Падов, Ремин, Анна, Игорек и еще двое, Сашенька и Вадимушка, совсем юные, из новичков, которых Падов привез, чтобы воспитать молодую поросль. Их еще почти детские розовые мордочки млели от радости в мрачном полусвете свечей. Кажется, только что кто-то выл. Вместе с тем доносились слова знаменитой шизоидной песни: "...И увидев себя на портрете, мой козел подхватил трипперок...".

Христофоров с хода, неожиданно закричал:

– Отца, отца потерял! Папу!!

– Куро-трупа? – сонно проговорил Падов.

– Не куро-трупа, отца! – взвизгнул Алешенька, надвигаясь на стену.

– Да ты успокойся, расскажи, – пробормотал Ремин.

– Господь вон тоже своего Отца Небесного потерял; на время; но потом же, говорят, нашел, – не удержавшись, вставила Анна.

Через несколько минут, каким-то странным, непонятным образом разговор о потере куро-трупа перескочил на Бога.

– Не приемлю, не приемлю! – визжал Падов, – я хочу быть Творцом самого себя, а не сотворенным; если Творец есть, то я хочу уничтожить эту зависимость, а не тупо выть по этому поводу от восторга.

Из угла поднялась Анна; ее лицо горело.

– Наша тварность может быть иллюзией; по существу это вера; решительно утверждать можно только то, что мы как будто не знаем, откуда появились; поэтому мы имеем право, такое же как и вы, верующие в Творца, верить в то – ибо это для нас предпочтительней, – что мы произошли из самих себя и не обязаны жизнью никому, кроме себя. Все в "я" и для "я"!

Но Христофоров уже затопал ногами:

– Ничего не хочу слышать, верните мне моего отца!

Он, как тень, метался по комнате из угла в угол, расшвыривая какие-то тряпки, лежащие на полу; Сашенька и Вадимушка, разинув рты, как два галчонка, с любопытством смотрели на него.

– Это вы довели моего отца до сумасшествия! – кричал Христо-

форов. – До вас он был тихий и верующий; вы сделали его идиотом...

Каковы наши-то христиане, – хихикал, корчась от утробного восторга, Падов. – Сразу за рационализм схватился... Сумасшедший... Больной... Медицина... Где врачи?!! – передразнил он. – А невдомек, что никакие врачи тут не при деле...

– Вот в том-то и гвоздь, – подхватил Ремин, – что это псевдохристианство слишком рационально для нашего сознания; в конце концов оно просто недостаточно абсурдно для нас...

– Ничего не хочу слышать! – вопил Христофоров. – Вы обернули моего отца в идиота...

– Если, конечно, идиотом называть каждого, кто находится не в этом мире, – пискнул в ответ Игорек.

Наконец Христофорова уняли. Под конец он разрыдался. "Простите меня", – нелепо пробормотал он.

– Ну ты же видишь, Алеша, что мы ни при чем, – растрогалась Анна, – кто знает, что может с каждым из нас произойти...

– Но все-таки мы верим в наше "я", в его бессмертие и победу над миром, – вдруг загорелся, вмешавшись, Ремин. – Больше не во что верить, а тем более любить.

– Что с вами произошло? – вдруг, словно очнувшись от своего горя, проговорил Христофоров. – Вы никак стали Глубевцами?!

Он был прав наполовину.

События развивались так, что, покинув Лебединое, Ремин ринулся искать встречи с глубевцами и в конце концов нашел тех, кого искал. Он провел в их обществе несколько дней и поехал от них в Падовское гнездо – куда уже прибыла (после истории с Извицким) радостно встреченная Анна – преображенный, взъерошенный, охваченный каким-то приступом веры в религию Я. Здесь он заразил всех своим упоением: вероятно, все ждали этого взрыва или просто в душе накопилось слишком много любви к "я" и жажды его вечности и бессмертия. Даже Падов – по мере сил и возможностей – утихомиривал свои негативные силы...

Поэтому Христофоров попал в самую точку; при упоминании о религии Я и Анна, и Падов, и Ремин, и даже Игорек взвыли; юные – Сашенька и Вадимушка, – сидящие бок о бок, насторожились.

Ремин, шатаясь, отошел в сторону, к окну. Искаженный свет выделил его белое лицо; казалось, что-то ворочалось по углам; но старые бутылки из-под водки, нелепое тряпье на полу были безжизненны.

– Наше "я" – единственная реальность и высшая ценность, – заговорил Ремин, – надо не только верить в его бессмертие и в его абсолютность; не только любить свое "я" бесконечной духовной любовью; надо попытаться реализовать это высшее Я при жизни, жить им; испытывать от этого наслаждение; перевернуть все на сто восемьдесят градусов; и тогда мир превратится в стадо теней; все, что есть в нас тварного, зависимого, исчезнет; а Бог – это понятие имеет смысл только, если оно не отделено от "я"... – Ремин захлебывался. – Жить в "я", жить новой духовностью...

Было такое чувство, будто все метались в самих себе и к себе; руки Анны словно тянулись ввысь; казалось, воздух дрожал от тайных желаний и всплеска спасения; один Христофоров угрюмо молчал.

Анна, мельком взглянув на него, вдруг почувствовала ощущение какого-то органического превосходства; не удержавшись, чуть согнув-шись, так что по всему телу прошло это ощущение превосходства, его дрожь, она подсела и с умилением погладила руку Христофорова; ему показалось, что где-то сзади него, в углу, запричитала помойная крыса.

– Одна деталь, Алешенька, одна деталь, – прошипела Анна, погрузив Христофорова в свои глаза. – Я хочу сказать об усладе солипсизма. Причем это особенный, необычный солипсизм... Так вот, Алешенька, – погладила она Христофорова, – тебе никогда не познать, понимаешь... никогда, какое наслаждение считать себя не просто центром мира, но и единственно существующим... А всего остального – нет... ...Тень... И даже не тень... А как бы нет... Какая это радость, какое самоутверждение... Никакая гениальность, никакое посвящение с этим не сравнится... Подумай только, вживись, столкнись с этим фактом – ничего нет, кроме меня, – ноздри Анны как-то даже чувственно задрожали от наслаждения. Христофорова передернуло от отвра-щения. – Какой это восторг, какая тайна, какое объятие!.. Чувство исчезновения мира перед солнцем "я"!!. Ничего нет, кроме меня!.. Это надо ощутить во всей полноте, каждой клеточкой, каждой минутой существования; жить и дрожать этим... А "абсурд", чем абсурднее, тем истиннее... ведь "я" над всем, и ему плевать... Тьфу –миру, все в "я".

Падов затрясся от восторга; в пыли и тенях этой странной, огромной комнаты он пополз к Анне и Христофорову.

– Солипсизьм – слово-то какое, – утробно захихикал Падов. – Правда, Аннуля, в самом этом слове есть что-то склизкое, тайное, извивное... Даже сексуальное.

Анна захохотала.

– Представляю себе: два солипсиста в постельке, он и она, – Аннуля подмигнула Падову. – А недурственно: любовь между двумя солипсульками.

Падов завопил, протянув к ней руки: "Родная!" Он, так и причмокивая, просюсюкал это извивно-сексуальное слово: "Солипсулька!"

В этот момент Христофоров вскочил с места. Больше он не мог терпеть. Картина целующихся солипсистов стояла в его глазах, как кошмар. Он даже забыл, что любил когда-то Анну, с него хватало и чисто трансцендентного ужаса. Оттолкнув какую-то табуретку, Христофоров двинулся к выходу.

– А как же папенька!! – провыл ему вслед Падов.

Но Христофоров уже хлопнул дверью. Его встретили дождь, ветер и прячущееся солнце.

Тем временем в комнате Падовского гнезда, накаленной от обнажившихся душ, продолжалась мистерия веры в "я".

Но старые, темные силы противостояния и ухода вдруг снова оживились в Падове.

– Господа! – произнес он. – Хорошо, вы стремитесь к бессмертному вечному Я, которое в вас самих. В человеке есть разные "я". Все дело в том, к какому "я" вы стремитесь!.. Есть своего рода Я на уровне Брахмана, Бога в самом себе, Абсолюта; есть Я на уровне богов; есть, наконец, псевдо-я, эго, иллюзия Я, есть и другое... Допустим-допустим, я не спорю, вы найдете, может быть, скажем, в пределах индуизма правильный путь к высшему Я, путь к Богу, который внутри вас и который неотличим даже от Брахмана, от Абсолюта; и это ваше высшее Я, этот Бог, и окажется вашим подлинным, реальным Я; пропадет ненавистное отчуждение Я от Бога, рухнет дуализм... Может быть, иное: вы придете к этому вечному в пределах глубевской религии Я, которая еще более радикальна, чем индуизм, и которая идет несколько другими путями... Может быть... Но вот что: если я захочу послать все в Бездну: и это я, и абсолютную реальность, и Нирвану, и Бога, и даже Бога, который во мне и который есть мое же высшее Я... Если я все это захочу отвергнуть! Что вы на это скажете!? Конечно, это все прекрасно, и к тому же бессмертие, человеческая тоска и надежда... Но я слышу зов какой-то бездны... К тому же я извечный негативист, отрицатель... Наконец, другой момент: а что если появление иного принципа?

У окна захохотал Ремин.

– Но что же ты предлагаешь? – начал он. – Что?! ...Бездну?! ... Да от этого с ума можно сойти! ...Главное: ведь существует любовь, любовь к этому своему вечному Я! Ведь в любви к нему, в стремлении обладать им во всей его вечности – вот в чем дело! Значит, у тебя нет полной, окончательной любви к своему высшему Я, раз тебя тянут какие-то немыслимые бездны или просто скорее всего отрицание... Нет, нет, все должно быть направлено на то, что любишь, на свое бессмертное Я: и вера, и порыв, и метафизические знания, и всё, всё, всё. И тогда, используя древние методы, знания, медитацию, мы воочию, практически обретем вечность, и рухнут все завесы, и потустороннее перестанет быть потусторонним...

...Вдруг послышалось некое шевеление, писк, и из-за какого-то рваного, ободранного стола вылез юный Сашенька. Губы его дрожали. Он плохо понял, конечно, главную нить этого разговора, ибо мысли его двигались только в одном направлении.

– А если не хватает терпения!.. – закричал он каким-то нечеловечьи визгливым голосом. – Если не хватает терпения!... Я, например, уже больше не могу... ожидать смерти и того, что там, за занавесом! У меня болят нервы... Надо порвать, порвать – наглядно, чтоб всем было доступно, а не только единицам – этот занавес, чтобы воспринимаемый тогда потусторонний мир стал повседневностью, частью нас самих! – закричал он, весь трясясь. – Чтоб рухнула преграда... Чтобы все слилось... И тогда... и тогда, – он внутренне как бы усладился, – все изменится... человечество освободится от всех своих

земных кошмаров; голод, война, страх перед смертью потеряют свой смысл; рухнет тюрьма государства, ибо она бессильна пред духовным миром... все перевернется...

– Ишь, куда понесло, – улыбнулась Анна. – В социальщину... Ну, это по юности... Ты еще организуй партию под названием "Загробная"... Программа и цель: порвать занавес... Со всеми последствиями... Сашенька, ведь до сих пор все старались наоборот уберечь человечество от знания потустороннего. Боюсь, что ваш прорыв приведет к замене земных кошмаров другими, более фундаментальными... Впрочем, все это имеет смысл.

Но никто не реагировал на ее ворчание, все берегли и щадили "юных"; вместе с тем непомерный взрыв Сашеньки, сам его вид: еще мальчика с блужающими глазами, точно устремленными в неведомое, спровоцировали у каждого виденье своего запредельного.

Воздух опять был напоен непознаваемым, истерически инспирированными призраками и хохотком, утробно-потусторонним, точно лающим в себя, хохотком Падова. Все это смешалось с потоками, судорогами любви к "я", с патологическим желанием самоутвердиться в вечности и с виденьем собственного "я" – в ореоле Абсолюта.

Самое время было не вместить... Но душа как-то выносила все это... Только Сашенька и Вадимушка вдруг чего-то не выдержали и попросились домой. Игорек вывел их за ворота.

– Личность должна взять на себя и бремя рода, и бремя запредельного! – провизжал он им на прощанье.

Лицо Вадимушки было даже чуть радостно.

Опускалась ночь. В гнезде Падова остались только хозяин, Анна и Ремин. Игорек тоже уехал.

Федор наблюдал за всем этим из щели. В гнезде Падова было так много соседних полу-комнат, закутков, что не представляло труда стеречь рядом, в ожидании.

"Смыть, смыть надо их... недоступные", – бормотал Федор, когда вечером пробирался полутемной тропинкой к дому Падова, когда лез в окно, когда проходил сквозь дыры. Душа вела дальше, в запредельное; каждое дерево, качающееся от ветра, казалось платком, которым махали из потустороннего; каждый выступ, каждый предмет точно неподвижно подмигивали вымученно-нечеловеческими глазами. Федор вспоминал Анну, ее хохотки и улыбку; думал о метафизическом дерганьи Падова. Оскалясь, вспоминал про себя стихи Ремина.

Описанный бурный разговор между обитателями и Христофоровым медленно входил в его душу. Надежно приютившись рядом, по соседству, он медлил, ожидая своего часа. В воображении плыл вспоротый живот Анны и ее крик: "Я.. я.. я.. В вечности, в вечности!" Поэтическую головку Ремина, застывшую в самолюбии, он представлял себе отрезанной и тщетно пытающейся язычком поцеловать самое себя.

"Футболом ее, футболом!" – неистово бормотал Федор, вцепившись в косяк двери. Он словно видел себя на полянке, пред Падовским гнездом, в одной майке, без трусов, потно гоняющим мертвую голову Ремина в качестве футбольного мяча. "Футболом ее, футболом, – причитал он. – И забить, забить навсегда в ворота".

О Падове была особая речь; Федор хотел просто его задушить, глядя в глаза, своими руками; чтобы вместе с хрипом из красного рта выдавливалась и душа, кошмарная, наполненная непостижимым ужасом, задающая себе патологически-неразрешимые вопросы. Он представлял себя накрытым этой душой, как черным покрывалом, и выбегающим из этого дома, как бык, в слепоте, – вперед, вперед, в неизвестность!

Все это не в словах, а в каких-то невыразимых мыслях-состояниях, понимая все по-своему, переживал Федор. Как огромный идол, переминался с ноги на ногу, чуть не подпрыгивая, вслушиваясь в хрип и бормотанье там, за стеной.

Но постепенно некий томный и потусторонний елей обволакивал его душу. Ему стало казаться, что он частично уже нашел то, что искал: в самой душе "метафизических", в их существовании. Смрадно щерился каждому, направленному на "главное", слову Падовских. От этого общения он получал почти такое же ощущение, как от убийства.

Это неожиданно немного снизило его желание убивать; однако ж, с другой стороны, это желание еще более вздернулось и укрепилось, именно чтоб разрешить парадокс и реализовать себя во что бы то ни стало.

Федор настороженно прислушался к этому вдруг нахлынувшему противоречию; чуть дрогнул, испугавшись неосуществления; но потом почувствовал, что мертвая радость от бытия Падовских все равно ведет только к стремлению получить идентичную, но еще более болезненно-высшую радость от их убийства. (Одно напряжение снимается другим, еще более катастрофичным).

Но все-таки он не мог избавиться от искушения продолжать ощущать их живыми. Ибо, о чем бы они ни говорили, он, особенно почему-то сейчас, перед их приближающейся смертью, продолжал ощущать их как нечто потустороннее, присутствующее среди живого здесь; а потустороннее нечего было превращать в потустороннее, то есть убивать; оно и так частично было тем, чем Федор хотел бы видеть весь мир.

Но только частично – все равно и здесь завесу надо было порвать...

Тем временем Федор услышал, Что Сашенька и Вадимушка уходят; ушел и Игорек; Христофоров убежал еще раньше.

Это приближало бытовое выполнение его плана: все-таки трудно было бы даже изощренным способом уничтожить столько людей. Теперь оставались только трое: Анна, Падов и Ремин. Но – главные. И притом наступала ночь.

Федор метался душою в поисках подходящей смерти. Сначала ему

пришла в голову мысль их сжечь, живьем, ночью, во время сна, когда видения подступают к горлу. Тем более, рядом, в сарае, было сено.

Огонь, огонь! – сейчас это соответствовало его душе. Но недостаток этого способа был в том, что тогда отпадала возможность заглянуть в глаза умирающим, насытиться их видом. Поэтому имело смысл действовать топором – тоже во время сна. В конце концов, уничтожив сразу двоих, одного кого-нибудь – лучше Падова! – можно было бы обласкать, завести с ним разговор, даже поцеловать перед умерщвлением.

Федор не знал, на что решиться.

Между тем Анна, Ремин и Падов оставались одни в комнате. Большей частию молчали – каждый по своим углам; иногда только раздавались сдавленные стоны, вздохи и обрывочные, точно скачущие между ними, слова.

Анна вставала и как бледный, самонаполненный призрак подходила к окну – пить. Ремин тихо выл – ему виделось собственное, родное "я", покинувшее тело и бродящее в раздвинутых мирах. Оно светилось невиданным яйным светом, расширяясь как звезда, как Вселенная... все дикие, умопостигаемые чудовища исчезали, растворяясь в его лучах. "Я", отожествленное с чистым духом, расширялось и расширялось, и не было конца его торжеству... Но был ли это предел?..

Федор неслышно шевелился за стенкой; он чувствовал дыхание этих состояний; ворочал ржавый, большой топор.

"Только вечность, вечность!!" – кричал Падов, простирая к себе, в небеса, руки.

Словно ломались преграды на пути к зачеловеческому сознанию.

Соннов ждал, сам не зная чего, с топором в руках.

Анна плакала в углу.

Ее пронзила гностическая жалость к себе; по форме, правда, Анна видела свое "я" – по крайней мере внешне – в более человеческой оболочке; она являлась себе девчонкой, бродящей в адо-раю непознаваемого, девчонкой, играющей в прятки с Непостижимым...

"Бессмертия, бессмертия!! Сию же минуту!!" – стонала Анна, лежа на досках ржавой кровати, прильнув к каким-то железным прутьям. Волосы ее разметались, на губах выделялась пена. Казалось, она была готова отдаться этому бессмертию, лишь бы вобрать его в себя.

"Моя милая, моя милая", – лепетала она, останавливая взгляд непонятно на чем.

...Вот она уже плывет среди звезд... А вот – на земле – просто сидит на скамейке... И это свято.

– Бессмертия, бессмертия! – выла она, и пытаясь обнять, зацеловать свое "я", точно простирала из своего сознания к себе самой духовные руки.

Иногда глаза ее выкатывались от непостижимого счастья и ум мутился от желания объективизировать любовь к себе. Казалось, она сойдет с ума, стараясь выразить любовь к своему "я"; вскочит с постели и завопит, как марсианское чудовище, выбежит на улицу, простирая руки неизвестно к чему.

Федор вслушивался в каждый стон и бормотание "метафизических" ему снова захотелось вступить с ними в контакт, услышать их разго-вор и в полной мере ощутить живых Падовских.

Но стоны становились все тише и тише. Очевидно, внутренние бури приближались к концу. Все явственней стояла тишина, даже какая-то духовная тишина. И Падов, и Ремин, и Анна не издавали ни одного звука.

Федор упрямо ждал. Ночь углублялась, и темень в его углу вскоре стала такой, что он ощущал ее, как предмет. В середине ночи Федор почувствовал, что его любимые уснули.

Теперь, как практически, так и по существу, тянуть было нечего.

Но, точно наперекор судьбе, ему захотелось подождать. У него даже возникло желание разбудить их, попить чайку, заглянуть в глазки, поговорить, ни в чем не выдавая себя. И потом — когда они опять заснут — убить. Осторожно он вышел в небольшой коридор — рядом, за чуть прикрытой стеклянной дверью были и Падов, и Анна, и Ремин.

Федор ступал неслышно, как летучий медведь.

Взрыв — в потустороннее — чувствовал всей своей открытой пастью. Неслышно дышал, точно выделяя одиночество. Топор был в руке, и она угрюмо тянулась к двери. Стены застыли, уходя в несуществование.

Федор — всем сознанием — слушал дыхание лежащего рядом с дверью Ремина. Где ему, спящему, виделось сейчас, в этот страшный момент, его вечное Я?

Раздражала Федора мгновенность перехода; одно движение — в эти минуты он бывал нечеловечески силен и ловок — и все.

В душе опять вспыхивало желание: разбудить, — хотя бы Ремина, чтоб он привстал на кровати — и пообщаться с ним, прямо перед смертью; потрепать его по щеке.

Но наконец Федор решился. Может быть, убийство разрешит большее, чем контакт. Взгляд его отяжелел, точно пред собственной смертью.

Но все-таки ему захотелось чуть-чуть пережить внутри себя предсмертную беседу. Причем в обратной форме. Его сразу потянуло в полное одиночество: просто пройтись минут десять одному по саду; потом прийти — и быстро раздвинуть занавес. Он сжался, странно повеселев от сознания, что теперь его решение равносильно действию; и вышел пройтись — в одиночество — в сад.

Уже немного светлело, и воздух был свободен и влажен. Он пошел вдоль забора, любуясь собственной тенью как символом.

Вдруг — из огромной дыры в заборе, сзади него — вышло трое человек. С оружием. Их появление было непонятно.

— Вы арестованы, — сказал один из них.

Париж

Елена Юдковская

ИЗ КНИГИ "ЛАБИРИНТ"

* * *

Смеркалось за окном. Я только увидала
расплавленный зрачок погашенного солнца
и синеву морщин на горизонте.
Стекало время каплями в ладони.
А я молчала.
Стирала. День еще не прожит.
Белее снега мыльные развалы.
И руки, словно с них содрали кожу,
по локоть красные от пара,
выкручивали детские пеленки,
да так, что разрывалась ломко
сырая тишина.
А я молчала.

Прислушивалась напряженною спиною –
как часовые стрелки, в ожиданье боя,
чуть замедляют ход,
чтоб вновь по кругу...
Но разорван круг.
И кругом
шла голова.
Потягиваясь сонно,
мое дитя урчало изумленно,
заталкивая пальчик в рот.

И день сгорал. Смеркалось за окном.
А я была от всех времен отторгнута –
немая, как школяр перед иероглифом,
или иероглиф – перед школяром.

СПАС

1.
Свет, свет. Багровый и плакучий,
на тонких срезах забродивший сок...
Взлетают яблоки над белой кручей,
тяжелым звоном капая в песок.
Середина августа. Последняя примета
бессонных слов и круглых дат.
Раздвинув палевые руки веток,
вхожу в собор, как в гулкий сад.
Звонят, звонят.
О долгожданный полдень,
когда последний луч в стогу увяз,
и понизу, как эхо колоколен,
играет в листьях яблоневый Спас.
Во сне и наяву; сбивая тени,
хожу по лабиринтам муравьиным.
Неужто время – собирать каменья
и стены возводить, утратив имя?..

Звонят, звонят, как небо отворили
для сладких снов, хоть срама не снесут.
Вкусив греха, как яблока, Мария
торопится, смеясь, на Страшный суд.

2.
Я поймана.
Сомкнулась дней печать.
Глаза черны, как выжженные гнезда.
Я пройдена.
По мне горит свеча,
зеленой тенью ускользая к звездам.
Как долог путь...
по темным плавням вброд.
И нет конца, и вновь не воротиться.
Середина августа.
Последний поворот.
Моя душа, куда б переселиться
по проводам, по лестнице, с обрыва...
упасть, не ведая конца, на дно,
где так свободно и нетерпеливо
играет мой талант, как юное вино.
У Лукоморья цепь.
А на цепи – Жар-птица.
И я бегу за ней по воле рос.
Еще так трепетны мои ресницы
от тени облаков и ранних звезд.

3.
Звонят.
Еще звонят, как будто
Она вернется к спелому куску.
Нечесаная, отупев от блуда,
и слезы по щекам, как по песку.
Спаси ее от голода и страха.
Ну хоть бы крошку кто-нибудь подал...
Уже истлела на плечах рубаха,
и байстрючёнок сиську искусал.
Родное дитятко...
неужто мой?
Из плена
бессонных рук, сплетенных, как лоза.
А сказывают... в душном Вифлееме
была она невинна, как роса.
Томило губы от жары и скуки.
Клевал петух куриное стегно.
Блаженный муж строгал гробы и стулья
И жизнь текла, как дождик за стеной.
Благословен покой смоленых стрех
и на исходе дня – усталость!..

Я стерла этот день в календаре,
чтоб и следа от пепла не осталось.
Покинув все, чему названье – дом,
лежу в траве, ослепшая от зноя.
Игрушка-самолет серебряным хвостом
разбызгивает небо надо мною.
Я здесь уже была...
О Спасов час?
Медовый звон травы и листьев палых...
Как легкий дым над ними б вознеслась,
да пуповина цепью приковала.
Не разрубить.
О маета оков,
когда, едва вскочив спросонок,
бегу, бегу,
сбивая ноги в кровь,
а на груди, как стебелек, – ребенок.
Пока ты мой, пропах моей пыльцой, –
благословенно все, что отболело!
В лучах угасших рук мое лицо.
Отяжелел мой ум, желанья обмелели.
Что мне осталось?
Пересохло дно
невинных слез, и отсырели звуки.

Но мой талант, как старое вино,
ударит в голову.
И нет конца излуке.
Плетусь по ней, согбенная от ноши
чужих бесчестий, окропленных славой.

Но не прожить нам под одною кожей.
И яблок не срывать, сминая травы
в середине августа... у Лукоморья...

А нам пристало –
свет, как дым, развеяв,
поверить во Владимирском соборе
в быль или небыль от Матфея.

Звонят, звонят...
А вдруг, не угасая,
мы возвратимся птицам и садам.

И яблоки летят, земли касаясь.
Храни их путь.
Куда б, куда?..

* * *

Нам должно долго жить
меж правдой и обманами,
чтоб вместе остопить
тропу обетованную.

Пройдя за изворот,
что от жилья до логова –
кто первым оборвет
куст вереска лилового.

Но нет пути назад –
возмездие оплачено.
Для нас костры дымят,
Для нас кресты сколачивают.

Кто первым избежит
впотьмах тупой отметины.
Нам должно долго жить,
чтобы дожить до сретенья.

Голландия

Игорь Яркевич

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

рассказ

Особенно нам нравились три позы: "Дальняя дорога", "Крокодиловы слезы", "Борис Пастернак".

Нет, она меня любила не за то, что я еврей; за мою сексуальную чуткость она меня любила. Ну, во-первых, я никогда не делал ей больно. Зачем? Жизнь и так тяжелое испытание, так еще и в постели женщине мучиться?! Во-вторых, я ее практически никогда не бил, разве что иногда, и то – не сильно... В-третьих, мне нравилась тема ее диссертации, и она знала, что я ценю ее как творческую личность, а не только как дырку!

Я подобрал ее на улице. Что-то плохо шли дела у нее в этот вечер, никак она никого снять не могла; я подошел к ней и сразу сказал: "Ты знаешь, любовью можно заниматься только ради любви, а деньги – дело десятое". Она изумилась: "Не может быть!", но сразу мне поверила. Я не обманул ее ожиданий.

С этого момента у нее появился один постоянный клиент – я, вернее, не я, а моя сексуальная чуткость. Она бросила панель, вернулась в аспирантуру и снова стала заниматься своей темой. Но ее бесила моя индифферентность к русско-еврейскому вопросу. Она твердила, что ей было бы значительно легче, придерживайся я хоть какой-нибудь позиции в этом вопросе. "А если тебе в автобусе крикнут – еврей, ты обидишься?" – постоянно спрашивала она. "Как же можно

обижаться на правду?" – недоумевал я. Говорить больше было не о чем, и она занимала исходную позицию в "Пастернаке".

Потом, уставшие, мы снова возвращались к ее теме. Она мне рассказывала о Милюкове, о Гучкове, о Керенском, и все они вставали передо мной как живые. "Если будет мальчик, назовем его февраль", – думал я.

"А почему ты так не любишь евреев?" – спросил я ее однажды. "А зачем они погубили дело моей жизни – Временное правительство?" – ответила она; кстати, чисто по-еврейски, вопросом на вопрос. "Они так больше никогда не будут", – пытался я заступиться за своих соплеменников, впрочем, чисто формально.

Пришла осень, принесла облетевшие листья и серые дожди, и наступил долгий период "Дальней дороги". Я аккуратно снимал с нее колготки, одновременно массируя ее застоявшуюся задницу и скользкие бедра; она проверяла мою главную эрогенную зону и две запасных. По обычаю мы присаживались на дорожку: я на диван, она – на меня, и – поехали! Куда же нам без первого космонавта!

На середине "Дальней дороги" мы меняли поперечное положение на продольное. Умело доводили друг друга до изнеможения. Обессилевшая, она шептала: "Двоевласти... Корнилов..." Я заканчивал, не спеша и со вкусом, она выдыхала – "Октябрь", вставала, мылась и садилась к столу. Я хотел еще, мне было мало, "Дальняя дорога" звала и манила, но она царапалась и кусалась, когда я тащил ее обратно на диван. "Меня ждут люди" – она показывала на свои черновики; ничего поделать было нельзя, февральские господа стояли между нами!

Проклятая политика отнимала у меня любимую! "Или та, или эта", – решил я и, разумеется, сделал выбор в пользу этой. Мне хотелось уничтожить ее тему, этих господ из февраля; я решил сжечь ее диссертацию! Надо было спасать любовь! Но потом махнул на все рукой; пусть идет, как идет.

Мы сидели в кафе, пили чашку за чашкой гнусный московский кофе, разлили под столом портвейн, она спросила: "Ты хотел бы иметь групповой портрет Временного правительства с моей дарственной надписью?" Я поперхнулся, немножко подавился портвейном, и мы пошли гулять; только мне еще пришлось вытереть столик в кафе и застирать на себе брюки – все было в следах портвейна. Пустую бутылку оставили уборщице, чтобы не орала.

Обошли центр, отправились в один из новых районов. Москвичи – идиоты, в последнее время я начинал тяготиться жизнью в первопрестольной. Новыми москвичи называют районы, построенные после 1721 года, хотя за последние сто лет в этих районах не было построено ни одного туалета.

Раньше я любил московские сумерки, они казались мне романтичными и многозначительными. Запахи помойки и тухлого мяса, летящие из многочисленных столовых, заставляли сильнее биться сердце. Вид спившихся стариков и дебильной молодежи радовал глаз и волновал душу. Ах, бульварное кольцо... Огромные деревья, треснув-

щие лавочки, непонятной породы собаки, одинокие люди, изнемогающие под коммунистическим ярмом... А знаменитый центр Москвы? Три десятка улиц, заполненных гниющими развалинами, ничего уже не говорящими о былой (если была, если не врут, проверить уже невозможно) роскоши... Теперь все это, раньше умиляющее, казалось мне скучным и неинтересным, как использованная вата. Ляжки и подмышки любимой Вари, ее носки и лифчики – вот что теперь волновало меня, и только это! "Ты изменился", – говорили мне друзья, явно завидуя.

Она задумалась. "О чем ты думаешь, Варя? О князе Львове?" "Нет, я писать хочу!" О, бедная моя, в Москве можно многое сделать – что-нибудь купить, кого-нибудь продать, получить квартиру, поймать такси, толпу у посольства увидеть, стать шизофреником с большой буквы, но вот найти туалет... Моя любовь Варя пошла в подворотню, я стоял на страже и близко не подпускал случайных прохожих.

Погуляв, пришли домой. Сегодня была очередь "Крокодиловых слез". Положение хрестоматийное, но одновременно вставляешь палец партнеру в аннальное отверстие и медленно продвигаешь палец дальше. Партнер (партнерша) испытывает муки радости от гипертрофированного удовольствия, при этом текут слезы как бы от боли.

Потом она снова вернулась к своей теме.

Я попытался отвлечь ее разговором о русских мальчиках, о том, как они сейчас выглядят в пространстве. Если раньше мальчики собирались в кабаках и обсуждали проклятые вопросы, то сейчас мальчики посмотрели друг на друга, поняли, что они красивы, разлюбили вопросы, но зато полюбили друг друга. Навсегда, до гробовой доски. Теперь русские мальчики не интересуются никакими вопросами, теперь они ебут друг друга!

Но ей были безразличны судьбы русских мальчиков, только дяди из Временного правительства улыбались мне из ее глаз.

К разрыву шло дело. Меня уже не возбуждали ни ее длинные стройные полные ноги, ни ее разметавшиеся высокие полные грудки, ни ее ласковые зубы, ни ее честная талия... То есть возбуждали, конечно, но я мгновенно угасал, едва она вспоминала о февральско-октябрьской номенклатуре.

Она любила меня, мучилась, но ушла! Ушла Варя к аспиранту Ване! Ваня ее любил, и тему ее любил, и в русско-еврейском вопросе он поочередно занимал то одну, то другую сторону. Когда Варя ушла, я, разумеется, ее снова полюбил, все меня в ней возбуждало с неведомой ранее силой, но было уже поздно, назад дороги не было, и мне оставалось только мучиться, как этому, мать его, Керенскому, что ли, когда он потерял Россию.

Я нашел для себя куда ткнуть, но какой это был ужас! То, что у нее называлось грудью, весьма относительно напоминало грудь. С другими частями тела ситуация была та же. Ни о каком минете не могло быть и речи! Она знала единственную позу: "Бревно, чудом выброшенное на берег во время лесосплава и уснувшее навсегда". А Варя стала регулярно присылать мне фотографии, где она обнаженная, то одна, то с Ваней. Мстила, наверное!

Я дошел. Спиртное, женщины и книги перестали привлекать меня окончательно. Картины, кинофильмы и всякие другие предметы искусства уже не занимали мое расстроенное воображение, которому во всех темных углах мерещились Варя в позе и февральские рожи. Даже смена режимов в родной стране меня мало интересовала.

Потом я попал в горячие лапы онанизма, но ненадолго. Потом я возненавидел все русское – русскую речь, русские книги, русских людей, русские слезы, русские гениталии и русскую надежду. Не прошло и двух дней, как я возненавидел все еврейское, и даже феномен еврейского этатизма уже не вдохновлял.

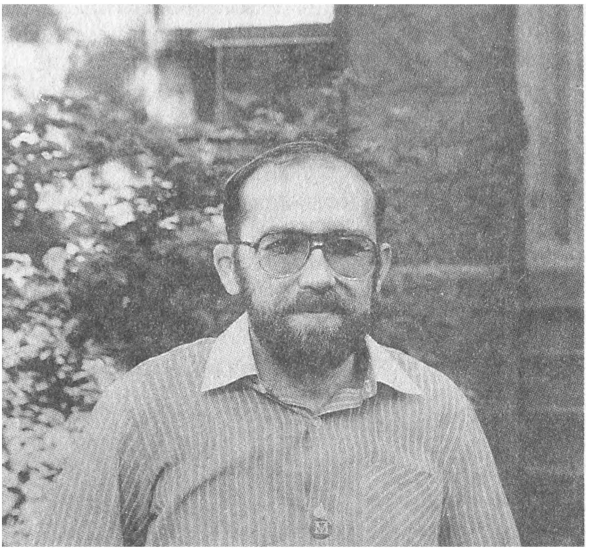
А тут я случайно такое услышал за спиной:

– Временное правительство – вот идеал демократического правления!

Я вспомнил потерянную любовь, не выдержал, повернулся и сказал:

– Знаете что, господа, – ебал я ваше Временное правительство!

Москва



Славомир Волкович

ПОЭМА

Янислав Вольфсон одаренный сложившийся поэт. Он взялся за трудную тему осмысления давно миновавших событий, связанных с крушением старого мира. Эта эпоха воскресала неоднократно под перьями многих писателей нашего века и, казалось бы, исчерпаны все краски и расставлены все точки, но, видимо, эпоха эта неисчерпаема, как неисчерпаемы наши мнения, ибо мы становимся совершеннее с каждым годом, пристальнее и объективней. Эта частная драма тронула меня своей пронзительностью и печалью за человека, за нас с вами; эта поэма привлекла мое внимание незаурядным углом зрения. Мне показалось, что стилистика ее абсолютно соответствует этому углу зрения, а жесткие парадоксальные краски как нельзя лучше помогают проникнуть в тот удаленный, но всегда близкий нам мир, в нашу колыбель.

Это не детектив, не легкое субботнее чтиво, это сложная литература, но, к счастью, без претензий на глобальные обобщения, без желания угодить всем вкусам.

Б. Окуджава
4.6.89 г. Москва

...путь по шоссе приятен и прост.
В восемь утра отходит мальпост.
Мало минусов. Много рытвин.
Всегда омнибусы. Зимой закрытые.
И отправляются часом позже.
Лицом к лошадям на рубль дороже.
Лошади ухоженные и в теле.
Спиной к лошадям на рубль дешевле.

Это город начала века,
Слева горы, а справа ветки.
Мало улиц и много лестниц.
В небе не месяц, а полумесяц
и звезда с ним рядом, словно на флаге.
Шорох прибоя, как чистой бумаги.
Трется вода о холодные сваи,
стада ставриды и чаек стаи.

Две типографии. Две газеты.
Триста дач. В большинстве - клозеты.
Новый город. Слободка. Порт.
В заречье – единственный водопровод.
Новый базар и старый базар.
Старый дороже, надо сказать.

Дача Карининой. Пыль исключается.
Заразные больные не принимаются.
Горный воздух. Вид на Ай-Петри,
Парк Эрлангера в двадцати метрах.
Ванная. Комнаты. Телефон.
От пятидесяти рублей пансион.
Гимназисты и дети платят сорок.
Горный проспект. Главная контора.

Сезон август–сентябрь–октябрь.
Жарко. В Ливадии – государь.
Густеющим сумеркам вопреки
мерцают газовые рожки.
Виноградом пахнет ночной эфир.
Каждый с шести часов – жуир.
Толпа роскошней, чем в Ницце даже.
Прохладна галька сентябрьских пляжей...
Ночью купанье, порой неглиже.
Что было ранее – забыто уже.

Едва знакомы, ей двадцать три.
День – бастардо. Ночь – пино-гри.
Нежная кожа, в осанке надменность.
День – мадера. Ночь – педро-хименес.
Упругие скулы, упрямая грудь.
День – что угодно. Ночь – что-нибудь.
Вырез на платье, подол до пят.
Выше, туда, где растет мускат,
не усидеть в раскаленных креслах,
да, опора дьявола в чреслах,
нет, напряжения не одолеть,
лечь скорее, чтобы взлететь,
в пропасть рухнуть, когда дошел,
бояться коснуться, но трогать шелк,
ночь секундна, вот в чем обида,
все с утра восстает как идол,
боль упрятана под подол,
кровать разбита, остался пол,
тень двоих и полдневный свет...
День уйдет как плохой совет,
щеки пылают, глаза чисты.
Нет стыда. Есть она и ты.
Шикарная гостиница "Россия".
Сто номеров, половина пустые.
Цена номеров от рубля и выше.
Читальня. Бильярдная. Люстры. Ниши.

Старый город. Всё там-то и там-то.
Стоянка извощиков у почтамта.
Можно куда угодно добраться.
Цены высокия. Надо торговаться.

Линейка ходит из Ялты в Гурзуф.
Лошади сами сгоняют мух.
Ландо и линейки – из Ялты в Алупку.
Съездить приятно. Не съездить глупо.
Во вторник в Массандру. В четверг – в лесничество
Экипажи – поставщик Е. И. Величества,
дерекойский житель Асан Умеров.
Мужские седла для гг. офицеров.
На рубль дороже под дамским седлом.
Поедем шагом, верхом, вдвоем...
Кони Умерова ходят скоро.
Слева море, а справа горы.
Проедем утром места мистерий,
где все, как в начале античной эры,
Мусий – хор или Хоре – ис,

там, где узок горный карниз,
Олеиз, Кореиз, Мисхор...
Музам, покинув трагедию, хор
нараспев читает науку любви...

Близ мола – бульварная аптека Леви.

За речкой Гувой, подать рукой,
есть селение Дерекой.
До него ходу одна верста.
Это татарские всё места.
Дере – ущелье, деревня – кой.
Ночью уходят туда на покой,
чтобы потом, темно-синим утром
бежать на базар, продавать там утварь
медную, бронзовую, таз, кувшин,
всякие мелочи для души.
Там живет их глава, хатип.
Загадочный тип.

...тронут охрой и красным октябрь,
все нерушимо, батюшка-царь
рядом; а с неба чайки гадят
на пену дворца в пучине Ливадии,
их вопли как будто младенческий крик;
императрицын вверху эриклик,
а внизу, во дворце, там, где к морю близко,
сам государь и его артистка;
внутренний дворик прохладный мраморный,
темные пальмы картинно замерли,
пано черной чугунной решетки,
шестнадцатый век, ренессансная четкость,
Верона, сердце сладкой Италии,
презент Юсупова; немного подалее,
в правом крыле – покои наследника.
Вино из Массандры, продукты с ледника.
Вечерами по парку гуляют пары,
чувствуют, как мирового пожара
занимается розовая пора...
Но все осознать мешает жара,
нагретая пыль от кедровых веток.
Жалко картонных марионеток.

Что жалеть! Тут такое будет,
когда появятся новые судьи,
когда везения станет все менее,
великий князь покинет имение,
сказочный замок, дворец Дюльбер,

Скоро тут будет эс-эс-эс-эр.
Последний Романов бросится вплавь,
по матери эту землю коря,
а над побережьем подсветит заря
море, плывущие в нем тела,
берег, который сгорает дотла...

Женщина-доктор Гурьян.
Лучших нигде не бывает ванн.
Опытные бадмейстеры и бадмейстерины.
Раздевайтесь. Подставляйте дряблые спины.
Цены те же, что и у Рофе.
Посетители даже из высших сфер.

Пройдет ноябрь и придет декабрь.
Штормом проломан мол вдали.
Верно, здешний возник календарь
до разделенья воды и земли.
Татары в мечетях мечутся что-то...
В ресторане на сваях зияют пустоты
выбитых стекол. Чадят суда,
надолго замкнутые сюда.
Пальмы укрыты мешками до плеч.
Ветер любого заставит слечь,
бессилен будет и доктор Штангеев.
Заперты двери в домах и дачах.
За окнами — сонные лица лакеев.
Юдоль урагана. Вместилище плача.

В январе иногда бывает затишье.
Шторма не слышно. А солнце слышно.
Жара, хоть снимай с себя шинель.
Воздух сильнее, чем пятый шанель,
Кажется, что исчезает простуда.
Дышать — обязанность, а не причуда.
Неподвижное море повреждает рассудок,
как безвозмездная ссуда.

Часовой мастер Э. Коварский.
Поломка любви. Починка коварства.
С двухлетней гарантией за верность и ход.
Цены умеренные берет.
Заводка часов в пансионах и дачах.
В башне на Садовой — тем паче.

И в это мгновение, как ни жаль,
зацветает везде миндаль,
несмотря на февраль, он цветет, непослушен,

словно сотни спрятанных пушек
бесшумно стреляют, и спят войска...
Беззаконные облака
клубятся кругом, и горька их участь:
скоро, корчась и молча мучась,
впадут во внезапные холода
и облетят – уже навсегда.
Он это предчувствует, но цветет,
невменяем, как сочинитель нот.

Бюро похоронных процессий Косарева.
Что-то кесарево сверху косится.
Усопшие – от нищего до Е. И. Величества;
гробы деревянные и металлические;
доставка в любой конец государства,
часто бесплатно, по-христиански;
имеет много хороших отзывов.
Орнамент с лилиями и с розами.
При конторе продажа венков и лент.
Существует уже восемнадцать лет.

Сезон чахоточных померанцев.
Встретишь изредка оборванцев:
учитель – надеялся жить уроками,
но бедность является роком, а
не временем года, как и нужда –
они не кончаются никогда.
Чахотка все пуще, а денег все меньше,
кашель глубже, заложены вещи,
нет чернил, и скончался друг,
обещавший вывезти в Петербург.
От пути иного бросает в жар...
Неиссякаем источник кар.

Фотография Семенова. Как убога она!
Фотографируйтесь только у Когана!
Кашлевой, клочковатый март.
Нет рубля, чтобы спрятаться в парк.
Негде укрыться, навесов нет.
О чем думает городской комитет?!
Бездействует земство, спит управа.
Недаром ходит дурная слава.
Спрятались д-ра Дмитриев и Штангеев,
и Яновский, спаситель прелюбодеев.
Нет, не дождаться пушка на вербе.
Пора в Германию, петь "их штербе".
Набережная насквозь пуста.

Все продуто, что было согрето.
Ветер с гор, ледяной, свирепый,
тяжелобольные освобождают места
в частных дачах и пансионах...
Путешествуют уединенно
морем в Одессу, потом в Петербург...
Шторм идет на последний штурм.

Говядина 14 коп. за фунт.

Женские шляпы – магазин Е. И. Гунт.

Март уйдет и придет апрель.
Молоко подадут больным в постель.
Пусть встает, кто выжил, вдыхает прохладу,
крики татар на базаре с надсадой,
пусть слоняется у причала,
хоть нет пароходов и солнца мало,
пусть пьет молоко и бредет далеко –
медленно, долго и нелегко...
Доктор видит город насквозь,
как в сердце червя или в горле кость,
в распятом гвоздь, в винограде гроздь,
в осени ось.

Видит тощие кошельки,
обстановку в номере средней руки,
умывальник каменный, синий кувшин,
веревку. Чтобы платье сушить...

Видит голый в саду платан.
Просветы в ветках, углы к углам,
соль в прибое и сильный иод.
Где всходит солнце. И где падет.

Доктор видит больного насквозь –
местный или приезжий гость,
видит до омерзения четко,
где чахотка, а где сухотка.

Доктор входит, как в масло – нож,
в дачу, в которой ты живешь,
подымается в ветхую эту мансарду,
из которой видно парки Массандры,

щупает слабый и скорый пульс,
говорит, не теряя времени: – Пусть
на ночь сегодня вам дадут кодеин...
И снова лежишь, задыхаясь, один.

Остерегайтесь комиссионеров!
Цены не принимайте на веру!
Старайтесь всегда торговаться сами!

На набережной – магазин Синани.

Май прохладен и новозаветен.
Выполнен весь в фиолетовом свете.
Иудино дерево яд расточает.
Павловния в такт фонарями качает.
Захлестнуты стены пучиной глициний:
белой и синей.
Сикомора руки воздела горе.
Под ней в кислороде горит сирень,
и от этого грозного переизбытка
даже нужное слово быть может забыто.
И пленителен необратимый июнь,
его сумерки из фиолетовых струн,
на прибрежьи, похожем на контур альта,
но натянуты робко, и нота не та,
и густеет таинственная эта сила,
связанная с поглощеньем светила.
А потом разгорится июль как порох,
от Мегавома до Ай-Тодора,
пожар от Кастрополя до Гурзуфа,
вплоть до потери зренья и слуха;
накалены и вода, и горы,
нежные губы и кожные поры,
ничто не дижется, замерли даже
ландо, шарабаны и экипажи,
неподвижны у горного клуба "корзинки",
словно на моментальном снимке...
Вымер город и вымер порт.
Истекает пот из нагретых пор,
дымится желтый июль раскаленный,
плотное море у грифельных склонов.
Полдень похож на солнечный фаллос.
Тлеет все, что еще осталось.
Псы распластались в тени на пузе.
Залив подобен большой медузе,
сейчас испарится, и мы вполне
сможем узнать, что же там – на дне...

Зачем нам пустые ножны сюжета?
Примем легкую лепту лета.
Зачем нам ложный позыв событий,
где живой человек, словно текста житель?

Плохо заучивался урок,
что любое может сломаться перо,
если слишком сильно давить.
Искусство и жизнь – Голиаф и Давид.
Мы потом застесняемся этой минуты,
но скажем: это как почва и путник,
или, может быть, даже планета и спутник,
и дело у них продвигается худо:
и вместе друг с другом – и против друг друга.
А кто их пытался разнять – тот ранен
и с трудом уже отличает орнамент
от пейзажа, а светотень – от портрета.
И чувствует это.

Молодого человека зовут Александром.
В имени виден лист олеандра,
у которого столь ядовитый сок,
что случайно вкусивший его – умрет.
В имени видно копье и щит.
Глаза, зеленые, как самшит.
Взгляд поэтому воды тяжелей.
Особенно в полумгле.

Вам надо знать его карьеру –
извольте: он не стал инженером,
не докончил последнего курса в Горном,
хотя делал вид, что учился упорно.
Из дворян, похоже, конечно, из нищих.
В год получает примерно тысячу,
и ту от любимого отца, вдовца,
петербуржского стряпчего, подлеца.

Чахотка взялась от упадка сил.
Много читал и много курил,
переводил из французского пьесу,
отец приискал приличное место,
но там его приняли за повесу
и выгнали с треском.
Не будем об этом. Спасибо отцу,
что не проклял, как угадывалось по лицу,
наоборот, ссудил немного
на стол, виноград и дорогу.

Остальное, думает Александр,
заработаю как-нибудь сам.
Барышня крещена как Елена.
Пропадает зевота, испаряется леность

фланирующих в Мордвиновском парке
мужчин, включая генералов в отставке.
Гимназисты, торговцы в магазинчике модном
знают, что белое облако пены
откликается на "мадмуазель Елена"
лишь затем, чтоб напомнить о грехе первородном.

Ее родословная мне неизвестна.
Но надо ли это? Она прелестна.
Она прелестна, как звук челесты,
не побоюсь открытого текста,
в городском саду, в купальне, в читальне,
на ближней тропке, на тропке дальной...
Ее взгляд из влаги и воздуха соткан...
Неужели и у нее чахотка?
Да, представьте, она сгорает,
это румянец вполне подтверждает,
везде ее шаг, невесом, как танец,
темней заката ее румянец...
На что проживает, никто не знает.
Она прекрасна, как дщерь Синая.
Можно все отдать вообще
за такую дщерь.

Живет с весны в небольшом пансионе
г-на Жандра, в Аутке, на склоне.
Пропустим знакомство. Оно могло
состояться утром, когда светло,
или вечером, что скорей,
в свете газовых фонарей.
Могло его и не быть, просто тело
одно к другому всю жизнь летело
и вдруг обнаружило этот миг.
...Земная кора совершила сдвиг.

– Я ехал сюда, пыль неслась в глаза,
проезжал Ангар, Таушан-Базар,
пил на станциях водку, вино и чай,
спал, не спал, головой качал,
ехал долго и клял судьбу,
назад, полагал, поеду в гробу,
под матросский крик или женский вопль
поплыву в Севастополь.
Я не знал, что нельзя ничего желать,
с судьбой заигрывать или играть,
ничего нельзя, только жить и ждать...
Елена! Вы не слушаете опять!

– А я катила сюда сквозь Байдары.
Назревало солнце, как божья кара,
я тоже думала, что живой
навряд ли вернусь домой.
Я не хотела встречать Вас, нет...
Я хотела встретить тебя – и все.
Наклонись ко мне. Закрой мне свет.
У тебя растерянное лицо.

Тихо. Остро пахнет чабрец.
Пахнет мята, помет овец.
Дует невиданной силы ветер...
– Что ты смотришь, как новый Вертер?
Тебе запретил еще в Петербурге
расстраиваться Кизеветтер.

Прогулка на Ай-Петринскую яйлу.
Ветер голову оторвет ослу,
татарину, подпоясанному мешком,
и нам с тобой на дороге Шишко.
Тысяча и один поворот.
Внизу, еле виден, белеет порт,
вверху небесам не лень сиять.
Елена! Ты не слышишь меня опять!

Сухая трава шелестит на яйле.
Мы так недолго на этой земле,
сгорающей вечером до золы.
Внизу еле виден черный залив,
словно земле нанесенная рана,
и колокольня Св. Иоанна.
– Пошли, нам надо бояться росы.
Устал татарин, замерзли ослы,
лают в кошарах малые псы,
отступает теплынь, полдня скосив.
Вниз спускаемся, клонит в сон,
плохо дышится, сменим тон,
я все расскажу тебе, но потом...

...крестят друг друга мелким крестом...
– Я расскажу тебе, милый друг,
старую сказку про птицу Рух.
Крыльев ее исполинский размах
затмевает солнце, вселяет страх.
Из живущих ныне уже никто
не знает, где же ее гнездо.
Она летит. Человек живой

попадается ей. Едва живой,
он парит над землей, из всего изъят,
под ним города и пустыни пылят,
а что-то уносит его в когтях,
как коршун лучшего из цыплят.
Теперь он не сможет вернуться назад
никогда! Эту историю Шахразад
любила рассказывать, когда султан
к ней приходил, покинув диван.
Представь!.. Тебя трогает этот сюжет?
Был человек – и вдруг его нет.
Растворился в небе, исчез из глаз...
Шаху очень нравился сей рассказ.
А остров, куда человек этот рух-
нул из когтей разрушительной Рух,
теперь мы топчем, а он ведь был
когда-то безмолвен, безлюден, бел,
в вулканах магма, в ущельях пыль,
в ручьях форель, на обрывах мел...
Он встал, раздвинув глубины вод,
океанскую соль и иод.
– А вдруг он захочет вернуться вспять?.
– Как знать...
Налажено движение трам-линеек.
Билет стоит пятьдесят копеек.

Можно съездить в Никитинский сад.
Спина возницы, широкий зад.
Любовники друг другу не надоедают,
потому что всегда о себе говорят.
– Ты мой мальчик, мой талисман, –
тихо слушает Александр, –
я боюсь тебя обронить,
слишком тонкая эта нить,
да и на мне уже столько ран...
Тихо слушает Александр.

– Завтра мы с тобой после обеда
едем в Абсолютный заповедник,
я сейчас взял пропуск у соседа-
графа, он мордвиновский наследник.
Едем в три и возвратимся в восемь.
Наследим с тобой в мире сосен,
в мире мирта, зарослях реликта,
в каменном кустарнике самшита...
Время потерялось и забыто.
Будущее – прошлого ошибка.

Часовой мастер Э. Коварский!

Кончились деньги, испиты лекарства,
мутит, но нет потери сознания,
что раньше была при слове "прощание".
Оттягивал все и тянул, как мог.
Стояли часы, но пробили срок.
Он является утром, холоден, сух,
пароход пополудни, около двух,
говорит, почти не разъемля губ,
временами просто жесток и груб,
ему бы покаяться как на духу,
а он несет чепуху.

Смолчали о знакомстве, смолчим о прощании.
Он уложился. Она в отчаянии.
Слезы наружу. Дважды рвет.
Порт весь в лужах. Ревет пароход.

Часы починились, но стрелочки выпали все.
Часовщику и не снилось, что время может висеть,
человек неподвижный – бежать, вон мелькают колена.
рядом – стоять, не скрываясь, нагая Елена...
Ее царапает взгляд этот, как самшит.
Его ничего не трогает, все лишь слегка смешит.
Он что-то сегодня выпил – мускат? портвейн?..
Вот и закончился спор артерий, нервов и вен,
вот и закончилось время радостей и потерь,
то, что было, было, было, было, поверь...

Ей, как ни странно, стало назавтра легче.
Стало казаться, что не было этой встречи.
Стало казаться, что можно еще остаться.
Может быть, даже в Гаспру поехать кататься.
Ну, не так далеко, а верхами, пусть в Ореанду.
С тем офицером, что утром сидел на веранде.
А послезавтра опять все внутри засаднило,
словно хотела все кончить и ела мыло,
и все внутри намылила и не смыла,
и все замлело и так навсегда застыло.
Она пожила еще месяц и тронулась дальше.
За границу. Курорты все реже, лечебницы – чаще.
В тот день, когда возвратилась она в Россию,
было первое августа, и газетчики голосили.

Однажды ему приснились часы как клещи.
Они смыкались над головою зловеще.

Наутро встретился граф Мордвинов-наследник
и сразу пошел про Елену мести, как веник.
Дескать, она исчезла, ее видали
то в Монте-Кассино, то в Лугано на карнавале,
а в Баден-Бейлере она, говорят, скончалась,
а такая была красотка!.. Какая жалость...
Ты же сох по ней, у вас был, мон шер, роман.
Ну ладно, не будем тревожить присохших ран...

Откланялся ловко и дальше пошел, балбес.
Кусок сердца сорвался и в горло куда-то полез.
В ребре селившийся, плакал и корчился бес.
И тело теряло вес.

Она поехала как-то к новой модистке
и там столкнулась с дочерью г-на Жандра,
у которого снимала дачу под кипарисами.
Та ей: — Вы слышали про Александра?
Он обокрал отца, от полиции в Омск дал тягу,
там пропил казенные деньги, векселя и бумаги,
женился на дочери какого-то генерала тяги,
играл, проигрался и застрелился в овраге.
Я знакома с родственницей его бабки,
это я у нее себе сделала эту шляпку,
так она говорит, что вдова, не снимая покрова,
вышла замуж за голову городского.
Так им и надо, бросающим нас, Елена!
Что вы смотрите на меня, как на стену?
Бросьте, пустое! Послушайте, милая, я вам
расскажу про мужа. Он ездил на остров Ява...

...У отца, конечно, всегда скандалы.
То много дали, то дали мало,
проценты, ссуды, акции, рост.

Он уезжает в Омск.
Там работает тихо в конторе.
Чахотка проходит, там воздух здоровей.
Любит гулять на старом подворье
или на кладбище меж надгробий,
вчитываясь в книгу на камне.
Надо ли прикасаться к тайне,
расшатывать лестницу, рвать завесу...
Неуместно.

Да, женился на дочке провизора.
Жизнь зевала, спала, облизывалась...

Пару раз родила, потом померла.
Его терзали по службе дела.
Дети, взятые бабкой, росли без отца.
Золотуха, колиты, катар без конца...
Что читал, позабыл, что учил, разучил.
Мало чем отвлекался, но часто бродил
меж могил.

Вечерами почитывал Новый Завет.
От начала войны он боялся газет.

И однажды подумал, склоняясь ко сну:
– Мы с прекрасной Еленою были две капли
и могли бы наверное слиться в одну...
Но подумал еще и добавил: – Вряд ли.

Засыпая, он думал с жуткой тоской:
– Я был пресной водой, а она морской...

Это были не клещи, а хуже: тиски.
Зажимались в них вещие пальцы тоски.
Новой жизни подростки и просто ростки
рукоятку крутили, зажимали виски.
Начался знаменитый российский пожар.
Все, что носит земля, постепенно пожрал.
Кто упал на колени, кто просто сбежал,
кто сражался, хоть сроду клинка не держал.

Он вернулся сначала к отцу в Петроград.
Тот был рад, хоть от голода очень ослаб,
а потом был расстрелян, когда из гостей
ночью нес саквояжик куриных костей,
чтобы сделать рагу, и попался впросак:
подозрительно выглядел сак.

Книги сжег. Видел мор, видел глад, видел ад.
Петроград, где шатался матрос и солдат,
темный город, чей череп проломан
был осенним мандатом, как ломом.

До, свидания, град, до свидания, бург.
Он опять покатился на юг.
Где-то в Киеве дядька, у него есть жена,
у нее огород, где растет бузина,
чтоб не сдохнуть от голода, ройся
по отбросам, забыв про геройства.

Но нельзя опускаться, есть слух, что ты зван,
в Добровольческой Армии люди нужны,
кто вчера еще штатский – завтра штабс-капитан,
получай свою саблю, башлык да штаны.

Но поката Россия, и к югу есть сток,
и туда утекает ревущий поток,
ударяется лбом о гнилой Перекоп.
Рассекается лоб.

Так строят новый мир – на человечьем мясе.
Сползают две слезы по лицевой гримасе.

По ссадинам полей, по маске Гиппократа,
по родине в золе, где брат восстал на брата.

Утопию одну без похоти и грязи
взял прагматизм тайком, и походя, и сзади.

Искра попала в глаз, спалила символ веры,
и хлынул едкий газ, и вырвались химеры,

и новые слова, и старые злодейства:
хватай, убий, желай, стреляй, прелюбодействуй.

Кто вправе всех судить, пусть первым и погибнет.
Вокруг поток кипит, в который камнем кинем.

За то ли пал Марат? Не то ли жаждал Пестель?
Восстал на гада гад. Мир стал отхожим местом.

О, расшатанная гостиница Россия.
В номерах живут врангелевские штабные,
в ресторане расстреляна даже люстра,
в читальне пусто и в ванных пусто,
сквозняк последние дни листает,
то белая стая, то красная стая,
маркизы сорваны пьяным ротным
или кем-то еще из казачьей сотни.
Врангель в башне с часами живет, на Садовой.
Но часы не ходят. Последнее слово
остается лежать в воспаленном рту.
Красную нынче подводят черту.

Прекоратить бы ход родовых потуг,
не то выйдет урод или просто труп.
Но уже в смертельной истоме порт.
Утирает город холодный пот.

Всех накормили кровавою кашей.
Шесть подпольщиков повешены ночью на пляже.
Ногами перебирают они на весу.
Убегают к красным. Красные на Учан-Су
прибивают офицерам – и те молчат –
золотые погоны гвоздями к плечам.
В госпитале расстреляны все медсестры.
Спаситель уже не спасет полуостров.

Но что происходит с морскою каплей?
Она только что вышла замуж, не так ли?
Вот от Шерер и Набгольц фото
накануне октябрьского переворота,
когда опрокинулось все, что было:
пыл, уверенность, нежность, сила,
желчь преступных и кровь невинных...
Но кто ее муж? Молодой Мордвинов...

Он был странной смесью мухи шпанской
с героем дня. Обожал шампанское,
только французское, настоящее,
всегда возил с собой целый ящик,
каждое утро, пряча ухмылку,
добавлял туда новенькую бутылку.

Состоял из дёгтя медовый месяц.
Его арестовывали раз десять.
Нынче титул достаточно весит,
чтоб его обладателя взять и повесить.
Научился уже представляться "из бывших",
не то чтобы нищий, но ищет пищи,
ходит быстро, глядит под ноги,
обходит посты, караулы и дроги,
никаких друзей, никаких знакомств.
Наступает пора очистительных гроз.
Еще немного – и всем каюк.
Надо бежать на юг.

...Чудом спаслись из махновского плена,
то скакали верхом, то стреляли с колена,
продали все, до венчальной парчи.
Оказались в холодной безлюдной Керчи.
Но потом стало легче. Достав Руссо-Балт, он
покатился стремительно в Ялту.
Александр ночевал на молу и простыл.
Где-то снял свой башлык, где-то саблю забыл,
где-то давит мундир, как на бабу пошит,
в остролист превратился тяжелый самшит,

лавр ушел на супы из куриных костей,
из потерянных сил и дурных новостей,
про отчетливый молот, отточенный серп.
То ли будет еще, господин офицер.

Зачем ты снотворное ешь по грамму,
тебя ведь никто не неволил замуж,
почему ты и ночью, и днем как рыба,
некому ведь осудить твой выбор,
и тридцать лет жить совсем одной,
беспечной пусть, но еще и больной...

Обе слезинки сотри со щек.
Прими порошок.
Чтоб взяло скорее – запей вином.

Наступают Фрунзе, Блюхер, Махно.
Неделя боев, и завтра, пожалте,
они будут в Ялте.
Как будто все в дурном синема.
Простудилась. Утром ходила сама
вещи менять. На базаре в Массандре
показалось, что видела Александра.
Ночью стала слышна канонада,
как проклятие, как награда.
Так за эти два дня устала,
что даже легче как будто стало.
Не вытерев слезы на слабых скулах,
приняла еще порошок и уснула.

Появился заката кровавый столп
в окне, а оттуда вошел на стол.

Она сидела, чего-то ждала,
а потом не выдержала и ушла.
Ветер ноябрьский под ноги мел,
вся гостиница шла на мол,
кто-то "Боже, царя храни" пел
в этой шатающейся толпе,
кто-то выл, как голодный волк,
орали конные, топал полк,
лежали новенькие снаряды,
кричал человек, умолявший яда,
столкновение морд, смешение орд,
человечий сор, погребальный ор,
просевший в воду, гудит пароход,
резко свистнет сейчас и уйдет.
Рушатся сходни, хрипит толпа,

нету сил пот стереть со лба,
и накрывается все, что было,
обломками рухнувшего столпа.

Бежит, спотыкаясь, Мордвинов-фис,
стоит солдат в положении риз,
волна под ноги с размаху бьет,
кто-то волочит бегом пулемет,
узлы и стулья тащут с усердием
две пожилые сестры милосердия,
сверху стоит ледяная осень,
бежит проститутка, за ней философ,
лежит человек, принявший яду,
поп о чем-то думает рядом,
мешая снующим по краю суши,
кто-то прячет французские письма Пушкина,
грохот, мат-перемат, признанья,
кричат штабные разного званья,
дамы, дети, генералов остатки,
все колышется, пахнет гадко,
валит толпа сплошной стеной,
кто с лампой, кто-то с женой...

Солнце уходит за спину мыса
с черным дымом и резким свистом.
Скулит какой-то младенец как крыса.
Нет отчизны, а есть очистки.

Говоря по правде, спустя восемь лет
водолаза спустили на дно залива.
Это велел городской комитет.
Специально судно даже приплыло.
Под водой находилось подводное царство,
последняя станция долгих странствий.
Раздвигалась под ним и чернела вода,
обнажая улики для нарсуда:
ящик шампанского в автомобиле,
нежность и веру, которых убили,
детскую шляпку, овечий помет,
сгнивший клинок, боевой пулемет,
письма французские, волчий билет,
новый завет и новейший совет,
чье-то пенсне без шнурка и без линз,
чью-то всю жизнь.

Побродив, помешался слегка водолаз,
протирая порой свой единственный глаз,
то рыдает, то слышится бешеный смех,

и не хочет никак подыматься наверх.
Говорит, что не хочет ни моря, ни суши,
что зренье рябит и дыхание сушит,
что отдаст под следствие все причины
превращения воздуха в глубь пучины.

От напряжения стал седой.
Холодно под водой.

А когда Шахразаду застигло утро,
она прекратила дозволенные речи.
В потемках страсти поищем мудрость,
покуда ветр не задует свечи.

Внизу под водой мы оставим две капли:
добровольца, где-то забывшего саблю,
женщину с темным опасным румянцем.
Как говорится, пора расставаться...

Может быть, этот холодный мир
толкает поломанный балансир,
до сих пор не починенный механизм
умножает обманы посредством призм.

Горы ведь были когда-то дном.
А теперь все решится одним толчком.
Некому будет и слово сказать.
Елена! Ты не слышишь меня опять!

Пора расставаться, чтоб сделать крюк
и протянуться в другой строке
выпавшей ношею птицы Рух,
редко летающей налегке.

1982

Симферополь

Дмитрий Пригов

ВЕЧНО ЖИВОЙ

Рассказ

Давно это было.

Однажды ранним июньским утром 22 июня тридцатимиллионная китайская орда без какого-либо предупреждения или объявления войны перешла воды седого Амура и коварно напала на мирную советскую Сибирь.

Советские войска мужественно приняли на себя удар подлого врага. Но слишком неравны были силы. К тому же была весна, стояла распутица, разлились великие сибирские реки Енисей, Иртыш, Лена, Ангара, и не могла по климатическим причинам вовремя прибыть подмога.

Окружили китайцы всеми тридцатью миллионами штаб советского главнокомандующего генерала Лазо и кричат: "Сдавайся, Лазо-герой! Ты один остался."

Но Лазо долго отстреливался из пулемета. Когда же кончились патроны и понял Лазо, что подвезти их ниоткуда нельзя, бросился он в воды Амура и поплыл. Установили китайцы на высоком берегу реки-Амур пулеметы и орудия и стали стрелять вослед Лазо, да все неточно – то недолет, то перелет. Только к середине дня шальная пуля попала в голову Лазо, и раненым его взяли в плен.

Стоит он огромный, белокурый, голова вся в крови, глаза сверкают, а вокруг китайцы бегают, маленькие, желтенькие, про-

ворные. Окружили его тридцатью миллионами, штыками от него отгораживаются. И кричат: "Переходи к нам, Лазо-герой. Озолотим. Откажись от московских ревизионистов!"

Лазо спокойно спрашивает их: "А Ленин за кого?"

"За Москву, за Москву!" – пищат китайцы.

"Значит, и я за Москву," – перекрыл их щебет громоподобным голосом Лазо.

Подпрыгнули китайцы от злости, лица их перекосились, слюна брызжет.

"Страшную смерть мы тебе придумаем, Лазо-герой," – шипят они.

Но спокойно, как статуя, стоял Лазо, только в глазах его горела жизнь.

Стояла в ту пору страшная зима. Деревья от холода переламывались, птицы мерзли на лету, не успев даже крылья раскрыть, все звери из лесов бежали на Урал, в Советскую Россию.

Раздели китайцы Лазо донага, вывели на мороз и водой из брандсбойта стали поливать. Уже около тысячи китайцев, которые поливали Лазо, замерзли, как пташки, а сам Лазо стоит, и только в глазах его горит жизнь. И самое удивительное – стал подтаивать у ног его снег и трава пробиваться.

Испугались китайцы, застучали зубами. Бегают кругом, головки вверх задирают и кричат: "Почему ты, Лазо-герой, не умираешь?"

А Лазо отвечает им: "Вся жизнь моя в Ленине!"

Заперли тогда китайцы его в камеру, а сами агента в Москву послали, Ленина убить. Притворился агент китайцем-торговцем из Китай-города и прошел первый заслон вокруг Москвы. Хотел он проникнуть в древний Кремль, но бдительный солдат из второго заслона кремлевской охраны задержал его.

Владимир Ильич потом лично наградил этого бдительного солдата из второго заслона кремлевской охраны Геройской звездой, солдат же первого заслона вокруг Москвы сурово наказали.

Узнали китайцы про гибель своего агента, прибежали к Лазо, слюной брызжут, кричат ему: "Берегись Лазо-герой, страшную смерть мы тебе придумали!" А Лазо стоит, сверху на них глазами сверкает.

Подогнали тогда китайцы паровоз, раскалили топку так, что весь паровоз розовым стал, дрожит от жара. Кинули китайцы в топку для пробы слиток тугоплавкого металла, и он в миг в жидкую каплю превратился. Столкнули тогда китайцы Лазо в топку, а сами кругом стоят, ручонки потирают, ножками от радости притоптывают.

Только проходит некоторое время, и видят китайцы, что ходит Лазо в топке туда-сюда невредимый, нагибается, что-то собирает и "Интернационал" поет. И вроде бы еще кто-то с ним там ходит и ему подпевает.

Испугались китайцы, застучали зубами, вынули Лазо из топки и кричат ему: "Почему ты, Лазо-герой, не умираешь?" Лазо отвечает им сверху: "Вся жизнь моя в Ленине!"

Заперли тогда китайцы его в камеру, а сами агента в Москву послали, Ленина убить. Притворился агент китайцем-торговцем из Китай-города и прошел первый заслон вокруг Москвы. Потом притворился агент солдатом из 8-ой освободительной армии Китая под руководством товарища Мао Дзе-Дуна, прошел второй заслон кремлевской охраны и проник в древний Кремль. Хотел он проникнуть в кабинет Ленина, но бдительный солдат из третьего заслона личной охраны задержал его. Владимир Ильич потом лично наградил этого бдительного солдата из третьего заслона личной охраны Геройской звездой, солдат же из первого заслона вокруг Москвы и второго заслона кремлевской охраны сурово наказали.

Узнали китайцы про гибель своего агента, прибежали к Лазо, от злости подпрыгивают, кулачонки сжимают и кричат ему: "Берегись, Лазо-герой, страшную смерть мы тебе придумали!" А Лазо стоит, сверху на них глазами сверкает.

Соорудили тогда китайцы огромную виселицу, веревку особым китайским жиром намылили. Надели веревку на шею Лазо и трибуну из-под ног его выбили. Стоят кругом, хихикают, ручонки от удовольствия потирают. Да словно подхватил кто-то Лазо, и не затягивается на нем петля, и как будто парит он. Даже раскинул он в стороны свои огромные руки, развел в стороны свои громадные ноги и вместе с головой гигантскую пятиконечную звезду высоко висящую изображает.

Испугались китайцы, застучали зубами, вынули его из петли и кричат ему: "Почему ты, Лазо-герой, не умираешь?" Лазо отвечает им сверху: "Вся жизнь моя в Ленине!"

Заперли тогда китайцы его в камеру, а сами агента в Москву послали, Ленина убить. Притворился агент китайцем-торговцем из Китай-города и прошел первый заслон вокруг Москвы. Потом притворился агент солдатом из 8-ой освободительной армии Китая под руководством товарища Мао Дзе-Дуна, прошел второй заслон кремлевской охраны и проник в древний Кремль. Потом притворился агент товарищем из Коминтерна, прошел третий заслон личной охраны и прошел в кабинет Ленина. Ленин увидел товарища из Коминтерна, приподнялся, ласково улыбнулся и пригласил сесть. Сел агент против Ленина в огромном кресле, а сам руку с ножом в кармане сжимает. Ленин спрашивает его с озабоченностью: "Как дела у красного пролетариата Китая?" Выхватил тут агент нож и прямо в ленинское сердце вонзил. Схватили его на месте преступления. Солдат же из первого заслона вокруг Москвы и второго заслона кремлевской охраны и третьего заслона личной охраны сурово наказали.

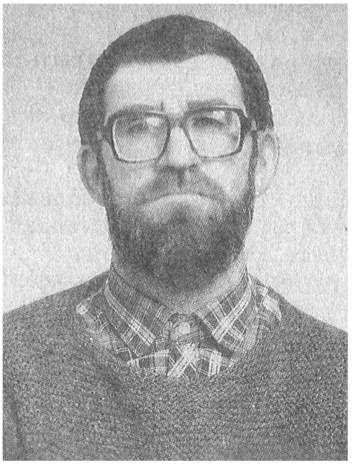
Узнали китайцы про смерть Ленина, обрадовались, побежали к Лазо, а сами на бегу от радости подпрыгивают, через голову пере-

кувыркиваются и кричат: "Ну, Лазо-герой, страшную смерть мы тебе придумали!" Прибежали они к Лазо, а он лежит громадный, во всю длину камеры, но мертвый, глаза в синее небо устремлены. И на груди его вырезано: "Ленин – вечно живой!"

Испугались китайцы, застучали зубами, не знают чего и делать. В это время подошли советские войска, подогнали катюши, крейсерами и линкорами отрезали китайцам путь отступления через воды седого Амура и все тридцать миллионов китайцев сожгли на месте.

С воинскими почестями похоронили Лазо и памятник ему поставили. А рядом поставили памятник Ленину. И как посмотрит Лазо на Ленина, так словно жизнь вспыхивает в его бронзовых глазах.

Москва



Владимир Дроздов

"ОПЯТЬ ВСЮ НОЧЬ ДЕРЕВЬЯМ НЕ СПАЛОСЬ.

I

* * *

Невольный страх внушает мне залив,
и эти одномачтовые сосны.
Вокруг себя простор озолотив,
шли в поднебесье транспортные осы.

Я умер здесь. Я жил здесь. Но забыл.
Пернатая меня кормила стая.
Столкнул я в воду камень, он поплыл,
живыми плавниками обрастая.

Тот грузный плеск мне чудится опять,
и птичье позабытое наречье.
Но невозможно вспомнить и понять
какой была душа до-человечья...

* * *

В монастырских владеньях, старик не старик,
отдыхает, в беседе не видя резона.
То ли вдруг закемарил, забылся на миг,
то ли смотрит на стены церквей отрешенно.

Слова лишнего молвить мужик не спешит,
будто заново русскую речь вспоминает.
Будто кроме своей одинокой души
никакого другого пространства не знает...

* * *

Стал забывать латынь аптекарь.
Досель в пейзаже Петербурга
величиной в пол-человека
его согбенная фигурка.

Сей Петербург звенит в апреле,
когда к садам, к древесной кроне
без архитектора Растрелли
гнездо пристроено воронье.

Столб давит сверху атмосферный,
и посему дыханье сперло,
себя ест поедом наверно
тоска во все воронье горло.

Окрест лежит предместья рая,
царит в аптеке культ рецепта,
и даль объемна, как пустая
реторта в пальцах фармацевта...

* * *

Жмется фонарь к заземленным деревьям аллей.
В парк убывает казенный трамвай безбилетный.
Ближе к полуночи холод еще веселей,
воздух огромней и каждый прохожий заметней.

Дивную стужу январь создает заларма.
Формула жизни в строжайшей содержится тайне.
Лоб, не иначе, трещит от большого ума,
слова не выжать из тюбика мерзлой гортани.

2

Гайки покрепче мороз норовит завернуть.
Голову в плечи снегирь убирает румяный.
Дым из трубы, перед тем как отправиться в путь,
долго в испуге стоит над землей безымянной...

* * *

С небес летит снотворный порошок.
Невнятная луна совсем не греет.
Я не встаю. Душа моя болеет.
На наволочке вышит петушок.

Опять всю ночь деревьям не спалось,
но я уверен, что не околею.
Небес люблю высокую аллею,
перемещенье медленное звезд.

Чем мимолетней время, тем милее,
и небо все отчетливей белеет,
как будто мне желает угодить.
Поэтому не сплю, не каменею,
поправиться стараюсь как умею.
Мне некуда из жизни уходить.

* * *

Обезноженный велосипед
на крюке отдыхает в чулане.
У меня основания нет
заниматься земными делами.

Озирая зрачком потолок,
вижу лампочку с пятнами мела.
Окруживший ее мотылек
превратился в небесное тело.

В сущность времени вникли часы,
их винты, шестеренки и стрелки.
В океан, что прозрачней слезы,
отплывает селедка с тарелки.

Объективен пейзаж, и луна
есть фрагмент самодельной природы.
И меняется градус вина
параллельно прогнозу погоды...

* * *

Томясь тревогой, в полночь вышел я.
Ни тяжести, ни крыльев за спиною.
Непостижимый свет небытия –
звезда к звезде – развернут надо мною.

В руке держу неяркую свечу.
И взором разуметь не в силах чудо
небесной бездны, в страхе не кричу.
Но это возвращается оттуда...

* * *

Внизу мерцала оловом Нева,
Душа летала. Пульс не знал осечек.
Мне снилась антикварная листва.
И кладбище. И пыльный камнерезчик.

3

Во сне един был тот и этот свет.
Хотелось встать, попить сырой водички.
Узлы вязал на небе длинный ветер,
как будто собирал свои вещички.

Я жить хотел, мне снился силуэт
старухи над пустыми сундуками.
Меня, как незнакомый ей предмет,
она брала волшебными руками...

Андрей Бычков

СТРЕЛЕЦ

Рассказ

Вся любовь, которая спит , – в шаре. Зная об этом когда-то, теперь же только догадывался. Догадывался, как помнил. Трогая шар снаружи. Пушистый мерцающий шар. Хоть это и было уже как часть памяти, вещью, – не предавал. Прошло семь лет. Товарищи позвали его на Алтай. Он не хотел, но поехал. Ему было все равно, ведь шар был снаружи, а женщина, которую он любил, осталась внутри шара. Семь лет до того она сказала, что станет его женой. Тогда он хотел коснуться ее губ губами с нежностью, как человек и как животное. Она отвела его губы, а его руку в своей опустила, прижав, от лица к лону. В ладони он ощутил жар. "Там", – сказала она.

Шар.

Потом она сказала: "Я и не знала, что с тобой будет так хорошо." Но еще потом – через зиму – сказала: "Да выйду за тебя, с тобой же там хорошо, но я тебя не люблю". И он стал несчастным. Не собой. Он узнал, что она снаружи. И все умерло, не успев родиться. Но она осталась. Но теперь – в шаре. И тогда он решил стать вещью, потому что снаружи шар был, как вещь. Иллюзия была в том, что он думал, что вещи проникают друг в друга, что они все – части одной бесконечной вещи, бесконечной, потому что она везде, даже там, где на первый взгляд ее нет. И, когда женщина ушла (так должно было случиться), она осталась – в лиловом телефоне, в заколках, которые были, как муравьи, когда лежали на его столе под лампой ,в смешных пакетиках хны; в книжке Гумилева; в серебряном браслете с камнем серпентенит; в вырезанной из журнала фотографии Джека Николсона в роли Макмерфи из фильма Формана "Полет над гнездом кукушки", в английской пилочке; сломаном замочке для ключей – в том самом, под

названием Тазепам, про которые она говорила – не здесь, а там, и еще в пространстве, через которое проходила, где наклонялась или лежала.

Он стал думать об этих вещах и представлять себя ими.

Когда был на работе, звонил сам себе и говорил "Алло", а дома шевелился под лампой и читал наизусть про жирафа, в транспорте издевался над начальником, мысленно перепиливая его пилочкой для ногтей, в лифтах быстро открывался и закрывался, и ночью был не здесь, а – как через таблетки – там. Но внешне говорил и делал, как все: " добрый день", "разреши-ка я возьму", "о, извини", "привет, как дела", "добрый вечер, Москва," " во вторник или в четверг".

Он ждал, когда шар коснется его, и он в шар войдет. Он не предавал.

Но другие вещи стали цепляться за те (ее), которые остались, – новая одежда, газеты, ковры и стены с другими людьми и другими предметами, много денег, одеколоны, вафли, трамваи... Это все было тонкое и резиновое, шар в это не проникал, и потому становился как бы ненужным. О нем можно было помнить, но он стал чужим, как памятник посреди киосков и фонарей. Это осталось теперь как долг, когда говорят: "Да, это как долг". И повторяют еще, и повторяют, пока не сотрется.

И однажды ему стало все – все равно. И где он был, он был как зеркало. И дураки стали зазывать его к себе все чаще. Как вещь.

Тогда его товарищи позвали его на Алтай, в горную страну в Азии. Когда-то он учился с ними в институте. Он еще помнил своих товарищей, но боялся с ними встречаться. Он не хотел жить, как они, – в узкую одинаковую ширину кухней, семьей. Может, еще и потому он думал, что нет другого пути, как стать вещью. Но один из друзей был не такой. Он тоже, словно бы знал свойства вещей быть разными. Он переливался, как жидкость, из сосуда в сосуд. Жизнь никак не могла его поймать. Человек, о котором речь, звал про себя своего не такого друга Доном Хуаном. А Дон Хуан звал его Стрельцом. Однажды, смеясь, Дон Хуан рассказал ему, что часто, когда он выходит из метро, часы показывают симметричное время, например, девятнадцать часов – девятнадцать минут. Дон Хуан умел быть зеркалом, но как бы жидким. А жидкость, когда на нее не действуют внешние силы, собирается в шар. Это Дон Хуан позвал его на Алтай. Он сказал: "Стрелец, ты знаешь, что такое Алтай? Алтай это не возрожденные горы Урало-Монгольского геосинклинального пояса и южной периферии Сибирской платформы, как думают наши друзья. Алтай – это Алтай". И рассмеялся.

Но в самолете Стрелец все же думал, что самолет как вещь и, что крылья – вещи, и шасси – вещи, и фюзеляж – вещь. А он, Стрелец, – Стрелец. Он не знал, что, думая так, смотрит сам на лицо девочки, которая склонилась в щель между креслами впереди. Лицо было с закрытыми глазами, потому что девочка спала. А сзади Дон Хуан разговаривал со стариком как старик. Старик говорил Дону Хуану: "Вчера я падал в автобусе на спину, и мне помог такой же, как ты". А другие друзья сидели в хвосте и через иллюминатор смотрели вниз, под

самолет, где уже была видна косматая непроснувшаяся еще Обь.

Но и в Барнауле Стрелец продолжал думать, что и Барнаул как вещь (слишком уж часто он думал об этом). А Барнаул был тогда выкрашен вульгарной зеленой краской – многие дома и внутренности домов – перила и двери подъездов. Барнаул был тогда спокойный, уверенный в себе сибирский город бесмысленного труда. Русский форпост. "Барнаул – походное название". – говорили товарищи Стрельца со смыслом друг другу, потому что впереди должен был быть поход в горы. А Стрелец не говорил, и был другой, не как его друзья, которые говорили, осматривали город, пили молоко, и заходили в магазины, разглядывать грампластинки. Но они за это на него не обижались, потому что Дон Хуан сказал им, чтобы они не обижались, если Стрелец будет немного в стороне.

"Все – вещи, – все еще думал Стрелец – и ничего не происходит. В русских городах ничего не происходит". А Дону Хуану было грустно глядя на Стрельца. Дон Хуан много видел. В подъезде он мог увидеть вертикальный радиатор батареи, на улице дом с синими рамами, где бы огромная женщина неудобно мыла маленький балкон, в самолете – девочку со спящим лицом между сиденьями, и еще Дон Хуан мог... он мог выйти из себя самого, оставляя вместо себя самого почти себя самого, а сам мог в это время идти, например, навстречу себе, как другой. Но Дон Хуан знал, что говорить Стрельцу обо всем этом словами бесмысленно, это – как другие друзья, как туризм. И, когда Стрелец опять вздохнул свое (а они проходили вновь мимо дома с синими рамами), огромная женщина вдруг крикнула Стрельцу: "Шарь!" И выплеснула на него воду.

И они уже поднялись на высоту тысяча девятьсот метров над уровнем моря, пройдя перевал Казуяк, заросший малиной, где обогнали толстых задыхающихся туристов, миновали забытую пасеку у моста с коноплей в разнотравье (оттуда видны были старые горы – попытка Урала прорваться в Алтае из-под земли), поднялись сквозь парковый темно-хвойный лес, сквозь пихты и кедр, поваленный часто поперек их тропы, и уже на тропе стал виден иногда синеватый кал марала – и грусть Стрельца не могла уже не оторваться от вещей города, но она была все же грустью, как разговоры друзей были узки. Только Дон Хуан был счастлив до конца на камнях у реки, где они сидели с Стрельцом сейчас. Сквозь счастье он видел грусть Стрельца и, зная, что грусть Стрельца тоже часть его счастья, сказал ему свои слова, как быть дальше.

– И тебе надо увидеть ее и войти в нее, оставаясь самим собой почти. И как сам с собой, ты сможешь полюбить себя, – сказал Дон Хуан.

Шмель жужжал над голубой олимпийкой Дон Хуана, может быть принимая его за цветок, и река Ак-Кем, у которой они сидели, бурунами поднималась вверх по своей спине к Ак-Кемскому леднику – месту, из которого она вытекала к Белухе-горе, где прячется шамбала, и рядом с которой пик Делоне. У костра друзья пели туризм под гитару. Стрелец

у реки был грустен, он слышал – не слышал смех жены одного из друзей, которая мылась под песню. Дон Хуан видел Стрельца. Дон Хуан любил Стрельца. За что так любил Дон Хуан своего друга? Ни за что. Может быть, у них было симметричное время. И просто Стрелец был его друг как сын. Сын – друг. "Сын – друг – отец", – смеялся Дон Хуан. Стрелец был его старше на полгода. Уже многие умерли по-другому, щелчком, как когда включают свет в комнате. И все на своих местах, навсегда (надо бы радоваться пыли, которая размывает границы, а они упрямо стирают ее). А Стрелец хотел умереть через вещи, чтобы стать шаром. А Дон Хуан был как карты в колоде – раздвигаешь и видишь: короли и семерки, и дамы, тузы (как цветы), десятки, вальты, шестерки и тузы другой масти, и пятерки, и четверки, и тройки другой масти, и восьмерки, и еще три шестерки подряд (две из которых разного цвета), и снова десятки, девятки, семерки, двойки трефовые (как муравьи), пики (как мухи)... Дон Хуан как джокер, и потому жизнь не могла поймать его и даже на туза. Но у жизни своя игра через смерть, как на море волна. Она поднимает одно и опускает другое, чтобы бежать дальше.

Пик Делоне.

"Почему он не разговаривает с нами про наше и не поет?" – спрашивала в лесу Дона Хуана женщина, любившая мыться. Ее рот был полон брусничной каши, а маленькие усики – в пятнышках сока. Она любила ягоды, она была добра. "Как рысь," – рассмеялся Дон Хуан, глядя на нее. Его рука сжимала голубоватый затвердевший кал марала. Марал был убит за камнем. Браконьеры убили марала, чтобы высосать вещество его пантов. Изжеванные, как перчатки, панты были брошены под кустом буйной жимолости. Перед смертью, когда пуля прорывалась в теле марала, останавливая его взгляд, марал выбросил кал испуга на камни. Дон Хуан взял этот кал, потому что увидел, что испуг был жизнью молодого марала.

– Там, за скалой, в сорока метрах по осыпи убитый марал", – сказал женщине Дон Хуан. "Я не пойду смотреть," – сказада женщина Дону Хуану. И снова наклонилась и стала есть бруснику, мурлыкая в полголоса: "Теперь я чебурашка..," – и озлобленно думая про Стрельца. "И каждая дворняжка," – подхватил Дон Хуан, восхищенно глядя на женщину, сжимая кулак с калом в куртке. Стрелец стоял в двадцати метрах по пояс в траве и слышал, как они пели. Вечером все перепаковывали рюкзаки и перебирали оборудование. У женщины, которая любила мыться, был рюкзак – "абалак" и, вынимая из него спальный мешок, она радовалась, что это очень удобно, и снова озлобленно думала о Стрельце, у которого был рюкзак–"станок". Потом женщина сказала своему мужу: "Олег, а может, пойти и отрезать мяса от того марала, если он еще не испортился?" – "Опять ты со своими... Зашила бы лучше свитер, второй день говорю," – сказал Олег, он нервничал, потому что не загоралась лампочка в фонаре у него в руках, а было уже темно. "Опять ты..." – крикнул пооленьи из-за палатки Дон Хуан, натягивая петлю веревки на кол, и

беззвучно затрясся от хохота в сумраке. Он увидел, что Стрелец смотрит, как он трясется, и тихо сказал ему: "Крикни и ты", – "Да ну тебя", – сказал Стрелец. "А что?" – сказал Дон Хуан. "Да ничего," – ответил Стрелец. Дон Хуан опять рассмеялся, он заметил, что Стрелец помрачнел. Во второй палатке мужчины уже перепаковались и выключили фонари, и лежали в состегнутых спальниках, тесно прижимаясь друг к другу, как кузнечики. Днем каждый согревал сам себя, быстро шагая или двигаясь в пространстве другой пользы, но спать в движении, полезно, они естественно не могли. И потому ночью они не двигались и согревались в общем тепле. Перед сном они шутили обычно: "И р-раз", – говорили они, поворачиваясь одновременно с бока на бок.

Ночью Стрелец вышел под звезды. Он спал один, не состегиваясь. И он мерз. Холод гор проникал в его отдельное тело, словно холод гор знал, что Стрелец хочет стать вещью. "Не двигайся," – говорил холод лежащему Стрельцу и поднимался к нему из горы огромным и белым айсбергом. Огромной и белой таблеткой улыбающегося Тазепама, притворялся холод, пробираясь в Стрельца, нащупывая его сновидения и осторожно останавливая их. Словно кто-то надувал Стрельца медленным пустым "алло". Словно Стрелец тянул пальцы к своему лицу, медленно ощупывая его и это было лицо Макмерфи. Словно стеклянные, как бусы, муравьи, причудливо мигая пунктиром от желтого через красное к фиолетовому, поднимали в Стрельце стеклянную колющую невыразимо прекрасную вещь. И Стрелец ждал: когда, же наконец, когда... И его руку медленно опускали от лица. И айсберг с нежностью убийцы сосал его через его ладонь. А Стрелец улыбался, как фарфоровый цветок. И тогда Дон Хуан, который, как обычно, путешествовал и во сне, вдруг увидел с вершины пика Делоне, как внизу, в палатке, где он сам лежал в супружеском состегнутом тепле между Олегом и его женой, замерзает на губах айсберга Стрелец. И тогда Дон Хуан толкнул во сне телом спящей жены Олега замерзающее тело Стрельца, и Стрелец проснулся. И было страшно холодно и было очень темно. Стрелец нащупал в кармане палатки замерзший фонарь и зажег его. Дон Хуан спал, вжавшись в тело жены Олега, а Олег спал, прижавшись к Дон Хуану, и женщина спала с лицом, опущенным внутрь мешка и с чистыми вымытыми волосами, выброшенными наверх. Осторожно, сдерживая дрожь, Стрелец выбрался из палатки и увидел на черном небе много блестящих звезд. А горы вокруг были, словно куски беззвездного неба. Луч фонаря наткнулся на лед в кане. И на ниточках звезд дрожал Стрелец, думая, что от звезд все же немного теплее. А потом отошел к дереву, чтобы не разбудить шумом спящих, и струей выбросил из себя холод. Вернувшись, он вынул из рюкзака куртку-болонию и одел ее на себя поверх свитера и еще натянул на шерстяное трико брезентовые штормовые штаны и снова забрался в спальник и медленно застегнул молнию, и осторожно ворочался, согреваясь. Когда засыпал, инстинктивно прижался спиной к женщине с чистыми волосами, от которой исходило тепло, и с которой когда-то

еще на первом курсе института было интересно петь песни под гитару и пить чай с вафлями на кухне в квартире ее родителей вместе с ее родителями, которые тоже хотели быть современными, правда интересно скорее не из-за песен, а из-за того, что можно было иногда незаметно касаться ногой ее ноги под столом.

Утром ударил Алтай. Алтай был другим. Ослепительная Белуха. Пик Делоне. В одиннадцать они вышли к озеру Ак-Кем. Стрелец шел первым и первым увидел оранжевый вертолет, отрывающийся от площадки с желтым абрисом и полосатыми пирамидками по углам. Это была площадка гидрометеостанции и одновременно альплагеря. В вертолете сидели и поднимались австрийские альпинисты. Теперь их осталось пять человек. Они были пьяны, и один из них истерически смеялся и кашлял, другого рвало и вертолетный пилот, которого мутило от запаха, выходящего из австрийца, ругал его в шлемофон матом. Всю ночь австрийцы пили прозрачный спирт и били в коттедже альплагеря по столам и гитарам. Они били рок-н-рол. Двое из их группы остались наверху, разбитые четырехтысячником пика Делоне. Австрийцы искали тела своих, как собаки, пять дней, и, когда на шестой, сама собой погасла свеча в палатке у доктора и он об этом сказал, никто не пошел искать снова, и все молчали весь день и ели нехотя, а ночью сорвались. Они перебили стекла в своем коттедже и разломали кровати и никто не посмел им сказать ни слова. А утром, когда уже прилетел нарядный оранжевый вертолет, мальчик-алтаец с гидрометеостанции побежал сообщить об этом в альплагерь. Мальчик-алтаец с большой попой, Мальчик-алтаец в синих тренировочных штанах прибежал и сказал. На обратном уже пути мальчик увидел австрийкого доктора с обоженным солнцем Ак-Кемского льда лицом, выползавшего из надутой, как огурец, палатки. и, увидев спросил: "А вы такие же люди как и мы?" И австрийский доктор засмеялся, глядя на мальчика, и стал смеяться еще и еще, нарывая охапками воздух в рот, как насос. Еще и еще, сквозь боль лица, которое он не стал мазать синтомицином в эту ночь. Мальчик тогда побежал обратно, чтобы спрятаться от этого "корка-лицо", вжаться в тело матери своей алтайки, в то жаркое место, из которого она родила когда-то его. Доктор замолчал, глядя как нелепо, тяжело бежит мальчик-алтаец. Он стал смеяться, вспоминая об этом уже в вертолете, смеяться и кашлять, чувствуя, что кашель и смех разрушают его лицо.

Шар.

Дон Хуан стоял и смотрел на австрийские рюкзаки, которые не взял перегруженный вертолет. И Стрелец стоял и смотрел. И остальные тоже стояли и смотрели, слушая, что рассказывает повар альплагеря, на которого бросили вещи своих мертвых австрийские альпинисты.

– Это вот, айс-фифи торчат из под клапана, – говорил повар. – Это такие серпы в руки, которыми цепляются в лед, когда лезут. Они их не взяли тогда и, может быть, не успели зацепиться. Карнизов намерзло там, на Белухе, балконов и лестниц, вроде удобно, а рушится все от щелчка карабина. Опасно лезть. Нашим теперь мучаться – этих искать, черт бы их драл. Улетели мерзавцы со своим рок-н-ролом. Су-

ка этот австрийский доктор...

Вокруг было очень красиво. "Очень красиво", – подумал Стрелец. Белая двухкилометровая стена Белухи поднималась впереди за озером, непонятно почему такая чистая среди других рядом стоящих небелых гор. Озеро Ак-Кем было у ног, словно бирюзовое, жидкое животное, послушное. Камни, взобравшись на камни, умножали марену. Маленький водопад проседью смягчал дичь и живопись гор. Новизна новизны впитывалась в глаза: и боком горы, что отражалась созерцательно в озере, и розовыми шариками родиолы холодной, растущими из-под земли у самых ног. Дон Хуан тронул Стрельца за плечо. "Пошли", – сказал Дон Хуан.

– ...этот доктор, – договаривал повар

– Фрутолино, Олег, может быть, Фрутолино? – спросила женщина, посмотрев на Стрельца.

– Фрутолино на вечер, – раздраженно сказал Олег.

Другие поднимали свои "Ермаки", с завистью обсуждая удобство поясных ремней на рюкзаках австрийцев. Стрелец стоял. "Пошли," повторил Дон Хуан. Стрелец стоял. Она сидела в кафе у большого, до пола, окна. Ей было интересно, что мужчины проходят рядом и видят, наверное, ее, и не могут к ней подсесть, сказать или коснуться, потому что стекло. Ей хотелось, чтобы пошел дождь, и тогда она могла бы напевать про себя одну песенку-шлягер, которая ей очень нравилась, но которую при солнце напевать было как бы нельзя. Она прикасалась губами к чашечке с кофе, она улыбалась, потому что знала, что она – наслаждение для мужчин. Она очень любила удобство. Чтобы было комфортно сидеть. Чтобы было комфортно лежать или курить. Чтобы были деньги, лучше если новые, еще не замятые. В постели она делала, как удобно было ей, и мужчины ей всегда подчинялись с щенячьей благодарностью. Оттого она и сравнивала их про себя с предметами. "Этот, как ковшик. Этот, как стул..." Вот-вот в кафе должен был войти итальянский господин, который обещал увезти в Рим и который, к сожалению, тоже не был похож на Макмерфи. Она очень любила кофе. Она все-таки запела, забыв, что на улице солнце. В кафе было очень уютно. Беленький с вензелями стульчик лежал, словно фавн, на боку, прижимая бордовую невозмутимую штору. Рассказывали, что это песенка одной девушки, которая поссорилась со своим любимым, она напела ее сама себе на кассету, а он случайно услышав потом, отнес на радио, и девушка стала звездой. Вот-вот должен был войти итальянский господин. От песенки или от кофе ей стало хорошо, и она хотела немножко поплакать, но побоялась размазать тушь ресниц. Она посмотрела на барменшу. Барменша улыбнулась. Она знала, что нравится барменше, потому что такая маленькая, изящненькая, веселая и воспитанная, и одевается, как звезда, а сама барменша тоже красивая женщина, но очень и очень толстая, толстые мужчины к ней часто заходили за стойку что-то шептать.

Она напевала и нечаянно посмотрела в окно. Проходил мимо молодой человек, не останавливаясь. Взгляд его проникал сквозь стекло.

Она замерла вдруг. До того он был похож на того, чьей женой она обещала стать когда-то. Или это он и есть? Его неудобные другие движения были теперь как власть. Его взгляд как власть. Только незаметно замедлился, не остановился, не обозначил узнавания в жесте, но теперь, когда прошел, она почувствовала всем телом, что это было, это был он и он тоже узнал. Она предчувствовала, что сейчас он войдет в кафе, в дверь, к которой она сидела спиной, не поворачиваясь. Он подойдет и поздоровается и, скорее всего, ничего больше не скажет, но он все же войдет в это кафе, даже если он уже и в равнодушии, он войдет. Словно в ее спине открывалась и закрывалась дверь, но никто не подходил. Она смотрела, как подсыхает в чашке кофейная гуща, что было временем, которое показывало так себя для ее неподвижного взгляда. Барменша подошла к стулу и перевернула его, как козла, снова на ноги. "Буонанотте, синьорина, – сказал господин с лицом шакала и с огромной охапкой гвоздик.

– Тогда они стали кричать, – говорил повар. – И, может быть, это произошло от крика. Никто не знает от чего это произошло – от крика или от щелчка карабина. Шлямбуры они не били, но страховка у них была. Два дня, конечно, еще, могли отсидеться в снежных пещерах, если только сломана нога, или что, но шесть дней – это мерзлая смерть.

Был вечер. Повар уже поздно подошел к костру этих туристов, которых видел утром на вертолетной площадке. Он любил новых людей и еще ему хотелось поиграть на флейте. Он достал флейту и стал играть. Новым людям всегда была интересна его игра на флейте. У повара очень хорошо получалось пальцами. Никогда еще за это лето у него так профессионально не получалось. Играя, повар испытывал словно приятный пот, когда, например, жар входит от быстрой ходьбы. Дон Хуан смотрел на повара, улыбаясь. Повару казалось, что это не он, а кто-то в нем играет. Под флейту Олег тихо шепнул своей жене: "Пойдем за палатку. Я уже отнес туда спальник." А женщине, волосы которой уже немного лоснились от многочасового подъема к озеру, было тепло и странно сидеть рядом со Стрельцом, который смотрел в огонь, что играл для него музыкой флейты. Женщина касалась Стрельца незаметно, запретно. Для нее это было неизъяснимо, как музыка, когда ее вдруг слышишь всем телом. Олег видел,. что она касается Стрельца, разомлев, как когда-то, на веранде, когда они только поженились и было еще хорошо и ему, Олегу, и ей, а не как в последние годы, подеревянному. И Олег снова позвал ее за палатку. Она отвернулась. Ей казалось, что вот, вот и Алтай начинается для нее. "Пойдем," – тихо сжал ей руку Олег. Ребята, другие, из другой палатки, которые уже лежали в состегнутом мешке, слушая флейту, хихикнули, словно подсмотрев Олега, убивая в Олеге то, что нечаянно, сквозь смерть памяти ощутил он вдруг как подлинность. Олег взглянул на Стрельца. Стрелец был неподвижен с отсветами восходящего огня на лице. Флейта свистела протяжно, криком птицы, не как ручей. "Может быть, это и есть то, что хотел я найти среди этих гор?" – думал Стрелец о своей неподвижности. Где-то далеко он видел голову женщины, которая

сидела рядом с ним. Как чье-то, не свое, эхо он чувствовал, что она касается его. "Ее цель – чистые волосы," – подумал он мельком и о ней. "Ее цель чистые волосы, а цель ее мужа – достичь перевала высотой три тысячи пятьсот метров. Разбились насмерть австрийцы. Или замерзли. А я? Какая здесь странная луна. И эта белая-белая даже ночью гора. Зачем он свистит на флейте длинно, а не играет? Это. Господи, как хорошо, что я пришел на Алтай. Неужели и я все же счастлив? Вот даже среди них, так. Когда-то... Луна в озере. Но ведь и она здесь. Без Москвы".

– А что это, что? – спросил Стрелец Дона Хуана, когда повар ушел и ушли спать другие, и они остались вдвоем у костра.

– Не знаю, – сказал Дон Хуан. – Но это есть.

Он помолчал, а потом сказал еще:

- Хотя, наверное, нет ничего на самом-то деле. Это все просто ты. Сам себя выдумываешь. А на самом деле нет ничего.

– Но она же здесь, Дон Хуан, во мне. Если бы ты знал, как я... Сейчас без Москвы. Она здесь, Дон Хуан, она здесь. "Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад изысканный бродит жираф".

– Не знаю, – сказал Дон Хуан. – Будешь курить?

– Да, – ответил Стрелец.

Они стали курить сигареты повара. Словно они курили ночь.

– Ты... – сказал Стрелец, когда они помолчали. – Когда она ушла, я, чтобы не умереть, гладил сам себя, представляя, что это она меня гладит. Это, может быть, и оттого. Странно самому свое тело гладить. Как не свое.

– Ты был счастлив, – сказал Дон Хуан.

– Это все равно, что со своей рукой жить счастье, – усмехнулся Стрелец. Или с чужой, как Олег.

Дон Хуан засмеялся.

– А я, – сказал он. – Знаешь, кто я?

– Кто? – переспросил Стрелец.

– Я, может быть, и Олег, – сказал Дон Хуан и выпустил, смеясь, дым. – Я научился быть и Олегом – лучше так сказать, наверное. Ведь и Олегом, и его женой тоже интересно быть, ты не думай. И это все от того же, от чего ты мучаешься так. Запомни, все – ты. Надо только понять, чего ты хочешь.

– А те австрийские альпинисты? – спросил Стрелец.

– Это тоже мы, – ответил Дон Хуан.

– Но ведь мы не умерли, Дон Хуан. Только мы с тобой, наверное, и не умерли еще в этой жизни.

– Просто они, как рыбы, живут под водой, вот и вся разница.

– Если бы я хотел умереть, то чтобы навсегда, – сказал Стрелец.

– А я – нет, – сказал Дон Хуан. – Мне себя давно не жалко. Я и смертью это не называю. Это ты называешь, – он засмеялся.

– Дон Хуан, я люблю Лолу. Я не могу...

– Ну чем я могу тебе помочь? – вздохнул Дон Хуан. – Очень многие люди – не настоящие. Но ты же хочешь сам.

– Я, может быть, никогда ее не увижу, – сказал Стрелец.

– Может быть, в этом и нет ничего плохого, – ответил Дон Хуан. – Не надо смотреть на каждый камень. Смотри на всю гору.

– Пик Делоне, – усмехнулся Стрелец.

– Луна белая, – сказал Дон Хуан.

– Мужики, я не у вас сигареты оставил? – крикнул повар, выходя из кустов.

Снова они, словно в свой пот, поднимались по тропе к перевалу, забывая себя каждый сам в тяжести на плечах, в быстроте шага вперед, чтобы скорее достичь перевала. У них потели лица и их пот ел их глаза, и они все были равны, отдаваясь тяжести, которую поднимали вверх. Горы вокруг поднимались с ними, обнажая свои блестящие льды. Внизу бирюзовый вставал на задние лапы Ак-Кем, оставаясь. И Белуха-гора с серым крейсером ледника в подножии расправлялась, раздувалась за их спиною ледяной мерцающей простыней. Дон Хуан, оставляя другим спорт, останавливался и смотрел. Павлинами открывались горы Дону Хуану. Руды их каменных спин были глазасты, словно и горы теперь вглядывались в Дона Хуана. Радужные оболочки их глаз – серпентениты, нефриты, базальты, мраморов зрачки... "Что-то медленно, плохо идем," – говорил на привалах, задыхаясь, Олег, и радуясь втайне, что поднимается первым. "Это Стрелец отстает", – ревновала Стрельца к Стрельцу жена Олега, шутила. Стрелец молчал. Другие дышали молодыми лосями, радуясь ручью, из которого можно пополнить фляги, радуясь сухофруктам, что можно, сидя, сосать, удивляясь высоте гор, в которые поднялись, и пространству, которое стало их окружать. Дон Хуан смеялся блестящим и камнями в камнях, словно все это было его. Отдохнув, снова они полусидя вставлялись в свои рюкзаки, поднимались с напрягом, встряхивали рюкзаки на плечах, расправляя лямки и оставляя виды вокруг, вновь отдавались подробностям тропы, пунктиру надежности, чтобы плотно ставить вибрам, перенося с ноги на ногу тело с коробом рюкзака. Поднимался Олег, скрестив на груди руки. За ним балансировала, растопырив пальцы, его жена. Настигал ее неторопливо Стрелец. Пыхтели двое молодых лосей. Дон Хуан, усмехаясь, сжимал кал марала в кармане, поднимаясь последним. И стала жара оставаться внизу. Уже не было пота на коже снаружи их тел, и они решили одеться теплее. Через час кончилась тропа и камни стали огромнее. "Осторожне, осыпь живая," -- кричал сверху Олег, распустив руки. "Олег, кулуар ушел влево, и тропа там," – кричали снизу. "Нет, – кричал Олег, – мы поднимемся здесь, седловина над нами." "Я поднимусь первым, – думал он про себя. – И она поймет, что ее муж – первый, она полезет ко мне со своими губами, а я скажу ей: "А Стрельца не хочешь поцеловать?" "Ребята, сюда, за мной, – кричал Олег. – Кажется, нащупываю тропу". Пространство вокруг холодело и расширялось, обнажая все новые безразличные блестящие льды. Пространство становилось все неустойчивее, оно покачивалось глыбами под их ногами. Внизу они увидели распятое облако. Словно его быстро пронесли на кресте. С перевала навстречу задул другой ветер высоты и заставил их одеть

свитера и штормовки. "Стало холодать" – шутили. Безразличные льды посылали друг другу свой ветер над крошечными людьми. Где-то под снегом лежали смерзшиеся комки, которые были когда-то австрийскими альпинистами. Лица поднимающихся стали серьезнее. "Олег, надо держать на леевый пик", – крикнул Дон Хуан. "Нет, – крикнул из-за камня сверху Олег. – Надо держать на седло." – "Вон скала, вон скала над пропастью, про нее написано в описании", – кричала бодро жена Олега, и ее волосы развевались на ветру. "Нет, Олег, надо траверсировать," – мотал головой Стрелец. – "Уходить надо. Свежая совсем осыпь." "Как хотите", – откликивался Олег. – "Мы будем подниматься здесь". "Да-да," – кричала его жена, словно в чем-то наказывая Стрельца. "Не стоит," – говорил Дон Хуан. Стрелец молчал, стоял, немного наклонившись вперед, чтобы рюкзак лег на поясницу. "Нет, нет, совсем не опасно", – смеялся Олег, глядя на свою жену. И она, ощущая прошлое между ними, неважно какое, но их общее в одной комнате супружество, ощущая это прошлое почти как клей, кричала вместе с ним: "Совсем, совсем", – чувствуя возбуждение, из какого рождается кровь, дом, родина и очаг.

Отдавалась бесстрастно за будущий Рим и хрустящие новые деньги. Стеклянное платье, которое подарил господин, лежало на стуле и, иногда отворачиваясь от его нависшего лица, она смотрела на платье. Мерцающее и холодное, кое-где в блестках индиго, словно плакало это платье и словно стекало. И спокойно презирала Лола это платье за его к ней тайную жалость и тогда же вожделела к дорогому, к узору, к богатству, что несло это платье в себе. "Неужели и Рим так? Нет, это не Рим." Хлопнула дверь на площадке. Вдруг стало противно от этой собачки, о которой уже забыла. "Как собачка".

– Хватит! – оттолкнула она итальянца.

– Счас, счас...

– Все, я устала!

Платье было печально, скорбно почти. Лола засмеялась, посылая итальянца к черту. Выпроводив, бросила платье на постель. Смотрела как оно лежит. Не одевала. Рим. Хищно, смеясь нарочито, пересчитала деньги. Подошла к окну и заплакала.

Он был как акация, тогда, как дождь, – нежный, смеющийся... Однажды в жару, в сон, она стояла на автобусной остановке под железным козырьком. Сквозь тягостность зноя слышались иногда странные щелчки, а потом сухой шелест. Тогда она догадалась, что это стручки акации за тротуаром разрываются от жары и их семена сыпятся на раскаленное железо козырька. И она подумала, что Стрелец должен погибнуть, любя ее. Потому что любовь – это казнь. Она была очень маленькая, веселая и изящная, легкомысленная, как бригантина, которой никогда нет здесь, которая всегда там. "Пиратство!" – смеялась она в тех местах, где собирались мужчины, и мужчины, склонясь, наполняли ее бокал шампанским. А он? Большой, доверчивый паж. Не Макмерфи. Но с ним было хорошо, и она медлила, нас-

лаждаясь, не казня его, в ожидании, когда придет для нее новое утро, которое станет для него последним. "Я не люблю никого, никого," – смеялась она, когда он уходил, и она оставалась в его квартире одна, поливала фикусы и звонила Петру Ильичу Чайковскому, который "за ресторан" мог достать английские зимние сапоги... Паж, у которого была только одна над ней сладкая власть. Он должен был умереть, паж. А она жена для Макмерфи.

Камень был остр, и остр был снег, открывшийся за камнем, и теперь снег можно было потрогать рукой. И на ощупь снег высоты был пушист. Стрелец закрыл глаза и положил снег на лицо, ощущая сквозь веки его свет.

– Снег, – сказал поднявшийся вслед за ним Дон Хуан.

– Снег, – сказал поднявшийся за его спиной.

– Снег, – сказал второй.

В разломе, за спинами осталась качающаяся в вертикаль тропа. Они избегали думать о зияющей между камнями смерти, доверяя мускулам своих тел, и снег открылся для них радостью.

– Вон они, – сказал Дон Хуан указывая в цирк, в белую чашу ледника, на дне которой две маленькие фигурки, одна к одной, были похожи на муравья. Белая чаша ледника была полна солнца. Щурился Стрелец. Щурились его товарищи, они махали шарфами далеким Олегу и его жене, кричали в опрокинутый купол пространства. Дон Хуан видел белое, и в белом он видел смерть, искаженное в судороге торжества лицо Олега, его жену (как она прячет, отворачиваясь, под шапочку косу), безразличный ручей с ледника, в который кто-то из альпинистов бросил красную булавку-брелок для ключей. Дон Хуан видел Стрельца в новом костюме, беспечно идущего мимо большого окна, глаза женщины за стеклом, в которых оставался с любовью Стрелец. И еще Дон Хуан видел Дона Хуана.

– Они первые, – сказал один из парней.

– Как будем спускаться? – спросил Стрелец.

– На ботинках, – сказал Дон Хуан. – Будем соскальзывать по склону на ботинках.

– Как на лыжах?

– Да.

– Там внизу камни, если упадешь, понесет – не зацепишься без ледоруба, – сказал второй парень.

– Зачем же разгоняться? – засмеялся Стрелец.

– Не бойся, – сказал Стрельцу Дон Хуан.

СЕКРЕТ ШЕДЕВРА

Рассказ Г. Владимова "Не обращайте вниманья, маэстро" поистине может быть причислен к шедеврам русской литературы нашего времени. В этой небольшой вещи Владимова уместилась целая череда разнообразных и противоречивых чувств и мыслей в их смене, борьбе и художественной законченности.

На рассказ Владимова написана рецензия С. Довлатова (опубликованная в №49 журнала "Семь дней"). Даже не рецензия, а вернее, информация о рассказе с некоторыми комментариями, размышлениями читателя по поводу рассказа. Размышления эти представляются неполными, не доведенными до конца, но сами по себе они имеют достаточный интерес. Довлатов – и сам мастер, и его мнение, даже неполное, достойно внимания, дает материал для дальнейших рассуждений и выводов.

Прежде всего, в рецензии Довлатова сделано изложение, но не всего сюжета, а скорее ситуации, определившей собою сюжет. Напомню эту ситуацию, сложившуюся примерно к середине рассказа.

В небольшой московской квартире проживает семья из трех человек: папа – Матвей Григорьевич Городинский, мама – Анна Рувимовна и сын, Александр, молодой, 32-летний аспирант. Он и рассказывает нам в качестве свидетеля эту немыслимую историю.

Однажды утром в квартиру Городинских приходят неизвестные люди, заявляют, что вселяются (правда, временно) в одну из комнат, забирают у хозяев телефон, определяют некий регламент отношений.

Говорят: "Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать – приехали родственники". Эта фантасмагория разъясняется по-советски просто: люди эти – группа функционеров КГБ. Их трое: "мордастый" начальник, его помощник Коля-Моцарт (прозванный так, видимо, из-за его пристрастия к песенке Окуджавы) и дама-техник. Они устанавливают слежку за квартирой напротив, в соседнем доме, во дворе их микрорайона. В распоряжении пришельцев загадочная аппаратура, помощники где-то вовне (с ними сносятся по телефону, и все они откликаются на одно общее имя "Валера"). Хозяев квартиры "родственники" особенно не притесняют, даже доброжелательны к ним, хотя и с поправкой на сыск и надзор. Но они здесь не за этим.

В квартире напротив живет писатель-диссидент, печатающий свои произведения за границей (это собирательный, обобщенный образ, хотя его жизнь повторяет многие черты биографии самого Владимова). Слежка ведется за его работой и за его посетителями-иностранцами, которые посредничают между писателем и заграничными издательствами и помогают вывозить за границу микрофильмы его рукописей. Ситуация эта, как говорит Довлатов, "подавляет советских квартиросъемщиков заложенной в ней неотвратимостью и тем... чувством, которое проще всего выразить словами: "Значит, так надо".

В рассказе Владимова уделено немало внимания представителям КГБ или, как их называют в просторечии, "кагебешникам". Они являются перед нами с набором интересов и черт советского обывателя, – и в то же время с абсолютно растленной психологией. Они развращены привилегиями своего положения, неоспоримой властью над окружающими и полной безнаказанностью. Их привилегии, например, – снабжение в закрытой столовой, где их "отоваривают" дефицитными продуктами, и они считают это вполне нормальным. Они претендуют на все лучшее. Дама-техник говорит о поэтессе Белле Ахмадулиной "тоном сожаления, но отчасти и превосходства": "Сапожки не модные у нее... Наши таких сто лет не носят". Вместе с тем она злобно возмущается поднадзорным писателем, которому привезли из-за границы модное пальто для его жены: "Это же скрытый гонорар. Совсем уж обнаглели. И что только делают, что делают!"

Разговорам, которые слышат из-за стенки хозяева, присуща некоторая шаржированная, даже гротескная двойственность по отношению к диссидентам, за которыми следит КГБ. "Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими". Мордастый начальник с некоторой даже гордостью говорит, что новое произведение их поднадзорного – "романище мирового класса". И в то же время он, ни минуты не задумываясь, изничтожил бы писателя, если бы на то "были даны указания".

Коля-Моцарт, помимо наблюдения за писателем, выполняет "общественные поручения" своего отдела – звонит по телефону известным диссидентам и вдохновенно ведет с ними наглые, оскорбительные разговоры, имеющие одну цель – лишить людей душевного равновесия. При этом он даже как бы сочувствует им, что не мешает ему "вкла-

дывать всю душу" в эти свои садистские телефонные импровизации. Словом, изображение агентов КГБ в рассказе – гротеск, хотя и без особой заостренности. Этому вполне отвечает гротескное изображение и других действующих лиц рассказа – таких, как фигуры папы или мамы, автопортрет молодого человека и пр. (Надо заметить, что такой легкий – без нажима – гротеск, не переходящий в сатиру, вообще свойствен художественной манере Владимова: вспомним хотя бы выра-зительные, заостренные диалоги в его романе "Три минуты молчания").

Изображение "кагебешников", их поведения и разговоров, входит в ситуацию рассказа и определяет собою отношение к ним тех людей, которые зависят от их произвола.

КГБ на все имеет право, и семья Городинских по необходимости покоряется. Правда, папа и мама полны скрытого протеста, хотя внешне относятся к своим квартирантам с уважением, подчиняются их требованиям, – против рожна не попрешь! Но сын Александр более или менее примирился с ситуацией. И жить, и работать на кухне, куда его выселили, оказывается, вполне удобно ("Мы устроились отлично"), а к даме-технику он даже неравнодушен, хотя она его попросту не замечает.

Вначале сын думает, что следовало бы предупредить писателя о ведущейся за ним слежке, но постепенно он утрачивает мужество, и его страх так характерен для несчастных советских граждан: в каждом человеке на улице ему мерещится "Валера", агент КГБ; он не может решиться заговорить с писателем и даже (по словам Довлатова) "начинает испытывать досаду по отношению к человеку, причинившему ему, аспиранту, будущему кабинетному ученому, столько душевного неудобства". Таким образом, в рассказе подмечена "характерная, увы, черточка нашей жизни – создание блуждающей, уже не связанной с традиционными ценностями нравственной шкалы, передвижные мерки которой всегда соответствуют нашим колеблющимся, уступчивым и слабым натурам..."

Общий вывод Довлатова: читая рассказ Владимова, "испытываешь чувство обреченности и бессилия".

А ведь это не конец рассказа.

Рецензент полон горечи; он не хочет и не может видеть ничего больше, кроме удручающих его черт советской бесправной жизни и советского бессильного характера. Он остановился на полдороге, не захотел идти дальше, может быть, потому, что дальнейшее как-то не согласовывается с его горькими впечатлениями от этой ситуации.

"Чувства обреченности и бессилия" вполне могут быть понятны любому из нас, русских читателей, и в то же время чувства эти обостряют наше восприятие, заставляют ждать их опровержения.

Итак, с возмущающим душу чувством обреченности и бессилия мы продолжаем чтение.

Конечно, молодой человек непригоден ни к какому разумному действию ("лопух", как выразился о нем один из персонажей рассказа).

Почему он оказался таким? Он был полон отвращения к советской действительности, ни в чем не хотел принимать участия. "С опозданием на семь лет, после жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно, и за которой можно как-то пересидеть – если не "рыпаться". Вот он и не желает "рыпаться". Он собирается защищать диссертацию на совершенно индифферентную тему: "Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах". Ему хотелось уклониться от участия в окружающей жизни. Он и уклонился, но перестал что-либо в ней понимать. Как еврей он мог бы эмигрировать (как эмигрировала его невеста Дина), но у него не хватило решимости.

Папа и мама его совсем не таковы. Папа в прошлом – инженер-конструктор, "проектировщик плавильных агрегатов для цветного литья", до пенсии работал в конструкторском бюро большого завода, – и кое-что все-таки понимает в советской действительности. Вообще, наблюдательность, воображение, точность мысли свойственны ему в гораздо большей степени, чем сыну. Конечно, он тоже не храбрец; как и сын, он не решается пойти и предупредить писателя о слежке. Он не способен ни на какой явный протест, активное сопротивление. Но в то же время и пассивное молчание для него нестерпимо. Характерная сценка: уходя по своим делам, мордастый говорит папе: "В целом мы вами довольны". – "А мы вами – нет, – отвечает папа, впрочем, когда дверь за мордастым закрылась".

В сущности, сюжет рассказа состоит в том, как папа выжил КГБ из своей квартиры.

Папа излагает сыну "кошмарную гипотезу": квартиранты только выдают себя за работников КГБ. "Мы с мамой давно уже догадались. Уголовники они. Обыкновенные уголовники. Но – международного класса... Нашего визави они хотят ограбить, только – в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции... Они только ждут, когда он закончит, чтобы тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать..."

С этой "гипотезой" папа в сопровождении сына отправляется в районную милицию, в оперативный отдел.

Сын ожидает, что вот-вот сейчас "попросят за дверь", но, как ни странно, начальник отдела, майор, соглашается с папой; он немедленно вызывает двух агентов и отправляет их арестовывать "уголовников", угнездившихся в квартире Городинских. В ходе "задержания" выясняется, что тут "вышла ошибочка", все улаживается, и, освободив захваченных "бандитов", агенты угрозыска уходят восвояси.

Но это лишь чисто фабульная поверхность рассказа. Под нею скрыт целый клубок отношений и событий.

В рассказе присутствует один мотив, пронизывающий весь сюжет. Этот мотив служит ключом к скрытому в сюжете смыслу. Это – анекдоты о глупости милиционеров; анекдоты, которые, как слышал

папа, за стеной рассказывали друг другу его квартиранты. Папа пересказывает их майору, добавляя для верности, что анекдоты эти "с очень нехорошим политическим душком", даже "махрово-антисоветские".

Сын шокирован: "Бог мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не пожаловался!"

"Про нашу милицию, – сказал папа... – Про милицию? – в глазах майора зажглось что-то зеленое, как у кота, когда он смотрит на птичку".

Зачем папа рассказывает анекдоты майору? Ведь это вовсе не доказательство его "гипотезы". И почему придает им такое значение майор? Он заставляет папу пересказать анекдоты его подчиненному, агенту угрозыска, и в тот же день сам успевает передать их агентам, которых посылает "взять" бандитов. Проводя эту "операцию", агенты тоже припоминают своим задержанным оба анекдота.

Надо думать, сам папа не верит в свою "гипотезу"; он прекрасно знает, кто такие его квартиранты. Просто он бессилен перед ними, но хочет ущемить их побольнее и только перекладывает это на более сильные плечи. Попросту говоря, он натравливает милицию на КГБ. Разумеется, не верит в эту фантасмагорию (с уголовниками") и майор. Искренность папы его нисколько не интересует, но он рад случаю посчитаться с КГБ. Тут есть повод, по которому вспыхивает всегда готовая вспыхнуть неприязнь ущемленной милиции к всесильному Комитету Государственной Безопасности. Анекдоты о милиции в устах какого-нибудь уголовника "Володьки Боже-мой" не задели бы майора. Другое дело, если анекдоты, высмеивающие милицию, исходят от КГБ. Как говорит майор, "это уж мне известно, кто их сочиняет. И зачем". Кто? – КГБ. Зачем? – чтобы унизить милицию.

Но все же анекдоты – только повод. Настоящая причина раздражения майора – в том пренебрежении, которое КГБ постоянно оказывает милиции, не считаясь с ней. Он и не преминул воспользоваться случаем, чтобы напомнить о правах милиции.

"Майор закрыл глаза, словно чтобы погасить в них зеленое, злое мерцание, и – после долгой выдержки – медленно их открыл..." Всему, что рассказал ему папа, майор противопоставляет неуклонную твердость своей позиции. "У вас в квартире никого быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается... Нас бы тогда предупредили. Я бы по крайней мере знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно". И недаром его агенты после "операции" говорят "мордастому": "Не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас не всегда предупреждает. А мы этого не любим".

Эти молодые люди – агенты угрозыска – вполне в курсе дела. Они знают заранее, чем кончится "операция". Конечно, могла быть и перестрелка (как говорит Коля-Моцарт: "А если бы у меня еще оружие оказалось?.. Уй, что бы тут было!") Но молодые агенты вели себя, как на "задержании" обычных бандитов, только издевались над задержан-

ными как хотели, вплоть до мер физического воздействия. Начальника группы они, впрочем, не тронули, "врезали" только Коле-Моцарту да зверски ущипнули ("оттянули") даму-техника.

Всласть поиздевавшись над задержанными кагебешниками, молодые люди отпускают их с миром и уходят, "весело перемигнувшись": они выполнили задание майора.

Начальник группы, "мордастый", вне себя от ярости. Но позиция папы неподкопаема, и мордастый это понимает. Папа только "проявил бдительность", "поступил как советский гражданин".

Но функционеры КГБ посрамлены, унижены; их "оперативное" инкогнито раскрыто, "государственное задание" сорвано. Мордастый говорит: "Мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры". Нравственная победа оказалась на стороне бесправных квартиросъемщиков...

А у нас, читателей, чувство обреченности и насилия сменяется чувством торжества и удовлетворения. В этом перепаде чувств – когда вдруг нам открывается истинный смысл происходящего – и заключается секрет высокого художественного эффекта, который поражает в рассказе Владимова.

В конце концов, расстроена и возмущена одна только мама. Она – человек старого воспитания; для нее нет "блуждающей шкалы" нравственности. Для нее "кагебешники" – тоже люди; нельзя так издеваться над ними и унижать их.

Пап же, хотя и очень боялся, но "усилился" ("Попрошу вас: усильтесь", – говорит майор) и проявил не меньше характера и изобретательности, чем В. Буковский, который рассказывает (в своей книге "И возвращается ветер..."), как он в тюрьме сумел организовать поток жалоб от заключенных на тюремное начальство и задал жару прокуратуре и этому самому начальству, которые должны были разбирать сотни жалоб. Демагогические правила прокурорского надзора он сумел обратить против них же, против самого надзора.

Сильнее КГБ оказался и писатель – "маэстро". Он нравственно и душевно выше этой кагебешной мышиной возни вокруг его творчества. "Я увидел в окне в пятом этаже нашего визави, склонившегося над книгой или своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону – может быть, услышав необычное или почувствовав чей-то взгляд, – но вряд ли смотрел на что-то определенное... скорее – блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась..."

Разумеется, его в конце концов заставят уехать из Союза. Что же –

Моцарт отечества не выбирает,
Просто играет всю жизнь напролет.

Не оставляйте стараний, маэстро! Не поддавайтесь чувству обреченности и бессилия!

Елена Тудоровская
США

"ТРУВЕР"
(О романе Бориса Фалькова)

"Борис Фальков синтезирует и развивает традиции Гоголя и Э.Т.А. Гофманна с такой смелостью и фантазией, как это последнему удалось лишь М. Булгакову." Такова оценка романа Фалькова "Щелкунчики", вышедшего в издательстве ЛИСТ/ЗЮД ВЕСТ ФЕРЛАГ, Мюнхен, 1991 г., на немецком языке, и попавшего в список бестселлеров газеты "Абенд Цайтунг". Синтез сильных сторон европейского фабульного романа и русского полифонического сделал стиль Фалькова универсальным, очаровывающим читателя по обе стороны границы между Востоком и Западом. Испытывая особую привязанность к "готическому роману" эпохи романтизма, Фальков несколько иронично называет свой стиль "готическим реализмом". Нотка иронии, присутствующая уже в романе "Моцарт из Карелии", Графикс Фотос Арт, Мюнхен, 1989 г., наиболее отчетливо звучит в романе "Трувер"", где этот элемент вырастает в блестящую пародию на почти все существующие романные разновидности. Вместе с тем веселая пародия выворачивается наизнанку, поворачиваясь к читателю трагичными и болезненными сторонами фантастической действительности.

Борис Фальков, "Трувер", роман, 304 стр.
Издательство Графикс Фотос Арт, Мюнхен, 1991

"Трувер" по форме и авантюрный роман, и детектив, и политико-футурологическое исследование, но также любовная трогательная история, рассказанная в духе бродвейского мюзикла. Динамичная фабула смонтирована подобно лаконичному телесериалу. Благодаря ей наполненный философскими и историческими реминисценциями, контрастной лексикой и поэзией "Трувер" читается как увлекательное приключение. Роман написан в 1983 году, и читатель получает дополнительное удовольствие от того, как много угадано в книге из будущего, ставшего сегодня нашим настоящим. Фалькову удалось реабилитировать сам жанр романа, столь дискредитированный во второй половине XX века.

Действие происходит на Кавказе, где после нескольких неудачно проведенных демократических реформ и цепи переворотов установилась своеобразная тирания с националистическим оттенком. География местности удивительно сходна с дантовским Чистилищем и одновременно с черноморским городом Сухуми. Власть при всех обстоятельствах опирается на тайную полицию. Властитель отпавшей от империи маленькой страны – Сержант – сам создает террористическую оппозицию, сам и расправляется с нею. Общность членов тайной полиции бывшей метрополии и новой "республики", подобная близости друг другу тайных полиций всего мира, создает своеобразную стабильность ситуации.

Опустившийся эмигрант Герц получает предложение от одной из этих тайных полиций вернуться на Кавказ под чужой фамилией. Это возможно, ведь со времени его побега прошло двадцать лет, его не узнает никто. Герц соглашается якобы за деньги. Но на самом деле он преследует свои личные цели: на родине он оставил невесту, собственно – жену. Любовь к ней со временем лишь усилилась. И, оставшись в полном одиночестве изгнания, Герц хватается за подвернувшуюся возможность восстановить, точнее – создать семью. Разумеется, он должен выполнить навязанное ему поручение, смысл которого ему неясен, но он и не очень интересуется им: выкрасть некий сейф, принадлежащий Сержанту и охраняемый Тайной Канцелярией.

Прибыв на Кавказ, Герц – теперь он Борн, застает там фантастическую ситуацию и не сразу начинает в ней ориентироваться. Однако он действует совсем неплохо для такого дилетанта в делах сыска, каким является. Очень быстро он втягивается в политическую интригу двора и полиции, играя роль зарубежной знаменитости – барда. Ему удается выкрасть сейф и спрятать его, но не для того, чтобы передать своим заказчикам, а чтобы начать шантажировать тех, кто может помочь ему найти жену.

Пройдя допросы и даже пытки, войдя в контакт с оппозицией и террористами, выступив с исполнением своих песен во дворце, он и сам становится звеном интриги, которую ведут придворные заговорщики, готовящие новый переворот. У него появляются друзья, помогающие ему в его деле. Он находит отца, сестру... И даже дочь, о существова-

нии которой он и не подозревал. Но он уже не может найти жену, она давно мертва.

Обретя дочь, он тут же теряет ее. И снова виновниками потери становятся режим, чиновники тайной полиции и сам Сержант. Роль шантажиста, в отчаяньи избранная Герцем-Борном для достижения своей цели, не удается довести до конца. Обнаруживается связь между теми, кто послал его, и теми, против кого его послали: между тайными полициями противоборствующих государств. Они образуют против Борна союз и решают устранить его. На его стороне остаются лишь новые друзья, оппозиционеры и террористы. Вместе с ними он предпринимает штурм тюрьмы, где содержится его дочь Тамара.

Увлекательная, кинематографичная сцена штурма – последняя часть книги – наполнена риском, опасностями и стремительностью. Пока в крепости идет бой, в городе совершается очередной переворот. Одновременно умирает отец Герца–Борна и его старый приятель Сержант. Последний, собственно, убит. К власти приходит бывший начальник Тайной Канцелярии, которого Борну и его команде удается взять в заложники чуть ли не прежде, чем армия и полиция узнают о том, что этот заложник – уже президент государства. Под таким прикрытием друзьям удается довести до конца предприятие: Тамара освобождена.

Расплачиваться за сомнительную победу Борну приходится смертью новоприобретенного друга Водемона. Впрочем, остается надежда на то, что Водемону удастся спастись: он не гибнет на глазах читателя, а удаляется из кадра вместе с исчезающим за горизонтом вертолетом. Борн остается с онемевшей от шока дочерью, преисполненный к ней жалости и любви. Он устал. Но жить нужно дальше...

Уникальный пласт трагической пародии, лежащей в основе "Трувера" – преломленная в географии и философии романа "Божественная комедия" Данте Алигьери. Сам Данте присутствует на одном из задних планов как персонаж. Другие персонажи восходят к библейским прототипам, например, Гарри–Иов. В этом аспекте книга может читаться как инсценировка Судного Дня или вариант Книги Пророков. Автор говорит об этом сам: "Читателю следует обратиться к г. Данте, чью отчаянную попытку мне пришлось повторить, а судьбу его, в значительной части, разделить".

Роман написан энергичным живым языком, в котором сталкиваются различные стили: от библейского до современного грубого жаргона. Постоянно звучат музыка, песни, сопровождающие экстравагантное действие. Авторы песен, поэты как очень давние, так и современные, в их числе и сам автор "Трувера", оказываются втянутыми в фабулу в качестве персонажей.

Несомненно, роман занимает особое место в современной русской литературе, не имея в ней близких аналогий.

Алла Цололос.
Афины

НА ВЕТРУ
(о рассказах Сергея Юрьенена)

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

А. С. ПУШКИН–1821 г.

Россия – на ветру. Ее продувает со всех сторон. И ветер не в состоянии развеять запах тухлого мяса, "того самого, как пишет Сергей Юрьенен в рассказе "Путешествие", которое... бухнули на заре века в котлы российского камбуза, за что страна расплачивается до сих пор его отсутствием".

Должен признаться, к своему стыду, что я раньше не читал Сергея Юрьенена. Слышал о его первом романе "Вольный стрелок", знал, что в 1986 году писатель издал книгу "Нарушитель границы", друзья мне говорили, что он печатается на английском, французском и немецком языках.

И вот передо мной последний сборник рассказов Сергея Юрьенена "Скорый в Петербург". (Издательство "Ардис"; США) Читаю с пристрастием. Все больше захватывает. Оторваться не могу. Боль и тревога, "скулёж об абсолютной потерянности в этой жизни" ("Путешествие") царят в каждом рассказе.

Автору нравятся истории, не изобилующие резкими, неожиданными поворотами сюжета, которые исподволь раскрывают "плоды сердечной пустоты".

В рассказе "Любите ли вы театр?" действие начинается в кафе ресторанного типа, в котором "по обе стороны от лестницы из стены выпирали полуколонны, выкрашенные под мрамор. Ковровая дорожка на ступенях посредине была вытерта до основы". Евгений Иваныч, Эдик Попенченко и женщина в сапогах нахально подсаживаются к столику, где сидят девушка и студент и, как само собой разумеющееся, подслушивают их разговор.

И вот первое столкновение, еще не серьезное, но уже многообещающее. На заявление девушки, что она уйдет, женщина в сапогах категорически утверждает: "И правильно, девонька! Давно пора! Гордость надо иметь!" На что следует ответная реплика: "Я вам не "девонька"! Не вмешивайтесь!"

Какой же ветер гуляет в голове этой женщины, если можно так бесцеремонно, залихватски нахально вмешаться в чужой разговор?! Но это еще цветочки, ягодки впереди! Узнав, что студент из Москвы (человеческие страдания вскормили неприкрытую ненависть к москвичам, впрочем, в последнее время угасающую в силу того, что в Москве нынче жить опаснее, нежели в провинции), Евгений Иваныч предлагает тост за театр, заявив, что "наш больше вашего Большого". Москвич отказывается поддержать этот тост и восклицает: "Я просто не люблю театр. Вот если бы за дам..." Подобное заявление, сделанное провинциалу, смерти подобно. Оно и оказывается для москвича смертельным. Происходит самое страшное из кошмаров, какой только можно вообразить: "Однофамилец чемпиона в тяжелом весе, убитого ударом ножа и забытого уже страной, Попенченко взревел от радостного предчувствия точного попадания. И провел удар. Футбольный. Под ребра. Развивая победу, он продолжал работать сапогами, вбивая по корпусу так, что перевернул соседа по столику разбитой мордой в снег. После чего снял шапку, утер лоб и взопревшие свои кудри".

Вот они "игрушечного дела людишки", гуляющие на ветру по земле русской. М. Е. Салтыков-Щедрин в одноименной сатирической сказке дал этим "людишкам" такую характеристику: "Ума у них – нет, поступков – нет, желаний – нет, а наместо всего – одна видимость, ну и возьмет тебя страх. Того гляди, зарежут... Взглянешь кругом: все-то куклы!"

Ветер, гуляющий по Руси, развеял в людях чувство сострадания и огорчения, чувство страха и боли.

В рассказе "Эмигрантка Эмма" этот же ветер заставляет молодую женщину двадцати семи лет написать своему отчиму, "малокультурному, зато начитанному" Федору Игнатьевичу, которого до паспортного возраста она считала родным отцом, записку: "Федор Игнатьевич, прощайте. Этой ночью меня не станет. Спасибо вам за все, что Вы для меня сделали. Счет в сберкассе я закрыла. В книге аргентинского писателя Х. Кортасара "Другое небо" Вы найдете "400 рэ. Знаю, что

Вы их пропьете. Но перед этим постарайтесь все-таки привести себя в человеческий вид, а именно: купите новый костюм, смену рубашек и прочее. Ваша испанская дочь".

Эмма поступает так вовсе не потому, что ей открыли ее историю. Она узнала об этом еще в шестнадцать лет, в школе, когда ее называли "жидовкой" за то, что она "чернявая". На самом деле она была из тех пяти тысяч испанских детей, которых в 1937 году вывезли из франкистской Испании в Советский Союз. Она приехала вместе с родителями, но отец погиб неизвестно где: то ли в Гулаге, то ли в тылу, Эмма его не помнила, а мать умерла в эвакуационном эшелоне по пути в Среднюю Азию. Вот и попала она в детский дом, где приглянулась уборщице Маше...

Эмма так поступает, потому что не может смириться с несвободой человеческого состояния. В отделении милиции она добилась, чтобы в паспорте в графе "национальность" ей вписали: "испанка". Писатель пишет: "Как известно, СССР – государство многонациональное, но гражданство у всех одно и то же, с о в е т с к о е (разрядка автора. – М. Г.). Она хотела вернуться на родину и как-то за чашкой кофе сказала: "Если мне откажут в возвращении, я покончу с собой".

Эмма вспоминает свое незнакомое и неведомое прошлое. Ее мир задумчив, грустен, серьезен и тревожен. Она "пережила свои желанья и разлюбила свои мечты". Она оказалась на пустыре, на котором вольно себя чувствует только ветер. Сергей Юрьенен пишет: "Перед смертью она натянула себе на голову пластиковый пакет... чтобы, видимо, задохнуться во сне, если барбитураты в сочетании с алкоголем все же откажут. Для своего веса в сорок пять килограммов Эмма приняла избыточную дозу, и, как показало вскрытие, смерть наступила в результате остановки сердечной деятельности".

Рассказ "По пути к дому" ошеломил меня своей точной предметностью, созидательной непривычностью и разоблачительной неожиданностью. Дело в том, что я восемнадцать лет жил в Тропарево, у метро "Юго-западная" и довольно часто ездил на автобусе по пятьсот пятьдесят второму маршруту. И когда я начал читать рассказ, то зримо почувствовал, как будто снова сижу в этом автобусе, а может быть, стою, и еду по пути к дому.

Точные приметы повседневной, обыденной жизни раскрывают истинную и мнимую философию героев рассказа Косточкина и Зотова: "бутылку принял, на колено поставил донышком обхлопывает себя, припоминая, есть ли чем открыть; Косточкин с усиленной старательностью обтер горлышко после себя; Косточкин... вез апельсины. После работы отстоял очередь и взял пять кило для Кати; оставшись без обуви, он не знал, что делать дальше, и стал переминаться в носках, с водкой в руке, у плотно закрытой двери, за которой, как он понимал, и находилась чужая жена..."

Зотов приглашает к себе домой Косточкина, чтобы поделиться своими сомнениями, невзгодами, неуверенностью, печалью. Он придумал какое-то изобретение во имя приоритета ("для сверхдержавы

нашей самое важное – приоритет, пусть не мне судьба, а приоритету все же польза выйдет").

Зотов резок в суждениях, запальчив и нетерпелив. Свою шоферскую работу он забросил, от семейных забот в отличие от Косточкина полностью отключился и одержим только своим изобретением, увлекшись им так, что собственных детей не замечает. И такая пустота вокруг, такой ветер гуляет, такой "мертвый час" наступил; "Косточкин чувствовал, как лицо его, не видное сейчас никому, расползается широко в нелепой улыбке. И боялся спугнуть... Они пребывали в темноте и молчании, но Косточкин был счастлив – один он знал, почему. И где? Бог ты мой, в тесноте этой, в этом шкафу чужом!.."

Один из своих рассказов Сергей Юрьенен так и назвал – "Мертвый час".

...Внимательно всматриваясь в офицерскую жизнь, скучную и монотонную, глазами тринадцатилетнего мальчика, автор рисует с точным прицелом установленные в армии порядки: "вот ведь какая жизнь у вас с папой – ни дома, ни угла своего..."

Всё на ветру. С. Юрьенен пишет: "Кругом пусто, бело стояли кровати. В какой-то дальней тумбочке гулко тикал будильник. Во всех трех окнах номера над занавесками перемещалось небо – светлое, непроглядное. Ветер".

Или: "Они ели молча... одновременно они доели первое. – Холодно сегодня, – сказал отец. – Ветер".

Или: "Было скучно... Бегала секундная стрелка. Спать еще нужно долго. На дворе не переставал ветер..."

Казалось бы, в рассказе нет никакого действия, но мотивированный и неожиданный внутренний динамизм повествования раскрывает человеческие судьбы комендантши и ее дочери, официантки и полковника – отца мальчика. Точная датировка этого рассказа неизвестна, но создается вполне осознанное впечатление, что это происходило вчера или сегодня. Движение рассказа направлено на мотивировку восприятия мальчика, почему-то вспомнился великий фильм А. Тарковского "Иваново детство": "Мальчик смотрел на близкую стену. Вокруг извилистой трещины вспухала штукатурка. Трещина уходила под кровать. Новая стена была такой же скучной, как и в тринадцатом номере. Ничего на ней не видно, сколько не всматривайся..."

Если мы хотим знать, что такое скука, достаточно прочитать, как "мальчик смотрит вокруг, медленно двигая глазами. Пусто, песок выметен ветром... мальчик смотрит в белую спину отца, – такой он старый в этом электрическом свете, тусклом и мутном от покачивающихся слоев папиросного дыма".

Под стать мальчику из рассказа "Мертвый час" образы двух пионеров – Андерса и Круглова ("Эстетический патруль"). Эта связь ощущается наим не как простая случайность, а как родство "пионерских душ", взращенных советской школой и пионерлагерем. Автор

пишет: "Это был пионерский лагерь, только что расколоченный после зимы. Справа плац с флагштоком – еще без флага. Слева дощатые домики. Отмытые стаявшим снегом, домики выглядели хрупкими и нежилыми. Здесь они назывались п а л а т а м и (разрядка автора. – М. Г.) – слово, от которого дохнуло свободой, пусть и несколько в больничном смысле, который поддержал застиранный комплект постельного белья со штампом".

Извращенные отношения пионервожатого с ребятами, постоянный моральный компромисс, сглаживание всех человеческих качеств во имя того, чтобы никто не выделялся, а если выделялся, так только с санкции старших, приводят к полной нивелировке индивидуальности. Выражаясь словами О. Мандельштама, каждый пионер "должен жить, дыша и большевея". Это противоестественное и насильственное отторжение от жизни явственно проявляется и в пресловутом соревновании за Артек, и во встрече с посланцами острова Свободы, и в процедуре сопровождения и восхождения к Ленину лучшей пионерки республики Сталины, которую после того как рухнул памятник вождя переименовали в Лину. Все расписано, все заранее известно, и ничто и никто не в состоянии ничего изменить. И в Артек отправляется не тот, кто этого заслужил, а тот, кто сумел "согреть" вожатого.

Сергей Юрьенен – мастер детали. Его деталь выразительна и взволнованна. К примеру, вот как автор описывает памятник вождю в рассказе "Новая эпоха": "Он остановлен был в движении. Усы улыбались, правая рука была приподнята. Он был в фуражке, но при этом в зимней форме – в шинели с длинными гладкими складками. Не в галифе, а в брюках, но из-под которых выглядывали носки армейских сапог, подошвами приросших к постаменту, где на боках зеркальных блистал закат. Мраморные ступени были завалены привядшей сиренью – данью горожан. С четырех сторон квадраты клумб с казенными нарциссами".

Изображая детали, автор пытливо доискивается до самой сути явления. Он не созерцает, а страдает вместе со своими героями. "Автобус наполнился, – пишет С. Юрьенен в рассказе "Под знаком Близнецов", – и шофер экономно вырубил свет. Ждали пассажиров с последней электрички. В темноте и тесноте дышали перегаром водки и лука, сопели, кашляли и молча слушали..." Этот рассказ поразил меня своей трагичностью. Когда я его читал, мне было жутко. Три парня (разве их можно назвать парнями?), три жлоба (подстраиваюсь под стиль писателя) врываются в автобус и глумятся над пассажирами, а главное – над девушкой: "Ну, здравствуй, Валёк. Встретил тебя все ж таки, дождался. И кореша со мной, чтобы нам не так скушно было одним кайф ловить... Сиди! Певунья ненаглядная... Строит из себя – тоже мне!.. И вот что я тебе скажу, усеки хорошо. Не обижай их. Когда знакомиться будем. А то уж очень они обидчивые, особенно который Чопа. Он, понимаешь, Валёк, несогласный со мной: первым ознакомиться хочет".

И девушка уходит с этими выродками "вся белая, с губой

закушенной". И даже возглас подруг: "Валька, спятила? Что матери-то сказать?" – не останавливает ее. И такая безысходность, такая обреченность в ее послушании: "Кого же, как не меня? Кого еще?"

И никто не пришел на помощь, и никто не закричал. Наоборот. Когда автобус тронулся, оставив Валю и ее насильников на остановке "по требованию", "оставшийся народ постепенно разговорился".

Безразличие и тупизм, претворяющие агонию, сквозят и в рассказе "Убийство на Рзъезжей". В полуподвале парикмахерской слышен крик: "Спасите! Убивают"! На стене висят два портрета – в красно-черной рамке Сталин и сменивший его товарищ Маленков. Мужчина, вернувшийся с мест весьма отдаленных, вначале "порешил" любовника Мишу, а затем принялся за свою жену. После содеянного мужчина "уронил топор и сжал виски. Схватился за перила и рухнул на колени. Он рыдал..." И в этом тоже было столько муки и жуткого страха, столько горя и застылости, что волей-неволей приходишь к выводу, как трудно русскому человеку нравственно переродиться. Да и возможно ли это?! Нет, невозможно, когда вся жизнь "на грани отчаяния, пребывание на этой грани становилось уже образом жизни" ("Партия ангелов").

Может быть, кто-то не поверит, но когда я читал этот рассказ, то смеялся так, как случилось однажды в детстве, когда в классе один мальчишка вылил пузырек фиолетовых чернил на голову другому, а тот, в свою очередь, подставил свои ладони под струю льющихся чернил и обмазал ими лицо обидчика.

Я смеялся, когда читал характеристики членов Союза писателей. Они были точны и удивительно смешны. На лице каждого из них была "маска профессионального бесстрастия". Один говорил на постороннюю тему, второй – важно смотрел в зал, третий – медлительно, с ложной многозначительностью докуривал сигарету "Пегас". И столько в этом иронии и сарказма, столько насмешливости ("модный, угрюмо-скорбный вид"), что даже их речь, украшенная интонационно-лексическими оттенками, не в состоянии скрыть их прихотливой, дурно пахнущей среды. Но вместе с тем тщательно замаскированной! И эти люди были "инженерами человеческих душ", вырабатывающими "массы людского шлака" ("Под знаком Близнецов"); "жребий брошен" – восклицают они, уверовав в свою непогрешимость и правоту, потому что всё на ветру... "А ветер толкал в спину, пытался пустить вприпрыжку" ("Опыт самозабвения"). И жизнь их, лишенная настоящего живого дела, всегда была и есть сплошное пустозвонство.

Проза Сергея Юрьенена повествовательна. В ней зримо проявляется неудовлетво енность традиционной литературной речью. И дело вовсе не в том, что писатель зачастую обращается к жаргону, к "блатным" выражениям и даже элементам авантюрного романа. Автор тяготеет к сжатости стиля, устному рассказыванию, умелому сочетанию ремарочного материала со сценическим диалогом.

Эльвира: – Кофе у меня с собой, но в зернах. Вы по-турецки любите?

Ах, да у вас, наверное, жена-ребенок? Я тоже без угла сегодня, такой огромный город, правда? а некуда приткнуться, но что поделать, да? Но вы меня прочтете? На ночь? – воротник ее дубленки был отстегнут, под бело-зимней кожей горло пульсировало тонко, голубым. Ломая ногти, она пыталась отстегнуть застежку на боку портфеля. ("Партия ангелов").

Прочитав сборник рассказов С. Юрьенена, я понял, сколь серьезно автор задыхается в духовном вакууме. Его упрямая независимость духа, его отношение к людям и их мнениям лихорадочно захватывают и уже не отпускают до последней страницы книги.

Рассказы С. Юрьенена представляются мне глубокой человеческой драмой, в которой один человек отказывает другому в помощи, хотя эта помощь могла бы быть для него спасительной; третий произносит такие слова и совершает такие поступки, которые оборачиваются смертным приговором в прямом или переносном смысле. И все это происходит на наших глазах, когда, выражаясь словами Н. Гумилева, "лишь небу ведомы пределы наших сил, потомством взвесится, кто сколько утаил, что создадим мы впредь, на это власть Господня, Но что мы создали, то с нами посегодня" ("Молитва мастеров", 1921).

Всё на ветру...

Михаил Гольденберг
США

УПЫРЬ
(О прозе Юрия Мамлеева)

За литературой, как известно, всегда водились странности. Так глядишь – приличная вроде дама, глаза скромные, честные, в кулак не сморкается, о высоком поговорить любит. А иной раз посмотришь – такое вдруг себе позволит, что не поймешь, то ли и впрямь юродивая, то ли старая опытная ведьма.

По мамлеевской, к примеру, прозе никогда толком диагноза не поставишь. Да и сам писатель Юрий Витальевич Мамлеев тоже вроде со странностями. С виду тихий, кроткий, скучноватый даже человек, в шляпе, с портфельчиком неприметным – словом, все как и положено у порядочного чиновника из скромненькой какой-нибудь нотариальной конторы. Чаечек с сахарком попьет, поскребется, в кино сходит. Так, глядишь, и время пройдет. Таким вот он и в Париже живет, таким и в отечество наведывается (уехал лет пятнадцать назад из Южинского своего заветного переулочка сначала в Штаты, потом во Францию).

Замечательная вот эта однозначность и незатейливость первых личных, так сказать, впечатлений от невзрачной вроде бы мамлеевской особы разительным образом не вяжется с тем совершенно ни с чем не сравнимым и – что уж греха таить – чудовищным образом автора, который складывается из мамлеевских текстов. Равно как на первый, скользящий такой, взгляд он трудно вяжется и с той густой порослью туманных, сомнительных, зачастую почти безобразных и вместе с тем интригующих мифов, которыми оброс образ обитателей Южинского в культурной памяти поколения 60-х. (Кстати, один почтенный отечественный литератор за эту подозрительную бледность, невнятность и как бы личностную незаполненность мамлеевского

облика довольно удачно обозвал его упырем). Причем – и это особенно интригует – достоверность всех этих мифов даже при самой дотошной въедливости проверить практически невозможно: единственным культурным свидетельством и единственной же попыткой описания этой среды является сама мамлеевская проза и в первую очередь, конечно, его лучший вероятно, роман "Шатуны", до сих пор так и не вышедший в России. Все остальные персонажи круга так называемых "сексуальных мистиков", ютившихся в тех неблизких уже 60-х в квартирке Мамлеева в Южинском, с тех пор так и канули в небытие, не оставив после себя ничего более или менее отчетливого, или же реализовались в каком-то совсем уже не том пространстве и качестве.

Таким образом, весь этот причудливый и отчасти даже инфернальный мир так и не вышел из пределов мамлеевской воли и мамлеевского творчества, несмотря на свое вполне реальное когда-то существование. Произошло это потому, что он фактически не получил никакого стороннего критического описания (он как бы вынужден был описывать себя сам изнутри, через сами тексты Мамлеева, одновременно являвшиеся и предметом этого описания). А в результате круг этот, этот специфический мир так и не сумел адаптироваться и получить соответствующие права и соответствующее место в окружающем его культурном пространстве.

Отчасти это самое обстоятельство и является причиной того, что в общем-то один из самых ярких и фантастических даже русских писателей так, в сущности, мало знаком нашему читателю (да и критику, признаться, тоже). Причем даже сейчас, когда наконец в отечестве его вышло в течение нескольких последних лет три его сборника, не считая отдельных журнальных публикаций (Ю. Мамлеев. Утопи мою голову. "Стиль", М., 1990; Ю. Мамлеев. Голос из ничто. "Московский рабочий", М., 1991; Ю. Мамлеев. Вечный дом. "Художественная литература", М., 1991).

Может, эмиграция виновата? Да нет, она скорее могла усилить для нашего простодушного читателя обаяние авторского имиджа. В особенности в последние годы, когда эмигрантский миф превращен был в одну из составляющих официальной программы перестройки.

Мамлеев же явно не вписывался в эти подновленные перед очередным парадом, наспех и грубовато сработанные, но зато выглядящие вполне демократически подмостки новой государственной идеологии. Мамлеев-прозаик и в культурной-то традиции был достаточно одинок и, судя по всему, это свое одиночество всячески старался сделать тотальным.

Именно поэтому в жизни Мамлеев-человек ведет себя ровно наоборот, фиглярски оправдываясь, приписывая себя то к Достоевскому, то к Сологубу, то к Белому (не без известного основания, конечно), ссылаясь на материалы наблюдений психопатологии и прочие малоубедительные, недостаточные или попросту излишние доводы. (Довольно прочесть любое из его предисловий к собственным текстам, интервью или что-нибудь в том же роде). Все эти заведомо неубедительные расшаркивания – не что иное, как оборотная сторона ощущения глубочайшего и действительно тотального одиночества, последствия которого могут быть достаточно необратимыми – забвение. Забвение, несмотря на всю несомненность и уникальность дара,

на отточенность и завершенность всех необходимых составляющих целостного культурного мифа (по крайней мере личного, авторского).

Как удачно, проговорился где-то – дай Бог памяти – философ Михаил Рыклин, Мамлеев слишком глубоко копнул, чтобы суметь вынырнуть обратно на поверхность. Действительно, культура всегда предлагает довольно строгий набор правил и норм, определяющих не только предельную глубину для купальщиков, но даже сроки заплывов, количество участников и все прочие нехитрые обстоятельства. Культура в первую очередь вынуждена охранять весь этот перечень правил и норм от возможных на них покушений и ни в коем случае не поощряет тех, кто нагло их игнорирует.

Именно поэтому мамлеевский прозаический опыт крайне небезопасен. И именно поэтому он так безнадежно одинок, как одинок всякий криминальный опыт, всякое беззаконное преступание норм не просто литературных, эстетических (их-то как раз принято время от времени ставить под сомнение) и даже не норм человеческой этики и морали (их тоже принято изредка пересматривать), но выходить за пределы культуры как таковой. Сам Мамлеев идентифицирует этот выход со смертью. Его герои, пытающиеся все время протиснуться в узкую щель между бытием и небытием, в конце концов пытаются выяснить какие-то предельные, конечные отношения с культурой в целом, с этим в сущности довольно жалким и жиденьким покрывальцем на гигантском и непостижимом теле кишащего под ним хаоса. И первый шаг к этому – попытка перевести собственный взор с привычного, баюкающего сладенько нашу нежную, робкую душонку культурного пространства на себя самого, на свое естество, свою телесную оболочку. (Причем с наибольшим пиететом герои Мамлеева созерцают, как правило, собственный свой живот, белый, мягкий и полный, как средоточие всего плотского и земного, единственно возможное вместилище души). Таким образом, собственное тело, наглое в своей требовательности и прощупываемой очевидности, оказывается первым и предельно убедительным протестом против тех норм, которые диктуются ему этим вечно соскальзывающим с него культурным покрывальцем.

Впрочем, без покрывальца этого совсем, так сказать, неприкрытым публике не покажешься. Все, что оказывается вне пределов культурных, этических и эстетических норм, автоматически вообще выпадает за пределы каких бы то ни было оценок и, стало быть, за пределы культурной памяти. В этом отношении мамлеевская проза опасно балансирует на этой роковой грани культуры и не-культуры, памяти и кромешного забвения. Понятно, что никакой здравомыслящий обыватель (в том числе, и критик) к краю этому подходить просто не посмеет. А посмевший – ужаснется, а после и вовсе не будет знать, что ему с его жизнью делать дальше – то ли спиться, то ли покаяться, то ли спиться и покаяться одновременно... Мамлеев, явно не относящийся к этой здоровой категории наших сограждан, не сделал, похоже, ни того, ни другого, ни третьего. Ну, что с него возьмешь – упырь...

Светлана Беляева-Конеген
Москва

Борис Садовской

КАРЛИКИ

(Глава из романа "Приключения Карла Вебера")

Россия – хорошая страна. Снегу здесь много, оттого и дорога лучше. Зимнее солнце похоже на луну и светит точно в тумане. Лошадям привязывают колокольчики, но это только для знатных, у кого есть стража или оружие. А то могут напасть разбойники. Князь Меньшиков мчался быстрее ветра. На станциях княжеский секретарь бил всех по зубам, не за беспорядки, а просто так: это московский обычай.

Петербург построен лет двадцать тому назад на реке Неве. Это чистенький ровный городок вроде Берлина; самое скверное в нем – климат, суровый и неприятный. Ветер и туманы, оттепели и мороз. Зимой набегает много волков. Они рыщут по окраинам города, воют протяжно и дико. Я любил в бессонные ночи слушать их вой.

Волки разрывают петербургские кладбища и пожирают покойников. Охотятся на волков по-разному. Проще всего ловить их в сети, потом избивать дубинами. Так делают псковские мужики. В подобных забавах и я участвовал. Это очень весело. Волчьи черепа так и хрустят.

Мы прибыли в Петербург синим морозным вечером. Всю дорогу я с князем Меньшиковым ехал в одной кибитке. Сам он маленький и проворный, с огромным ртом. Трудно поверить, что это князь и вельможа. В юности он, говорят, торговал пирогами.

Кибитка остановилась перед дворцом. Это деревянный дом в два жилья, с грязным наслеженным крылечком. Было тихо. Князь побежал к царю с бумагами. Я осмотрелся. Мальчик в синей шубке терпеливо лепил куклу из рыхлого снега; кукла упорно рассыпалась. Мне сделалось вдруг грустно. Луна жалобно смотрела на меня. А мальчик все хлопотал над куклой. Это был внук и наследник царя, тоже Петр.

Через полчаса я ужинал с князем в его доме на той стороне Невы. Обстановка являла смесь роскоши и грязи; за печкой кричал сверчок. Мы ели на серебряных, давно не мытых тарелках. Щи дымились в деревянной с базарной росписью чашке; мясо князь брал руками. По-европейски здесь едят только при гостях.

Когда мы рассчитывались с возницами, я подарил ямщику серебряную монету, а княжеский секретарь ударил его раза два. Ямщик с презрением подбросил на ладони мой подарок, а секретарю поклонился в ноги.

Ночевал я в душной комнате рядом с кухней. За иконами в переднем углу шуршали тараканы. При тусклом огне лампады всю ночь я ловил на себе проворных блох. Утром князь повез меня во дворец.

Я ожидал, что мы подъедем к вчерашней избе, где на дворе играл при месяце маленький царевич, и был удивлен, увидя высокий каменный дом на берегу Невы. Здесь все напоминает Европу, но только напоминает: грубость и неряшливость не дают забыть, что находишься в России. Меня ввели в царский кабинет. Здесь душно и смрадно, окна глухие, с двойными рамами, на полу сор, плевки и пепел.

Царь встал и ростом оказался немного ниже меня. На вид ему лет за пятьдесят. Лицо опухшее, нездоровое, с выпученными глазами; щетинистые усы подстрижены и стоят торчком. Он протянул мне руку.

— С приездом. Назначаю тебя сержантом в Преображенский полк.

— Ваше величество, я капитан королевской гвардии.

— Плевать мне на твоего короля. Я сам капитан бомбардирской роты. Пойдем обедать, пора: адмиральский час.

В крепости ухнула пушка: полдень.

За царским столом, кроме меня, сидели: князь Меньшиков, генерал полицеймейстер Девьер, два моряка и старый сенатор. Царь много пил и поил других. Жирные кушанья крепко приправлены луком и перцем.

Царь за столом говорил:

— С нашим народом ничего не сделаешь. Он из грубой кожи. В болотных сапогах не спляшешь менуэт. А немцы — вроде атласных туфель. Немцев надо в Россию побольше напустить. На немецких дрожжах взойдет моя империя. Я немцев люблю.

Князь Меньшиков что-то возразил, чего я не понял. Царь рассердился; лицо его исказила страшная гримаса. Он судорожно задергал рукой; из-под стриженых усов вылетело грубое ругательство.

Насчет немцев я с царем согласен. Без нас Россия погибнет.

Перед обедом мы с царем боролись. Кончилось вничью. Он меня поцеловал.

— Только денег не проси, не дам. Самому, брат, надо. А я тебя женю.

При самом конце обеда послышался мелодический легкий звон. Сначала я не мог ничего понять. Шпоры ли это Девьера, чарка звенит о пустую чарку, или усталость и вино у меня в ушах. Не бьют ли часы? Во дворце их много, хрустальных, золотых, бронзовых, деревянных; каждую четверть часа подымается звонкая перекличка. Вдруг в

полудремоте увидел я пеструю вереницу карликов. Они двигались от дверей попарно; на колпаках и на платьях дрожали серебряные бубенчики: от них-то и шел этот гармонический звон. Взявшись за руки, карлики выступали вдоль стола быстро и ровно; каблучки их, мерно выстукивая, отбивали: цок-цок, цок-перецок!

Карликов было двенадцать пар. Ими предводил маршал – круглый как глобус карлик Свинхен, в персидском платье, с жезлом. Свинхен – любимец царя. Ему все подают руку.

Из карлиц красивы только две: Зануда и Мурёха. У Зануды длинное лицо и печальный голос, похожий на жалобный писк степного копчика. Мурёха – круглая, румяная, с громким веселым хохотом.

Явился и шут Балакирев, смуглый, угрюмый и пожилой. Языка его все боятся. Шуток Балакирева я оценить не мог, хотя кое-что мне перевел Девьер. Главную соль его острот составляют грубость и неприличие. Мурёха на коленях у царя хохотала во все горло, а Зануда отворачивалась, краснея.

Обед незаметно сменился ужином. Карлики пели, кувыркались и плясали. Гости затягивали хоровую песню, старый се-натор спал.

Царь, пошатываясь, взял меня под руку и увел в кабинет.

– Ну, Вебер, много я говорить не люблю. У меня – что захочется, то и будет. Женись на ком хочешь, на Мурёхе или на Зануде, это твое дело, только чтобы завтра свадьба.

Хоть я и видел, что царь совершенно пьян, однако принял слова его за шутку и промолчал.

– Так как же? Отвечай прямо.

– Ваше величество, я не могу жениться.

– Не можешь или не хочешь?

– Не мо́гу и не хочу.

– А я могу и хочу заставить тебя насильно. Слышишь, немецкое чучело! Велю связать и так обвенчаю, а потом на цепи продержу лет пять.

– Я не ваш подданный и могу уйти.

– Ступай, попробуй. На тысячу верст все снег да пустыня. Волки, разбойники. А то замерзнешь.

Я увидел себя в ловушке. Царь не отставал. Он сулил мне чины и поместья, обещал милости, деньги, дом. Сватая карлиц, он так описывал их достоинства, что я покраснел до слез.

– А которая больше тебе по нраву?

– Зануда, ваше величество.

– Мурёха лучше. С ней тебе веселее будет. Она и петь и плясать. С Занудой ты, брат, закиснешь.

– Вы мне позволили выбирать.

– Чорт с тобой, бери Зануду. Свадьба завтра. Ну, по рукам.

Зануда мне самому очень нравилась. Что она карлица, так это еще приятней: такую жену можно носить на плече, как птицу, или держать в кармане. Я согласился.

Гостям объявили о помолвке. Зануда с визгом бросилась в угол. Я взял ее на руки и поцеловал. Все нас поздравляли.

– Эй, женись на Мурёхе, – сказал царь, – гляди, как сердится девка. Видно, ты ей по нраву.

Я все надеялся, что царь раздумает или отложит свадьбу. Но этого не случилось. Нас обвенчали за вечерней. Балакирев, взгромоздясь на подмостки, держал надо мной венец с непристойными фигурами, выто-ченными царем из слоновой кости. Позади Зануды стоял Свинхен. На клиросе вместе с карликами пел царь.

Апостола читал князь Меньшиков, но на конце поперхнулся, и царь за это плюнул ему в лицо.

Свадебный пир во дворце шумел до утра. За столом увидел я царицу. Это красивая женщина с двойным подбородком и чер-ными бровями. Пировало много генералов, бояр, сенаторов, моряков. По русскому обычаю то и дело кричали "горько!", и я должен был всякий раз целовать жену. Преображенский оркестр гремел на хорах, карлики пели свадебные песни. Вечер окончился русской пляской.

Квартиру нам отвели в маленьком грязном домике. Каждую неделю выдают продовольствие: муку, баранину, пиво и вино. Когда я заикнулся царю об обещанных наградах, он сделал гримасу.

– Успеешь.

– Ваше величество, провизию нам выдают неисправно.

– У нас все воры. А рвать им ноздри – не напасешься щипцов.

Зануда – плохая жена. Царь прав: лучше бы взять Мурёху. Зануда все плачется и пищит, хозяйничать не умеет и угождать мне не хочет.

Свинхен у нас самый частый гость. С ним вместе приходит жилец его Василий Тредьяковский, некрасивый, но смелый юноша. Он сочиняет стихи.

Свинхен рассказал нам свою историю:

– Я родился у Каспийского моря. Там соленая вода и камыши. Много гусей, лебедей и куликов. Облака там прозрачны, и ветер звенит в ушах. Я сирота. Семь лет мне было, купил меня китаец, добрый ласковый старичок. Он вывез в Китай меня, десяток краснокрылых лебедей и девочку татарку. С ней мы играли, бегали по саду, ели цветы и вишни. Однажды хозяин принес два фарфоровых бочонка без дна и без крышки и посадили нас в них. Я хотел-было выскочить, он засмеялся: успеешь! В бочонке я прожил десять лет. Девочка скоро умерла: она все плакала и ничего не ела, а я привык. Когда бочонок на мне разбили, я выше оттуда карликом.

Свинхен задумался. Жилец его Тредьяковский, хихикая, потер красноватые ладони.

– Со мною был некий случай в бытность мою в училище. Почивать имею я обычай весьма крепко. Ночью однажды пробуждаюсь и – о, страсти! – вижу над головою моей повисшую руку. От ужаса не знаю, что предпринять. Многократно глаза закрываю и открываю – рука все тут. Напоследок отважился: взял ее и потянул. Что ж вижу? Моя собственная рука во сне замлела. Хи-хи.

Рассказ Василия очень понравился Зануде. Долго она смеялась. Тонкий и жалобный смех ее звенел, как стеклянные колокольчики.

Балакирева зимой женили на козе. Шутовской обряд совершал сам

царь. В конце лета Балакирев объявил, что коза родила. Весь двор ходил поздравлять его. Я пришел ровно в полдень. Шут лежал на двуспальной кровати; рядом с ним из-под стеганого одеяла выглядывала белая козья мордочка с позолоченными рогами. В богатой корзине верещал новорожденный. В домике было светло и весело; горели цветные свечи, зеленели березки, украшенные лентами, мягко звенели бубенчики на шутовском колпаке и на рогах у козы. Гости со смехом клали деньги родильнице "на зубок". Я тоже положил рублевик. Балакирев подмигнул и показал мне язык.

— У кого козленок, а у тебя поросенок.

— Почему?

— Потому что Зануда твоя со Свинхеном живет. А Свинхен значит свинья. Вот и принесет тебе дюжину пестреньких к Рождеству.

Не помню, что со мной было. Я выскочил на улицу без шляпы. Очнулся я дома в постели. Царь, засучив рукава, собирался пустить мне кровь.

— Говорил я тебе, дураку, женись на Мурёхе. Сам виноват.

— А где Зануда?

— На том свете. Ты убил ее. Ну, да это твое дело, ты муж, а вот как ты смел избить моего шута!

После мне рассказали, что, исколотив Балакирева до полусмерти, я прибежал домой и на глазах у Тредьяковского ударом ноги убил ни в чем не повинную жену.

Зануду хоронили через неделю. Раньше нельзя было: Балакирев оправлялся медленно, а царю хотелось, чтобы шут непременно участвовал в церемонии. Был серый ненастный день. Впереди погребальной процессии, за взводом преображенцев маршировали рядом царь и я, оба с огромными пестрыми барабанами. Мы дружно выколачивали гулкую однообразную дробь. За нами четыре карлицы несли маленький, вроде шкатулки, красный гробик. За гробом весь обвязанный Балакирев с пластырем на носу; подле позванивала бубенчиками коза в глубоком трауре. Толстая Мурёха с бархатной подушкой; на подушке ключик от гроба. Дальше двадцать траурных карликов на ходулях. Перед ними верхом на разззолоченном осле Свинхен, позади всех Тредьяковский, на свинье.

С утра провожатые были пьяны. Заморосил дождь. Карлики галдели, валились с ходуль, бранясь, и влезали снова. Раза два гроб роняли в грязь. Вот, наконец, и кладбище.

Гроб поставили на носилки. Солдаты принесли ушат с водкой; стало повеселее. Карлики окружили раскрытую могилу, и Мурёха, махнув платком, жалобно затянула:

Уж ты свет наша любимая подруженька,
Раскрасавица-красавица-Занудынька,
На кого ты сиротинушек нас покинула,
Овдовила муженька бесчастного?
Не видать тебе, Занудынька, солнца красного.

Хор, приплясывая, с карканьем и свистом грянул:

Галка в поле вылетала,
За овином помирала;
Стали галку хоронить,
В большой колокол звонить.
Галки, галки мои,
Воронята, вороняточки мои!
На погосте зазвонили,
На могиле завопили.
Ох, ты батюшка-орел,
Что ты крылышки развел?
Галки, галки мои,
Воронята, вороняточки мои!
Что ты, батюшка, не весел,
Что головушку повесил?
Как у нашего орла
Две головки, два крыла.

Царь, шатаясь, запер гроб на ключ. Пьяные пальцы не слушались, попадая мимо.

– Ну, поцелуйтесь с Балакиревым. Мир вам.

Я обнял обвязанного шута. Тот криво усмехнулся.

– Здоров ты драться, брат Карла. Не хуже царя. Молодец. Только царь дубиной отвозит, да потом шубу либо червонец подарит. А ты что дашь?

– Бери женины платья и уборы.

Балакирев поклонился мне в пояс.

– Спасибо. Козе пригодится.

Могилу завалили. Тредьяковский прочитал стихи:

Коварству и злобе счастие здесь завистно.
Оных не ведать потщимся ныне и присно.
Петровым щедротам конца на земле не буди.
Многая лета Карлу, вечный покой Зануде.

– А теперь женись на Мурёхе, – сказал мне царь.

Я попятился. Мурёха от ужаса села в лужу.

– Не бойтесь, я пошутил. Ха-ха! Эй, водки!

Дождь полил сильней. Под его косыми холодными струями грязные карлики прыгали и кривлялись. Мурёха на могиле, приподняв платье, визжала. Балакирев сидел верхом на Тредьяковском, царь целовался с козой. Потом, спотыкаясь и падая, заплелся над могилой непристойный хоровод.

На погосте зазвонили,
На могиле завопили,
Как у нашего орла
Две головки, два крыла!

Альфостин де Кюстин

Россия в 1893

Письмо четырнадцатое
Петербург, 22 июля 1839 года

Если верить на слово русским – большим патриотам, то населения в Петербурге четыреста пятьдесят тысяч душ, не считая гарнизона; но люди знающие и, следственно, почитаемые здесь злонамеренными, заверяют меня, что оно не достигает и четырехсот тысяч вместе с гарнизоном. Верно одно: сей дворцовый город с его необъятными пустыми пространствами, какие именуются площадями, напоминает разгороженное дощатым забором поле. В кварталах, удаленных от центра, преобладают маленькие деревянные домишки.

Русские – выходцы сообщества племен, которые долгое время были кочевниками и всегда отличались воинственностью; они еще не вполне позабыли бивуачную жизнь. Все народы, недавно переселившиеся из Азии в Европу, стоят в ней лагерем, словно турки. Петербург – это армейский генеральный штаб, а не столица нации. Как бы ни был великолепен этот военный город, в глазах западного человека он выглядит голым.

Расстояния – бедствие России, сказал мне император; справедливость этого замечания можно проверить прямо на петербургских улицах: по ним разъезжают в карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером и форейтором, и отнюдь не из любви к роскоши. Нанести визит здесь означает совершить целую поездку.

Русские лошади, нервные и полные огня, уступают нашим в мускульной силе; скверная мостовая их утомляет, двум лошадям было бы трудно тянуть долгое время по петербургским улицам обычную карету; так что четверня есть предмет первой необходимости для всякого, кто хотя бы изредка хочет выезжать в свет.

Право иметь карету с четверкой лошадей получают не все местные жители; это дозволено лишь особам, достигшим определенного положения.

Не успев удалиться от центра города, вы теряетесь среди пустырей, по краям которых стоят бараки, возведенные, как кажется на первый взгляд, для временных рабочих, что собраны тут на какой-то большой стройке. Это фуражные амбары, сараи с одеждой и всякого рода припасами для солдат; чувствуешь себя тут как в минуты смотра или накануне ярмарки, которая не начнется никогда. Так называемые улицы эти заросли травой, они всегда пустынны, ибо чересчур просторны для передвигающегося по ним населения.

Столько здесь пристроили к домам перистилей, сколько портиков украшают казармы, выдающие себя за дворцы, такой пышностью заемного убранства отмечено было возведение этой временной столицы, что на площадях Петербурга я чаще встречаю колонны, чем людей; эти площади всегда молчаливы и печальны – по причине обширности своей, и главное, непогрешимой правильности. Угольник и шнур настолько отвечают взгляду на мир абсолютных монархов, что прямые углы суть краеугольный камень деспотической архитектуры. Архитектура живая, если можно так выразиться, возникает не по приказу; она, так сказать, родится из себя самой и проистекает из гения и потребностей народа как будто без участия воли. Создать великую нацию непременно означает и дать начало определенной архитектуре; не удивлюсь, если в конце концов будет доказано, что неповторимых архитектур столько же, сколько естественных языков.

Впрочем, не одни только русские одержимы симметрией. У нас она – наследие империи. Не будь французские архитекторы заражены этим дурным вкусом, мы бы давно уже имели разумный план, как нам украсить и завершить чудовищную площадь Каррузель; но потребность в параллельных линиях стопорит все.

Когда гениальные художники один за другим, соединяя усилия, превращали площадь Грандука во Флоренции в одно из прекраснейших на свете мест, их не тиранила страсть к прямым линиям и симметричным памятникам, они понимали прекрасное в свободных его проявлениях, вне прямоугольников и квадратов. Строительство Петербурга было подчинено математически точному глазомеру – за отсутствием художественного чувства и свободных творений фантазии, что научаются на народных задатках и воспроизводят их. И потому, проезжая по этой родине бесталанных памятников, нельзя ни на миг забыть, что город сей – порождение одного человека, а не целого народа. Замысел его кажется узким, хотя все размеры в нем громадны: это оттого, что приказу подчиняется все, кроме благодати, сестры воображения.

Главная улица Петербурга – Невская проспектива, один из трех проспектов, что ведут к дворцу Адмиралтейства. Три эти линии, расходясь лучами, делят город с юга на пять правильных частей и придают ему, подобно Версалю, форму веера. Город частично моложе порта, возведенного возле островов Петром I, и, невзирая на железную волю своего основателя, простерся и на левом берегу Невы; на сей раз страх перед наводнением пересилил страх оказать непослушание, и тирания природы одержала победу над деспотом.

Невский проспект заслуживает того, чтобы я вам описал его достаточно подробно. Это красивая улица длиною в лье и шириною с наши бульвары; кое-где на ней посажены деревья, такие же чахлые, как в Париже, здесь гуляют и назначают свидания все праздные гуляки города. По правде сказать, таких немного, ибо ходят тут вовсе не ради того, чтобы ходить: каждый шаг каждого из прохожих имеет свою, не связанную с удовольствием цель. Передать приказ, засвидетельствовать свое почтение, оказать повиновение господину, кто бы он ни был, – вот мотивы, приводящие в движение большую часть населения в Петербурге и во всей империи.

Мостовой на этом бульваре, именуемом проспективой, служат отвратительные круглые булыжники. Но здесь, равно как и на некоторых других главных улицах города, по крайней мере вделаны между камней деревянные плашки, по которым катятся колеса экипажей; сии отменные пути на уровне мостовой образуются из мозаики глубоко забитых еловых кубиков, а иногда восьмиугольников. Каждый путь состоит из двух полос в два-три фута шириною, разделенных обычными булыжниками, по которым ступает коренник; два таких пути, то есть четыре деревянные полосы, проложены вдоль Невского проспекта, один справа, другой слева, в отдалении от домов, которые отделены от них еще и рядом плит; каменные площадки эти служат тротуарами для пешеходов, прекрасными дорожками для гулянья, ничего общего не имеющими с убожеством дощатых тротуаров, какие и поныне позорят некоторые удаленные улицы. Итак, четыре линии плиток ведут по этому прекрасному, обширному проспекту, который, становясь незаметно все безлюднее и, соответственно, все уродливее и печальнее, продолжается до неопределенных пределов жилого города, то есть до самой границы азиатского варварства, от века осаждающего Петербург, – на оконечности самых роскошных его улиц непременно обнаружишь пустыню. Чуть дальше Аничкова моста вам попадается улица под названием Елогная, которая ведет к пустыне, именуемой "Александровская площадь". Сомневаюсь, чтобы император Николай хоть раз в жизни видел эту улицу. Пышный город, возведенный Петром Великим, украшенный Екатериной II, протянутый прямо, как стрела, всеми прочими государями через болотистую, вечно затопляемую песчаную равнину, в конце концов теряется в ужасающей мешанине лавок и мастерских, среди груды безымянных зданий и обширных, непрочерченных площадей; из-за беспорядков в природе и врожденной

нечистоплотности народа, живущего в этой стране, площади эти последние сто лет загромождены обломками всякой всячины и нечистотами любого свойства. Вся эта дрянь год за годом копится в русских городах, оспаривая притязания немецких государей, что кичатся, будто воистину послужили просвещению славянских народов. Сколь бы ни был извращен первоначальный характер этих народов навязанным им игом, он обязательно скажется хоть где-нибудь в уголке их городов, принадлежащих деспотам, и домов, принадлежащих рабам; да если и есть у них тоже вещи, какие называются городами и домами, то не потому, что эти вещи им нравятся или они ощущают в них нужду, но потому, что им говорят: их надобно иметь, либо, скорее, терпеть, дабы шагать в ногу с древними цивилизованными расами Запада; а главное, потому, что коли вздумается им спорить с людьми, которые по-военному наставляют их и ведут за собой, то люди эти, капралы и педагоги одновременно, погонят их кнутом обратно на азиатскую родину. Бедные экзотические птицы, оказавшиеся в клетке европейской цивилизации, они – жертвы мании или, вернее сказать, глубоко рассчитанных устремлений четолюбцев-царей, грядущих завоевателей мира: те прекрасно знают, что прежде чем нас покорить, нам следует подражать во всем.

Калмыцкая орда, что разбила лагерь в лачугах, окружив скопление античных храмов; греческий город, спешно возведенный для татар, словно театральные декорации, декорации блистательные, но безвкусные, призванные обрамлять собою подлинную и ужасную драму, – вот что сразу же бросается в глаза в Петербурге.

Я писал уже о бедных деревьях, обреченных служить украшением Невскому проспекту; несчастные, чахлые березки едва живы и скоро будут являть зрелище не менее жалкое, чем вязы на бульварах и Елисейских полях в Париже, которые медленно угасают на наших глазах, сраженные прямо в сердце лавочниками, в чьих лавках они застят свет, иссушенные газом и наполовину погребенные под асфальтом; горестная эта картина предстает каждое лето перед завсегдатаями Тортони и олимпийского цирка. Удел петербургских деревьев ничем не лучше: летом их разъедает пыль, зимой застилает снег, а потом оттепель сдирает с них кору, подрезает ветви и корни.

Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа – прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы. В этом триумфе подражательства больше ремесла, нежели искусства: здесь то же различие, как между гравюрой и рисунком. Дар гравера проявляется только через чужие идеи.

Говорят, ни один чужестранец не в силах представить себе вздыбленные улицы Петербурга во время таяния снегов. Нева, вскрывшись, две недели несет громадные льдины; все мосты тогда разведены, всякое сообщение между двумя основными частями города на несколько дней прерывается, многие кварталы бывают отрезаны. Мне рассказывали, как из-за невозможности в те бедственные дни

послать за врачом одно значительное лицо скончалось. Улицы в этот период напоминают русла бурных потоков, и всякий год наводнение, схлынув, оставляет на них баррикады. Мало какой политический кризис сумел бы причинить столько бедствий, как этот периодический бунт природы против ущербной и невозможной цивилизации.

С тех пор как мне описали петербургскую оттепель, я перестал бранить мостовые, пусть и никуда не годные, – ведь их приходится восстанавливать каждый год. Воистину это торжество человеческой воли – одиннадцать месяцев в году разъезжать в карете по городу, над которым так основательно потрудились полярные зефиры.

После полудня по Невскому проспекту, большой Дворцовой площади, по набережным и мостам движется довольно много карет всякого рода и самых необычных форм; их перемещение слегка оживляет этот обычно тоскливый город, самую однообразную из европейских столиц. Она в точности копирует какую-нибудь германскую столицу, только в более крупном масштабе.

Внутреннее убранство жилищ тоже тоскливо: несмотря на роскошную обстановку, что вся, на английский лад, громоздится в нескольких комнатах, отведенных для приемов, в темноте дома смутно виднеется и грязь, и исконный, неистребимый беспорядок – напоминание об Азии.

Из домашней мебели меньше всего в ходу у русских кровать. Женская прислуга спит на полатях, похожих на те, какие существовали когда-то во французских привратницких, а мужчины валяются по ночам на полу, на подушках, брошенных на лестнице, в передней и даже, говорят, в гостиной.

Нынче утром был я с визитом у князя [xxx]. Он знатный вельможа, при этом разорен, увечный, больной и страждущий водянкой; он настолько немощен, что не в силах подняться, и однако ж лечь ему некуда – я хочу сказать, у него нет того, что в странах с давнишней цивилизацией называется кроватью. Живет он в доме сестры, которая теперь в отлучке. Совсем один в недрах пустынного дворца, он проводит ночи на деревянной лавке, поверх которой положен ковер и несколько подушек. Отнести это на счет прихотливого вкуса данного человека невозможно: во всех русских домах, где случалось мне бывать, я видел, что ширма так же необходима для постели славян, как мускус – для них самих, ибо она отличается той же глубинной нечистоплотностью, отнюдь не всегда исключающей внешний лоск. Иногда здесь заводят парадную кровать, предмет роскоши, который выставляют напоказ в угоду европейской моде, но которым никогда не пользуются.

В жилищах у некоторых русских, которым присущ изысканный вкус, встречается особенное украшение – искусственный садик в углу гостиной. Три длинных ящика с цветами отгораживают одно из окон, и образуется зала из зелени (altana), нечто вроде беседки наподобие садовой. Над ящиками сооружен штакетник или перила в высоту человеческого роста, из дорогого или позолоченного дерева. Этот

маленький открытый будуар оплетен плющом и другими вьющимися растениями; они, карабкаясь вверх по решетке, приятно выглядят посреди обширного, сверху донизу позолоченного и заставленного мебелью помещения: в блестящем салоне глаз отдыхает на островке зелени и свежести, а они в этой стране роскошь. Там восседает у стола хозяка дома, подле нее виднеются несколько стульев – два-три человека самое большее могут одновременно зайти в это убежище, не слишком удаленное, но достаточно укромное, чтобы дать простор воображению.

Мне показалось, что этот своеобразный комнатный боскет выглядит приятно, а идея его разумна для страны, где всякий личный разговор должен оставаться втайне. Полагаю, что обычай этот перенесен из Азии.

Я не удивлюсь, если искусственный сад из русских гостиных однажды обнаружится в каком-нибудь парижском доме. Он бы не повредил убранству в жилищах самых модных теперь во Франции государственных дам. Я был бы рад этому нововведению – уже из одного только желания насолить англоманам, которым никогда не прощу зла, причиненного хорошему вкусу и истинно французскому духу.

У славянина, когда он красив, тонкий, изящный стан, от которого, однако, веет силой; у них у всех миндалевидный разрез глаз, а взгляд бегающий и плутоватый, азиатский. Глаза могут быть и черные, и голубые, но они всегда прозрачны и отличаются живостью, переменчивостью и большим обаянием, ибо умеют смеяться.

Народ этот серьезен больше по необходимости, чем от природы, и осмеливается смеяться не иначе как глазами; но взгляд, одушевленный молчанием, обретает силу подавленных слов и восполняет недостаток красноречия – столько страсти придает он лицу. В нем почти всегда светится ум, иногда кротость и покой, чаще – тоска, доходящая до свирепости; чем-то он напоминает взгляд попавшего в западню зверя.

Люди эти – прирожденные возницы; в них, как в лошадях, которыми они правят, чувствуется порода; благодаря их необычному облику и легкому бегу их животных бродить по петербургским улицам весьма занятно. Так что город этот не похож ни на один из европейских городов по милости своих жителей – и вопреки архитекторам.

Русские кучера держатся на сиденьях очень прямо; лошадей они всегда пускают шибко, но правят уверенно, хоть и грубовато: у них на удивление точный и быстрый глаз; и в паре, и в четверне они всегда держат по две вожжи от каждой лошади и сжимают их крепко, обеими руками, вытянув их вперед и отставив весьма далеко от туловища; никакое препятствие их не остановит. Полудикие люди и животные мчатся по улицам города с пугающе бесшабашным видом; но природа наделила их проворством и ловкостью, и уличные происшествия в Петербурге редки, несмотря на крайнее удальство кучеров. Зачастую у них нет кнута, а когда и есть, то такой короткий, что пользоваться им невозможно. Не управляют они и голосом, а действуют только

вожжами и удилами. Вы можете часами бродить по Петербургу и ни разу не услышать крика. Если пешеходы не спешат посторониться, форейтер (ямщик, который в четверне садится на переднюю *правую лошадь*) испускает короткий визг, вроде пронзительных воплей сурка, поднятого в норе; заслышав этот угрожающий звук, что означает: "Посторонитесь!", все расступаются, и вот уже карета, словно по волшебству, промчалась дальше, не замедлив ходу.

Экипажи здесь почти всегда безвкусны и дурно содержатся; в них, скверно вымытых, скверно выкрашенных и еще более скверно покрытых лаком, нет подлинного изящества; если кто заводит английскую карету, она недолго выдерживает петербургские мостовые и побежку русских лошадей. Их сбруя, прочная, легкая и приятная на вид, сделана из отменной кожи; в общем, несмотря на нерадивость конюхов и недостаток воображения у рабочих, все вместе экипажи имеют вид своеобразный и живописный, каковой в известной мере искупает отсутствие тщательного ухода за ними, о котором так пекутся в других странах; поскольку же вся знать выезжает непременно четверней, то придворные церемонии выглядят весьма пышно, даже если глядеть на них с улицы.

В ряд четверку лошадей запрягают только для путешествий и длинных загородных поездок; в Петербурге лошади всегда идут попарно; постромки у них непомерной длины; мальчик, направляющий передних лошадей, одет, равно как и кучер, по-персидски — впрочем, одеяние это, называемое "армяк", подходит только для того, кто сидит на козлах, верхом на лошади в нем неудобно; но несмотря на этот изъян в одежде, русский форейтер проворен и смел.

Не в моих силах описать, сколь серьезны, молчаливо горды, ловки и невозмутимо безрассудны эти славянские плутишки; всякий раз, гуляя по городу, радуюсь я их дерзости и сноровке — потому и пишу о них часто и в подробностях; наконец, они выглядят счастливыми — а здесь это встречается реже, чем в других странах.

Испытывать удовлетворение от хорошо исполненного дела есть свойство человеческой природы; русские кучера и форейторы, самые ловкие в мире, могут быть довольны своим положением, весьма, впрочем, тяжелым.

Нужно еще добавить, что те, кто состоит в услужении у знатных особ, пекутся об изяществе своего облика и имеют ухоженный вид, но наемные лошади и убогие водители их будят во мне сострадание — настолько тяжка их жизнь: с утра до вечера остаются они на улице, у ворот своего нанимателя, либо на отведенных полицией местах. Лошадей не распрягают, и кучера всегда сидят на облучке, там же и едят, не отлучаясь ни на минуту. Бедные лошади!.. людей мне жаль меньше — русский находит вкус в рабстве. Корм и воду лошадям задают в переносных колодах, поставленных на козлы; так что заказывать карету нет нужды: всякий раз, как вы пожелаете куда-нибудь выехать, вы найдете ее уже готовой.

Подобную жизнь, однако, кучера ведут только летом; на зиму для

них на самых людных площадях сооружены сараи. Вокруг этих убежищ, поблизости от театров, дворцов и всех тех мест, где бывают празднества, разводятся большие костры, у которых греется прислуга; однако ж в январе месяце ни один бал не обходится без того, чтобы ночью один-два человека не замерзли на улице насмерть; самые меры предосторожности не столько позволяют отвести опасность, сколько свидетельствуют о ее наличии, а упрямое отпирательство русских служит для меня подтверждением правдивости факта, о котором я вас сообщаю.

Одна женщина, которую я настойчиво расспрашивал на сей предмет, оказалась откровеннее других и отвечала: "Возможно, но мне никогда не доводилось об этом слышать". Такое отпирательство стоит ценного признания. Надо побывать здесь, чтобы узнать, какие размеры может принимать презрение богатого человека к жизни бедняка, и понять, насколько малую ценность вообще имеет жизнь в глазах человека, обреченного жить при абсолютизме.

В России жить трудно всем; император здесь привычен к усталости не меньше последнего из крепостных. Мне показали его постель – наши землепашцы подивились бы жесткости этого ложа. Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину – что цель жизни лежит не на земле и удовольствие не тот способ, каким возможно ее достигнуть.

Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования – труде и страдании! В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному отечеству, освященной верой в отечество небесное.

Временами посреди публичного гулянья случается мне повстречать несколько зевак, которые заставляют меня впасть в заблуждение и поверить, будто в России, как и повсюду, есть, может статься, люди, что развлекаются ради развлечения, люди, для которых удовольствие – тоже занятие в жизни; но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге. Фельдъегерь есть человек власти; он – слово господина; он – живой телеграф, что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих; сей второй автомат ожидает его в сотне, тысяче, полутора тысячах лье в императорских владениях. Телега, на какой пускается в путь железный человек, – самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются все большие дороги, которые до сих пор начинали прокладывать сквозь эту смутную и дикую империю. Передняя скамейка предназначена форейтеру или кучеру, что сменяют один другого на каждом перегоне, задняя – курьеру, что путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжкое ремесло, наступает рано.

Я вижу, как мчатся они во всех направлениях по прекрасным городским улицам, и в воображении моем тотчас возникают безлюдные просторы, в которые им предстоит углубиться; мысленно я следую за ними, и в конце их пути является мне Сибирь, Камчатка, солончаки, Китайская стена, Лапландия, Ледовитое море, Новая Земля, Персия, Кавказ; названия эти, исторические, почти сказочные, действуют на ум мой так же, как теряющийся в дымке отдаленный пейзаж; но представьте себе, сколь удручена бывает душа мечтаниями подобного рода!.. И тем не менее эти глухие, слепые и немые курьеры появлением своим не устают доставлять воображению чужестранца поэтическую пищу. Человек, рожденный, чтобы жить и умереть в своем возке, и чей портфель содержит в себе судьбы мира, уже сам по себе сообщает печальный интерес мельчайшим жизненным сценкам; перед лицом таких страданий и такого величия в мыслях не остается места для прозы. Деспотизм делает несчастными народы, которые подавляет; но нельзя не признать, что изобрели его для удовольствия путешественников, каковых он всечасно повергает в удивление. При свободе все предается огласке — и забвению, ибо взгляд не задерживается ни на чем; при абсолютистском правлении все скрыто от глаз, но все угадывается, и отсюда родится живой интерес — запоминаешь и примечаешь ничтожнейшие обстоятельства, всякая беседа движима подспудным любопытством и обретает большую остроту благодаря тайне и благодаря даже отсутствию внешней занимательности; ум здесь укрыт вуалями, как мусульманская красавица; пусть жители страны с подобным образом правления не могут веселиться от чистого сердца, зато чужестранец здесь не может скучать с чистой совестью. Чем меньше возможности судить о сущности вещей, тем больше интереса должна вызывать их внешняя оболочка. Сам я чересчур много думаю о том, чего не могу увидеть, чтобы вполне удовлетвориться тем, что вижу; и все же зрелище это хоть и огорчает меня, но кажется захватывающим.

У России нет прошлого, говорят любители древности. Это так, но будущее и простор дают здесь пищу самому пылкому воображению. У философа в России жалкая участь, поэту же здесь может и должно нравиться.

Воистину несчастны лишь те поэты, кто обречен чахнуть при режиме гласности. Когда все могут говорить все, поэту остается только умолкнуть. Поэзия есть таинство, позволяющее выразить нечто большее, чем слова; ей нет места у народов, утративших стыдливость мысли. Истина в поэзии — это видение, аллегория, апология; но в странах, где царит гласность, истину эту убивает реальность, которая всегда слишком груба с точки зрения фантазии. Гению там недостает поэтичности: он продолжает творить, исходя из природы своей, но неспособен сотворить ничего завершенного.

В душу русских, народа насмешливого и меланхолического, природа, должно быть, вложила глубокое чувство поэтического — ведь им удалось придать неповторимый и живописный облик городам,

построенным людьми, что были начисто лишены воображения, к тому же в самой унылой, однообразной и голой стране на свете. Нескончаемые равнины, мрачное, плоское безлюдье – вот что такое Россия. Но когда б я мог показать вам Петербург с его улицами и обитателями таким, каким он предстает передо мной, я бы в каждой строчке описывал жанровую сценку, – столь мощно восстал славянский национальный гений против бесплодной одержимости своего правительства. Это антинациональное правительство продвигается вперед только посредством военных эволюций – оно вызывает в памяти Пруссию при ее первом короле.

Я описал вам город, лишенный собственного лица, скорее пышный, нежели величавый, не столько красивый, сколько обширный, набитый безвкусными зданиями, что не имеют ни стиля, ни исторической ценности. Но для полноты, то есть правдивости картины, следовало бы одновременно представить вашему взору людей, передвигающихся в этом претенциозном и смешном обрамлении, людей от природы изящных, что, повинуясь своему восточному гению, сумели освоить город, который выстроен был для несуществующего народа, – ибо Петербург создавали люди богатые, чей ум сложился благодаря сравнению различных европейских стран, но не глубокому изучению их. Этот легион путешественников, более или менее утонченных, не столько ученых, сколько набравшихся опыта, являл собою искусственную нацию, подбор образованных, быстрых умов, привлеченных из всех существующих на свете наций; то не был русский народ – русский народ лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом; он суеверен, хвастлив, отважен и ленив, словно солдат; он поэтичен, музыкален и рассудителен, словно пастух, – ибо обычаи кочевых рас еще долго будут господствовать меж славян; все это не согласуется ни со стилем зданий, ни с расположением петербургских улиц; архитектор тут явно оторван от жителя. Европейские инженеры прибыли сюда учить московитов, как им возвести и отделать столицу, достойную восхищения Европы, а те, привыкнув к военному послушанию, подчинились силе приказа. Петр Великий построил Петербург не так ради русских, как, в гораздо большей мере, против шведов; однако естество народа нашло себе выход, невзирая на почтение к прихотям повелителя и недоверие к самому себе; именно эта непроизвольная непокорность и наложила на Россию печать неповторимости: изначальный характер ее жителей оказался неистребим; это торжество врожденных свойств над дурно направленным воспитанием – зрелище любопытное для вского путешественника, способного его оценить.

Счастье для живописца и для поэта, что русские в высшей степени набожны: по крайней мере их церкви принадлежат только им; незыблемость формы религиозных зданий составляет часть культа, и суеверие обороняет эти богоугодные крепости против мании выстраивать математические формулы из тесаного камня, прямоугольников, плоскостей и прямых линий, – иначе говоря, против

архитектуры не столько классической, сколько военной; из-за нее любой город в этой стране имеет вид походного лагеря, разбитого на несколько недель, пока продолжаются большие маневры.

Кочевнический дух равно дает о себе знать в русских повозках, каретах, упряжи и сбруе. Вообразите себе целые рои, тучи дрожек, что катятся, едва не задевая днищем мостовую, среди весьма приземистых домов, над которыми, однако, высятся шпили множества церквей и нескольких знаменитых исторических зданий; все это в целом если не красиво, то во всяком случае удивительно. Позолоченные или крашеные иглы ломают уныло-ровные линии городских крыш; острия их, пронзающие небо, столь тонки, что глаз с большим трудом различает точку, в которой позолота их гаснет в тумане полярного поднебесья. Самые примечательные из них – шпиль крепости, корня и колыбели Петербурга, и шпиль Адмиралтейства, одетый в золото голландских дукатов, что были подарены царю Петру республикой Соединенных Провинций. По высоте и дерзновенности эти монументальные плюмажи, копирующие, говорят, те азиатские уборы, какие украшают здания в Москве, представляются мне поистине необычайными. Невозможно понять, ни каким образом они держатся в воздухе, ни как их там установили; это истинно русское украшение. И вот представьте себе несметное число соборов о четырех колоколенках, какие одолжаются у нынешних греков при возведении любой церкви. Вообразите множество куполов – посеребренных, золоченых, лазурных, звездчатых, и крыши домов, покрытые изумрудной или ультрамариновой краской; площади, украшенные бронзовыми статуями в честь главных исторических деятелей и императоров России; поместите картину эту в раму громадной реки, что в ясные дни служит зеркалом для всех предметов, а в бурные – выгодным контрастом для них; прибавьте к этому понтонный Троицкий мост, переброшенный через Неву в самом широком ее месте, между Марсовым полем, в просторах которого теряется статуя Суворова, и крепостью, где в скромных могилах без всяких украшений покоятся Петр Великий с семейством [1]; припомните, наконец, что гладь неизменно полноводной Невы лежит вровень с землей и едва обтекает остров посередине города, обрамленный со всем сторон зданиями с греческими колоннами и гранитным фундаментом, что возведены по рисункам языческих храмов; и если вам удастся охватить взором весь ансамбль Петербурга, вы поймете, почему это город бесконечно живописный, несмотря на свою заемную, дурного вкуса архитектуру, несмотря на болотистый оттенок подступающих к нему полей, несмотря на совершенно плоский, не знающий холмов ландшафт и бледность ясных летних дней в тусклом климате Севера.

Река, почти неподвижная на подступах к устью, где море зачастую заставляет ее остановиться совсем или даже повернуть вспять, придает особое своеобразие этой сцене.

---

[1] По греческому обряду скульптуры в церквах запрещены.

Не нужно уличать меня в противоречиях, я заметил их прежде вас, но не хочу их избегать, ибо они заложены в самих вещах; говорю это раз и навсегда. Как еще дать вам реальное представление обо всем, что я описываю, если не противоречить самому себе на каждом слове? Когда бы я был не так откровенен, то казался бы вам более последовательным; подумайте же о том, что истина и в физическом, и в нравственном мироустройстве есть лишь совокупность контрастов столь кричащих, что можно вообразить, будто природа и общество только для того и созданы, дабы скрепить элементы, которые иначе непременно возненавидели бы и взаимно исключили друг друга.

Ничего нет печальнее полуденного петербургского неба; но хотя день в этих широтах неяркий, вечер и утро здесь великолепны: на твоих глазах в воздухе и на зеркальной поверхности почти безбрежных, сливающихся с небом вод распространяются какие-то снопы света, огненные букеты и струи, подобных которым мне еще нигде не случалось видеть.

Сумерки продолжаются здесь три четверти человеческой жизни и богаты на дивные неожиданности; летнее солнце, около полуночи скрывшись на миг под водой, долго плавает на горизонте на уровне Невы и окаймляющих ее низин; от него разливается кругом зарево пожара, способное и самую скудную природу сделать прекрасной; зрелище это внушает не восторг, какой рождают краски пейзажей в жарком поясе, но мечтательное влечение, неодолимую тягу сновидения, полного воспоминаний и надежд. Прогулка на островах в этот час — подлинная идиллия. Конечно, этим ландшафтам, чтобы превратиться в прекрасные, с хорошей композицией картины, многого недостает, но власть природы над воображением человека сильнее власти искусства; непорочный ее вид во всех климатических зонах отвечает потребности в восхищении, которую человек носит в душе — и возможно ли ему найти лучшее направление для своего чувства? Пусть даже Господь свел землю в окрестностях полюса до совершенно плоской и голой поверхности, — все равно, невзирая на скудость ее, зрелище творения неизменно пребудет для взора человеческого красноречивейшим проявлением замыслов Творца. Разве плешивые головы по-своему не красивы? что до меня, то ландшафты в окрестностях Петербурга представляются мне более чем прекрасными: они отмечены возвышенной печалью и по глубине впечатления ничем не уступают самым знаменитым пейзажам на свете с их роскошью и разнообразием. Они — не парадное, искусственное произведение, какая-нибудь приятная выдумка, они — глубины безлюдья, безлюдья грозного и прекрасного, как смерть. Вся Россия, от края до края своих равнин, от одного морского побережья до другого, внимает Божьему гласу, который обращается беспрепятственно к человеку, возгордившемуся ничтожным великолепием жалких своих городов, и говорит ему: Тщетны твои труды, тебе не превзойти меня! Таков уж результат наших забот о бессмертии: более всего занимает жителя земли то, что рассказывает ему о чем-то ином, нежели земля.

Удивительно, какой мощной врожденной одаренностью наделены нации: на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские – знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы – и что же? смешная фантазия государей и придворных не помешала народу остаться самобытным . Раса эта умна и по природе своей слишком утонченна, слишком тактична и деликатна, чтобы слиться когда-нибудь с тевтонскими народами. Буржуазная Германия и поныне более чужда России, нежели Испания с ее народами арабских кровей. Медлительность, тяжеловесность, грубость, пугливость, неловкость претят славянскому духу. Месть и тирания для славян легче переносимы; самые добродетели германцев русским ненавистны; а потому русские, несмотря на жестокую религиозную и политическую вражду с Варшавой, за немногие годы сильнее продвинулись в общественном мнении ее, нежели пруссаки со всеми их редкими и основательными достоинствами, какими отличается тевтонская раса; я не говорю, что это благо, я просто отмечаю сам факт: все братья не любят друг друга, но все друг друга понимают.

Что же до некоторого сходства, какое, кажется мне, я нахожу между русскими и испанцами, то оно объясняется связями, которые изначально могли возникнуть между арабскими племенами и отдельными ордами, что двигались через Азию на Московию. Мавританская архитектура в чем-то соотносится с византийской, образцом для истинно московской архитектуры. Гений азиатских народов, бродивших по Африке, вряд ли мог быть противен гению других восточных наций, только что осевших в Европе; история объясняется успешным влиянием рас друг на друга, и это общественная неизбежность, подобно тому как человеческий характер есть неизбежность личная.

Когда бы не различие религий и не несходство в нравах народов, мне бы казалось, что я нахожусь на какой-нибудь из самых возвышенных и самых бесплодных равнин Кастилии. По правде сказать, жара тут стоит африканская; за последние два десятка лет в России не припомнят такого знойного лета.

Несмотря на тропическое пекло, я вижу, как русские уже запасаются дровами. Лодки, груженные березовыми поленьями – единственным топливом, какое здесь в ходу, ибо древесина дуба считается роскошью, – загромождают бесчисленные широкие каналы, что пересекают во всех направлениях этот город, построенный по модели Амстердама: один из рукавов Невы течет по центральным улицам Петербурга; зимой вода его скрыта под снегом, а летом – под бесчисленными лодками, теснящимися вдоль набережных, чтобы выгрузить привезенные припасы на берег.

Дрова уже заранее распилены на коротенькие полешки; из лодок их перекладывают на довольно необычные повозки, простые до примитивности. Они состоят из двух жердей, образующих оглобли и предназначенных для соединения передней и задней оси; эти длинные

жерди близко сдвинуты – колея у повозки узкая, – и на них нагружают в ряд поленья, возводя из них нечто вроде стены высотой в семь-восемь футов. Со стороны это громоздкое сооружение похоже на движущийся дом. Дрова на повозке связывают цепью, и если она тряской мостовой расходится, то возница по ходу дела стягивает ее веревкой и палкой, которую использует в виде защелки, – причем не останавливая лошади и даже не замедляя ее бега. Видишь, как человек повисает на своем штабеле дров, стараясь с силой пригнать друг к другу все его части, – словно белка, что качается на веревке в клетке или на ветке в лесу; и покуда длится эта безмолвная операция, дровяная стена продолжает безмолвно двигаться своим путем по улице, не встречая никаких препятствий, ибо при здешнем суровом правительстве все происходит без потрясений, без слов и без шума. Ведь страх внушает человеку расчетливое благодушие, более неколебимое и надежное, нежели природная кротость.

Я ни разу не видел, чтобы хоть одна из этих шатких построек рухнула во время опасных и зачастую долгих переездов, какие она совершает через весь город.

Русский народ безмерно ловок: ведь эта людская раса вопреки завету природы оказалась вытолкнута к самому полюсу из-за человеческих революций и задержалась там из политических потребностей. Тот, кто сумел бы глубже проникнуть в промыслы Провидения, возможно, пришел бы к выводу, что война со стихиями есть суровое испытание, которому Господь пожелал подвергнуть эту нацию, избранную им, дабы однажды быть вознесенной над многими иными. Борьба – это школа Провидения.

Топливо в России становится редкостью. Дрова в Петербурге не дешевле, чем в Париже. Тут есть дома, отопление которых за зиму обходится в девять-десять тысяч франков. Глядя, как расточительно вырубаются леса, с тревогой задаешься вопросом, чем будет обогреваться следующее поколение.

Простите за шутку: мне часто приходит в голову, что было бы весьма предусмотрительно со стороны народов, наслаждающихся прекрасным климатом, поставлять русским из чего им разводить у себя добрый огонь. Тогда бы они меньше жалели о солнце.

Повозки, назначенные для вывоза городских нечистот, малы и неудобны; человек и лошадь, имея подобное приспособление, мало что могут сделать за день. Русские проявляют обыкновенно свою сообразительность не столько в старании усовершенствовать дурные орудия труда, сколько в разных способах использовать те, что у них есть. В них мало развита изобретательность, и чаще всего им не хватает механизмов, приспособленных для достижения нужной цели. Народ этот при всем его изяществе и талантах начисто лишен творческого гения: русские и в этом – северные римляне. И те, и другие вынесли свои науки и искусства из-за границы. Они умны, но ум их подражательный, а значит, больше ироничный, чем плодовитый: такой ум все переиначивает и ничего не в силах вообразить.

Насмешка – главная черта характера у тиранов и рабов. У всякой угнетенной нации ум обращен на поношение, сатиру, карикатуру; за свое бездействие и унижение она мстит сарказмами. Остается вычислить и сформулировать, в каком отношении находятся нации с теми конституциями, какие они себе определяют сами или действие каких на себе испытывают. Мое мнение таково: всякая приобщенная к культуре нация имеет тот единственный способ правления, какой только может иметь. Я не собираюсь ни навязывать вам, ни даже излагать свою теорию – пусть над этим трудятся люди более достойные и ученые; нынешняя моя цель гораздо скромнее: я хочу описать, что поражает меня на улицах и набережных Петербурга.

В нескольких местах поверхность Невы сплошь покрыта лодками с сеном. Эти безыскусные сооружения будут повыше многих домов, и с виду живописны и ловко устроены, как и все, чем славяне не обязаны никому, кроме себя. На лодках живут люди, управляющие ими; эти передвижные здания затянуты соломенными коврами, чем-то наподобие плетеных циновок, которые, несмотря на свою грубость, придают им облик восточного шатра или китайской джонки; только в Петербурге довелось мне видеть целые стены из сена, убранные соломенными половиками, и семьи, вылезающие из-под сена, словно звери из логова.

В городе, где дома изнутри подвержены нашествию полчищ паразитов, а снаружи каждую зиму ветшают, особенную важность обретает ремесло маляра. В России любое здание надо всякий год штукатурить заново, иначе оно скоро разрушится.

Любопытен способ, каким русский маляр исполняет свое ремесло. Для работы на улице ему остается всего три месяца в году, и число рабочих, как вы понимаете, должно быть достаточно велико – их встречаешь на каждом перекрестке. Эти люди сидят, рискуя жизнью, на дощечке, небрежно привязанной к длинной, свисающей вниз веревке, и качаются на ней, как насекомые, у стен здания, которое заново покрывают побелкой. Нечто похожее есть и у нас: наши рабочие тоже поднимаются и спускаются вдоль стены дома, повисая на узлах веревки. Но во Франции маляров всегда было немного, и они далеко не так отважны, как русские. Человек везде ценит свою жизнь во столько, сколько она стоит.

Представьте себе сотни пауков, что висят на ниточке от своей разодранной бурей паутины, спеша починить ее с дивным проворством и усердием, – и вы получите представление о том, как работают маляры коротким северным летом на улицах Петербурга. Все дома четырехэтажные, не выше; они белые, но их внешний вид обманчив – они выглядят чистыми. Я же знаю правду о том, что у них внутри, и потому прохожу мимо блистающих фасадов с почтительным отвращением.

В провинции красят города, через которые должен проезжать император; что это – почесть, которую отдают государю, или же его хотят ввести в заблуждение относительно нищеты, в которой пребывает страна?

Русские по большей части издают неприятный запах, который ощущается даже издали. Люди светские пахнут мускусом, простонародье же – кислой капустой вкупе с отрыжкой чеснока и старыми смазными сапогами. Дух этот устойчив и неизменен.

Как вы можете заключить, те тридцать тысяч подданных, что приходят прямо во дворец императора поздравить его на 1 января, и те шесть-семь тысяч, что будут завтра вместе с нами толпиться в замке в Петергофе, приветствуя свою императрицу, должны оставить по себе отвратительную вонь.

До сих пор я ни разу не встречал на улице простолюдинки, которая бы показалась мне красивой; подавляющее же большинство их, по-моему, на удивление уродливы и до отвращения нечистоплотны. Странно подумать, что именно они – жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами, с греческим профилем, так изящно и гибко сложенных, как видишь это даже в низших классах русской нации. Нет ничего прекраснее русских стариков – и ничего ужаснее старух. Горожанки мне почти не попадались. Одна из особенностей Петербурга состоит в том, что число женщин, сравнительно с числом мужчин, здесь меньше, нежели в столицах других стран; говорят, что они составляют едва треть от общего населения города.

Оттого, что они редки, им оказывают слишком много внимания; ни одна из них не рискнет находиться сколько-нибудь времени без провожатого на улице в малолюдных кварталах – столь торопливую готовность к услугам им выказывают. Подобная сдержанность кажется мне вполне оправданной в столице насквозь военизированной страны и у пристрастившегося к пьянству народа. Русские женщины вообще показываются на людях меньше, чем француженки; не надо углубляться слишком далеко в прошлое, чтобы достичь времен, когда они проводили взаперти всю жизнь, словно азиатки. И ста лет не прошло с тех пор, как русские держали их под замком. Подобная скрытность русских, память о которой не изгладилась и поныне, заставляет, наряду с множеством иных обычаев, вспомнить о корнях этого народа; из-за нее петербургские празднества и улицы становятся еще тоскливее. Самое прекрасное, что видишь в этом городе, – это парады: вот насколько верны и справедливы мои слова о том, что всякий русский город, начиная со столицы, есть военный лагерь, чуть более устойчивый и мирный, нежели походный бивуак.

В Петербурге мало кафе; в пределах города не бывает дозволенных свыше публичных балов; гулянья посещают редко и движутся по ним с удручающе важным видом.

Люди здесь серьезны от страха, но страх же делает их и весьма учтивыми. Я никогда не видел, чтобы столько людей, причем из всех классов общества, уважительно обходились друг с другом. Кучер с облучка дрожек неизменно приветствует своего товарища, а тот, проезжая мимо, не преминет ответить поклоном на поклон; грузчик приветствует маляра, и все остальные ведут себя так же. Шляпа и палка – крайне значимые в России предметы. Воспитанность эта,

быть может, наигранна, мне она по крайней мере кажется принужденной; и все ж даже одна только видимость любезности служит к услаждению жизни. Какой же притягательности должна быть исполнена учтивость истинная, идущая от сердца, если лживая учтивость имеет столько преимуществ?

Если путешественник верит чужим словам и в то же время не лишен характера, то пребывание в Петербурге для него во всех отношениях приятно. Но характер нужно иметь твердый, иначе невозможно запретить себе бывать на празднествах и отказаться от обедов — а они сущее бедствие русского общества, да и, можно сказать, любого общества, куда допущены иностранцы и откуда, следственно, исключена душевная близость.

Я здесь очень редко принимаю приглашения от частных лиц — любопытство мое привлекали прежде всего придворные торжества; но на них я уже насмотрелся: от чудес, где сердце ничего не чувствует, скоро наступает пресыщение. Когда влюблен, тогда можно смириться и последовать за любимой женщиной во дворец — пусть и проклиная судьбу, что связала ее с обществом, движимым единственно честолюбием, страхом и тщеславием. Напрасно говорят, что высший свет повсюду одинаков; в нынешней России придворные интриги занимают в жизни отдельного человека большее место, чем в любой другой европейской стране.

Перевод И. К. Стаф

ОТ РЕДАКЦИИ. Не разделяя взглядов французского автора на Россию и русский народ, мы, тем не менее, решили опубликовать этот материал, так как он неизвестен русскому читателю.

Послесловие Виктора Ерофеева

Будь я примерным учеником Карла Юнга, то без сомнения отправил бы маркиза де Кюстина в преисподнюю русского национального подсознания. Более того, я бы увидел в авторе книги "Россия в 1839 году" ту мистическую игру кривых зеркал, в результате которой Россия отразилась в этой книге таким совмещенным отражением, каким ей не приходилось отражаться нигде и никогда: ни до, ни после, но именно благодаря непроизвольному совпадению вдруг высветлилось то, что таилось, роилось, безумствовало в глубине, вдруг выстроилась парадигма и выписалась ось.

Злосчастный француз, написавший изящный эпистолярный пасквиль, он же злопамятный аристократ, отправившийся в далекую деспотическую империю на сбор аргументов в пользу абсолютизма с тем, чтобы пнуть ногой французскую революцию, пославшую на гильотину и деда его, и отца, и вернувшийся из России убежденным либералом, лишь в малой степени повинен в содеянной им книге. И пусть это выглядит оскорбительным для его ума, воспитанного на безоговорочном рационализме XVIII века, но зато это предохраняет Кюстина от незаслуженных подозрений в гениальности. Чего не было, того не было, талант его был, если такое возможно, посредствен, и если вдруг его книга оказалась на голову выше своего автора, то, значит, здесь все виноваты: Кюстин, случай, Россия, провидение.

Но все-таки, кто же такой Кюстин?

Астольф де Кюстин родился в аристократической семье в разгар революции, 18 марта 1790 года. Его дед симпатизировал новым порядкам, был генералом, командующим Рейнской армией. В 1792 году в связи с военными неудачами он был отозван в Париж, обвинен в измене и обезглавлен на гильотине. Вступившийся за "изменника" младший сын генерала, отец Астольфа, в свою очередь был казнен.

Мать Кюстина, Дельфина, известная в парижском обществе своей красотой и умом, до последней минуты верная своему мужу, была брошена в тюрьму и чудом избежала расправы. Фамильное состояние было конфисковано. Кюстин стал настоящей жертвой революционного террора.

В дальнейшем он воспитывался "под сенью" Шатобриана, поскольку великий поэт увлекся Дельфиной, ставшей со временем его возлюбленной. Однако Шатобриан не заменил ребенку отца. Кюстин вырос нервным, красивым, болезненным.

Молодой человек смутно чувствовал в себе литературные способности ("В течение многих лет я ищу свой талант и не могу найти, хотя чувствую, что из меня должно что-то выйти", -- пишет Кюстин в 1817 году в частном письме), а также обнаруживает склонность, сначала решительно им подавляемую, к гомосексуализму. Стоит ли о том упо-

минать? Сексуальные вкусы Кюстина не имеют прямого отношения к написанной им книге о России, но когда вокруг книги поднялся шум, о них вспомнили его недоброжелатели, желая дискредитировать неугодного автора.

Уступая просьбам матери, Кюстин женился, но молодая жена, родив ему сына, вскоре умерла. В 1824 году случился скандал, навсегда скомпрометировавший Кюстина в глазах высшего света. Он был обнаружен под Парижем в бессознательном состоянии, лежащим в дорожной грязи, избитым и ограбленным. Газеты поспешили сообщить, что Кюстина избили солдаты за то, что он пытался с одним из них условиться о свидании. Что случилось на самом деле, неясно, но ясно то, что Кюстин отныне стал парией. Вообще 20-е годы были для него полосой несчастий. После смерти жены во младенчестве умер сын, затем умерла мать.

Кюстин ищет забвения и утешения в путешествиях, литературе и католицизме. В дальнейшем его жизнь не была богата драматическими событиями. Он умер в 1857 году.

Если светское общество отвергло Кюстина, то литераторы охотно посещали его салон. На вечерах у Кюстина играл Шопен, с ним общались Виктор Гюго, Бальзак, Бодлер, Стендаль, Жорж Санд, Ламартин. В поисках своего литературного "я" Кюстин перебрал различные жанры: стихи, прозу, драму. Он написал четыре романа: "Алоис" (1829), "Мир, каков он есть" (1835), "Этель" (1839), "Ромюальд, или Призвание" (1848), но ни один не стал ни подлинным успехом, ни позорным провалом для их автора.

До публикации "России в 1839 году" Кюстин оставался, по словам своего немецкого друга, Гейне, "ан деми-омме де леттр". Он искусно описывал свои путешествия в Швейцарию, Италию, Англию и особенно в Испанию (цикл писем "Испания при Фердинанде Седьмом", 1838). Но эти заметки не имели большого исторического значения и быстро устаревали. Четыре тома писем "Россия в 1839 году" (первое издание – 1843 год) стали кульминацией литературной карьеры Кюс-тина и европейским бестселлером.

Кюстин заметил сам, что в России он мало повидал, но о многом догадался. Действительно, за неполные три месяца пребывания в России он видел не много, его маршрут ограничился Петербургом, Москвой, Ярославлем и Нижним Новгородом, но, не владея языком, он угадал нечто такое, что дало Герцену возможность написать: "Без сомнения, это – самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем". Слова Герцена -- при том, что с тех пор о России написаны тысячи книг, – верны и сегодня.

Кюстина встретили в России как желанного гостя. Сам Николай Первый оказал ему радушный прием, и несколько раз на дворцовых раутах заводил с французом доверительные беседы, касавшиеся таких "горячих" тем, как самодержавие, республика и сосланные декабристы. Император стремился заручиться поддержкой известного в Европе путешественника и благодаря ему в какой-то степени упрочить меж-

дународный престиж России, сильно подорванный кровавым подавлением польского восстания 1830-31 гг. Тонкий мастер светской беседы, Кюстин расточал комплименты царю в обмен на царскую доверительность.

У Кюстина, в частности, была конкретная цель выхлопотать для своего парижского друга, польского эмигранта, Игнация Гуровского, разрешение на въезд в Россию. С этим вопросом он обратился к императрице, но наткнулся на вежливый, хотя и определенный отказ. Впоследствии кюстинские недоброжелатели пытались объяснить резкости в его письмах именно этим отказом.

Кюстин тайно писал свои русские письма, предусмотрительно никому не сообщая о них, и через французское посольство переправлял их в Париж. Наблюдательный автор описал северные пейзажи и столичные балы, одежду простонародья и московский Кремль. Но он не ограничился этнографией. В духе таких известных в то время книг, как "Германия" мадам де Сталь и "Демократия в Америке" Токвиля, Кюстин стремился к концептуальному восприятию страны. Он был подчеркнуто субъективен в своих эстетических оценках: невзлюбил знаменитый петербургский памятник Петру Первому работы Фальконе, с дилетантской лихостью высказался о "подражательности" поэзии Пушкина. Но главное, что его интересовало, — это национальный характер и режим.

Вернувшись во Францию, автор писем еще три года тщательно трудился над ними, прежде чем издать. Смысл его доработки определить невозможно, поскольку черновиков не сохранилось, но, видимо, работа велась в направлении осмысления русской истории, с опорой на многотомную "Историю государства Российского", написанную Карамзиным, и "Философическое письмо" Чаадаева.

Исследователи не располагают достаточным материалом для того, чтобы судить, действительно ли состоялась московская встреча Кюстина с Чаадаевым. Однако бесспорно, что на концепцию Кюстина повлияли его беседы с такими видными тогдашними русскими "диссидентами", как А. И. Тургенев и П. Б. Козловский. Бесспорно также и влияние на Кюстина со стороны многочисленных польских эмигрантов в Париже.

"Россия в 1839 году" сильно взволновала русское общество, расколов его на два лагеря поклонников и врагов, как и "Философическое письмо" Чаадаева. Вместе с чаадаевским письмом она побила все рекорды длительности цензурных запретов. Но если сочинение Чаадаева все-таки было опубликовано в России после революции 1905 года, то Кюстин на русском языке не опубликован полностью до сих пор. Правда, несмотря на запрет книги, все просвещенное русское общество (как это водится в России) ее в свое время прочло.

В конце прошлого века была предпринята первая попытка опубликовать русский перевод. Несколько отрывков с неодобрительными комментариями появились в журнале "Русская старина" в 1891 и 1893 годах. Затем в 1910 году вышел сокращенный перевод книги под

названием "Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина". Наиболее острые места книги русский переводчик не перевел, а смягчив, пересказал, попеняв автору "наклонность к слишком поспешным обобщениям"

Уже в советское время, в 1930 году, в Издательстве политкаторжан, вышел сокращенный вариант нового перевода "Николаевской России (России в 1839 году). Авторы предисловия, С. Гессен и А. Предтеченский, отнесли книгу Кюстина "к числу крупнейших исторических памятников", назвав ее "интереснейшим документом той мрачной и зловещей эпохи, которая связана с именем императора Николая Первого".

В пору наступающего сталинского террора публикация значительной части книги Кюстина, беспощадно бичующего русский абсолютизм, выглядела несомненно вызывающе, и не случайно в последнем абзаце перевода было произвольно вставлено спасительное слово: "Каждый, – читаем в русском тексте, – близко познакомившийся с царской (разрядка моя. – В.Е.) Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране".

В Европе "Россия в 1839 году" переиздавалась на протяжении с 1843 по 1855 год девятнадцать раз: это было, по мнению французского исследователя Кюстина Жюльена-Фредерика Тарна, "абсолютным рекордом для той эпохи". Вышли 12 изданий по-французски, три по-немецки, три по-английски и одно по-датски.

Затем книгу Кюстина надолго забыли, и заново на Западе ее открыли уже после второй мировой войны как политическое произведение. За последние десятилетия было выпущено несколько также сокращенных вариантов книги (полное переиздание появилось в Англии в 1971 году). Эти издания можно найти в библиотеке практически каждого западного слависта, дипломата и политолога, занимающегося Советским Союзом. Сокращая многие исторические сведения о России, которые Кюстин заимствовал у русских историков, современные западные издатели в основном ориентировали своего читателя не на "историко-бытовой документ", как это было сделано в СССР, а на актуальность книги, на ее непреходящее значение для понимания сущности России. Книга Кюстина превратилась в своеобразный путеводитель по вечной России.

В этом смысле западные апологеты Кюстина противостоят той части русской эмиграции, включая сюда и Солженицына, которая склонна рассматривать историю дореволюционной России как во многом болезненный, но вместе с тем органический и перспективный процесс, прерванный большевистской революцией.

Поехав в Россию с целью воспеть абсолютизм, Кюстин стремительно разочаровался в российской империи. Сила писем Кюстина как единого произведения в их внутренней драматургии. Не пробыв в России и месяца, Кюстин отмечает, что начинает говорить "языком парижских радикалов". Он нашел в России неподвижное застойное царство:

"Россия – страна каталогов: если пробежать глазами одни заголовки – все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названия глав. Откройте книгу – и вы убедитесь, что в ней ничего нет... Сколько городов и дорог существует лишь в проекте. Да и вся нация, в сущности, не что иное, как афиша, расклеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией".

Кюстин явно сомневался в том, есть ли в России цивилизация, приводя в пример ужасное (еще? уже?) состояние русской медицины. Рискованное обобщение и точность конкретного примера – в этом сочетании основной литературный прием кюстинской книги: "Если вы случайно позовете живущего поблизости русского врача, то можно считать себя заранее мертвецом. Русская медицина еще не выросла из пеленок... Наиболее опытные практики быстро теряют свой опыт и знания, проводя жизнь во дворце, редко бывая у постели больного. Я с интересом читал бы любопытные мемуары придворного врача в России, но я побоялся бы доверить ему свое лечение".

Невольно я вспоминаю о "кремлевских" врачах уже новейших времен и думаю: неужели эта самая шестая часть света имеет какие-то свои особенные отношения со временем, неужели застой и безвременщина суть константы не только брежневского или николаевского режима, а вообще русской национальной истории, развивающейся кругообразно? Как вырваться из порочного круга?

Проклятый Кюстин! Чтение его книги для русских – это настоящий бум печальных ассоциаций, невыгодных сравнений и личных неприятных воспоминаний.

Розанов как-то заметил, что он сам многое ненавидит в России, но возмущается, когда Россию критикуют иностранцы. Это, надо сказать, чуть ли не общерусский взгляд на вещи. Наверное, потому и не печатали Кюстина в России. Русские, как правило, не прощают "холодного", трезвого взгляда со стороны на свою родину. Мы, как дети, хотим, чтобы нас любили. А кто не любит детей, тот враг человечества.

В русском национальном характере заложено полярное отношение к иностранцу: уникальное сочетание комплекса неполноценности с комплексом превосходства. Иностранец в России – явление сомнительное, это человек, лезущий не в свое дело. "Все стараются в угоду своему властителю скрыть от иностранца те или иные неприглядные стороны русской жизни. – жаловался Кюстин. – Но с какой стати нужно показывать иностранцу неприглядные стороны? Этот вопрос многим из русских до сих пор кажется естественным. Мы, очевидно, не понимаем, что до тех пор, пока он будет казаться естественным, Рос-сии не решить своих проблем. Нельзя создать цивилизацию в отдельно взятой стране.

Всякий русский, ездивший за границу, буквально вздрогнет от самоузнавания, прочтя у Кюстина его беседу с хозяином гостиницы в Любеке. "С чисто немецким добродушием" хозяин отговаривает французского путешественника ехать в Россию:

– Вы так хорошо знаете Россию? – спросил я.

– Нет, но я хорошо знаю русских (...) У них два разных лица, когда они прибывают сюда, чтобы отправиться дальше в Европу, и когда они возвращаются оттуда, чтобы вернуться на свою родину. Приезжая из России, они веселы, радостны, довольны. Это – птицы, вырвавшиеся на свободу (...) И те же люди, возвращаясь в Россию, становятся мрачными, лица их вытянуты, разговор резок и отрывист, во всем видна озабоченность и тревога. Из-за этой-то разницы я и вывел заключение, что страна, которую с такой радостью покидают и в которую с такой неохотой возвращаются, не может быть приятной страной".

Соображения немецкого хозяина гостиницы незамысловаты, но в них есть беспощадный смысл. Дело не в том, что мы, русские, – плохие патриоты, радующиеся при всякой возможности покинуть свою страну. Но мы все-таки плохие патриоты в ином плане. Многие из нас любят родину "странной любовью", ассоциируя страну с хронически больным режимом. В этом нет ничего удивительного. Мы – плохие патриоты потому, что сообща готовы до бесконечности терпеть невыносимый режим, который всегда оказывается сильнее наших возможностей ему противостоять. Мы не только с радостью едем "на каникулы" за границу. Мы преображаемся, когда бежим от государства куда угодно: в семью, к друзьям или просто к бутылке. Это тоже формы пересечения границы. Мы никогда не сумели заставить государство работать на нас и потому так мучительна и позорна для нас всякая встреча с государством, в каком бы виде оно ни предстало перед нами. На каждом из нас есть знак отчужденного от нас государства, и эта раздвоенность порождает общественную шизофрению.

Кюстин резко критикует Петра Первого за то, что тот перенес военную иерархию на гражданское управление империей, введя чины, в результате чего возникло "перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства". Эти чины в виде номенклатуры существуют, как привет от Петра, до сих пор, что доказывает: военно-бюрократическая основа государства оказалась сильнее трех русских революций, она проступает неумолимо в любой форме российской государственности.

Каково, однако, было отношение Кюстина не к режиму, а к русскому народу? Этот вопрос особенно волновал русских современников Кюстина. Гоголь, в целом отнесшийся отрицательно к кюстинской книге, тем не менее отмечал, что "не один раз сознался он (то есть Кюстин. – В.Е.), что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. По-моему, Гоголь несколько "по-гоголевски" преувеличивает восторги Кюстина, однако в чем-то он несомненно прав.

Хотя русские законы, отмечает Кюстин, отняли у крепостных крестьян все, они тем не менее не так низко пали в нравственном отношении, как в социальном: "Они обладают сообразительностью,

даже некоторой гордостью, но главной чертой их характера, как и всей их жизни, является лукавство".

Русское лукавство, действительно, – это целая система обороны, единственно возможной при бесправии, но, с другой стороны, западая в душу, становясь чертой характера, лукавство перерождается в цинизм апатии и лени, неверие в возможность перемен.

Отношения между Россией и Европой видятся Кюстину в системе отношений видимости цивилизации с цивилизацией подлинной: "Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться видимостью цивилизации. Когда видишь двор и лиц, вокруг него вращающихся, кажется, что находишься среди народа, далеко ушедшего в своем культурном развитии и государственном строительстве. Но стоит вспомнить о взаимоотношениях различных классов населения, о том, как грубы их нравы и как тяжелы условия их жизни, чтобы сразу увидеть под возмущающим великолепием подлинное варварство".

В чем все-таки причина русской неспособности к цивилизации? Вопрос актуален. Возможно, в ошибочном отношении к ее основе: среднему классу, который в России получил уничижительное название мещанства.

Русское искусство и литература постоянно третировались мещанством, выбивавшим у него из-под ног моральную основу существования. У русской культуры всегда виноват мещанин. Можно сказать, что в России был издавна нарушен баланс между культурой и цивилизацией. Вот сущность отечественного максимализма: нельзя одновременно любить колбасу и Андрея Рублева. Или – или. Русская интеллигенция никогда, и сейчас это повторяется, всерьез не боролась за колбасу для народа – она боролась за его освобождение. Абстрактное мышление превалировало; меньше чем на спасение интеллигенция не соглашалась, в результате в России не было ничего: ни спасения, ни колбасы.

О положении русского общества при Николае Первом Кюстин писал безо всякого снисхождения: "Представьте себе все столетиями испытанное искусство наших правительств, предоставленное в распоряжение еще молодого и полудикого общества; весь административный опыт Запада, используемый восточным деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; полицию, поставившую себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним (...) – и вы поймете, в каком положении находится русский народ".

Немудрено, что после прочтения книги Кюстина Николай Первый швырнул ее об пол и воскликнул: "Моя вина: зачем я говорил с этим неголяем!"

Чтобы опровергнуть Кюстина, русское правительство прибегло к различным мерам. Русские дипломаты скупали в массовых количествах его книгу в Париже, чтобы она не стала достоянием европейской общественности. Это способствовало лишь сенсационному распространению книги. Кроме того, были инспирированы "независимые" отзывы о книге. Крупный агент царской секретной полиции Я. Н. Тол-

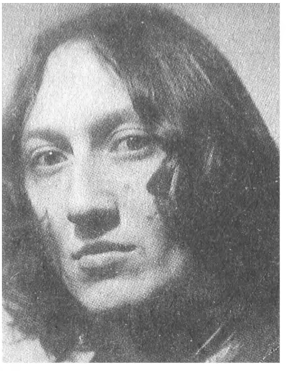
стой, проживавший в Париже, написал и издал две (одну под псевдонимом) книги, призванные опровергнуть Кюстина. Толстой прямо писал, что это "антирусское" сочинение сумасшедшего (царское мнение о "Философическом письме" Чаадаева было аналогичным), не лишенное, в этой связи, доли развлекательности.

Тютчев писал с возмущением: "Книга г. Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым (...) дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому разбору водевиля".

Мне лично ближе слова шефа секретной полиции генерала Бенкендорфа, который заявил Николаю Первому с жандармским цинизмом: "Г-н де Кюстин лишь сформулировал те мысли, которые у всех издавна существуют о нас, включая нас самих".

Может быть, и в самом деле, как писал Кюстин, подъяремный народ достоин своего ярма: "Тирания – это создание повинующегося ей народа". Но сам же Кюстин проницательно добавлял: "Не пройдет 50 лет, как (...) в России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западная Европа чувствует еще до сих пор".

Это предвидение революции в России действительно превращает Кюстина в незаурядного путешественника.



Михаил Шемякин

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЫСТАВКИ

(Из книги воспоминаний)

До нашей экспозиции, которая называлась "Выставка работников хозяйственной части "Эрмитажа", состоялась в том же самом Растреллиевском зале выставка реставраторов "Эрмитажа". На ней показывали свои картины В. Павлов, главный художник музея, и В. Герасимов. Последний выставил абстрактные холсты, а Павлов – полотна экспрессивного характера. Помню, например, картину такую: в черную ночь словно проваливаются искореженные красные трамваи. То ли "Вечерний Ленинград", то ли "Ленинградская правда" уже на третий день поместила разгромную статью, в которой весь огонь был сосредоточен на Павлове. Его обвиняли в пессимизме, в преклонении перед западным модернизмом и в прочих смертных грехах. Как ни странно, и, кстати, это очень показательно, абстракциониста не тронули. Казалось бы, тогда, в 1964 году, это был криминал номер один. И тем не менее. Многие считали, что Герасимов мелкая сошка, а Павлов главный художник "Эрмитажа", и поэтому на него так яростно набросились. Наверно, и это сыграло роль, но думаю все-таки, что были причины и другого характера. Недаром же 12 лет спустя, когда в Москве Горкому художников дозволили проводить время от времени выставки нонконформистов, то против абстрактной живописи начальство не протестовало, а вот концептуалисты и экспрессионисты по-прежнему вызывали подозрение: что они там своими рисунками да картинами сказать хотят?

Но вернемся в Ленинград. Руководство "Эрмитажа" почему-то на грозную статью не прореагировало. Вскоре, а нужно сказать, что приближалось двухсотлетие "Эрмитажа", нам, работникам хозчасти музея, в партийном комитете сказали: "Ребята, сейчас все что-то готовят к юбилею. А ведь среди вас много хороших художников. Придумайте что-нибудь к юбилею. Почему бы вам не сделать выставку?" Но мы-то о погромной статье помнили, а тут еще надвигался процесс над Бродским, так что хотя соблазнительное предложение и было нами принято, однако с условием: экспозицию до вернисажа должен посмотреть и одобрить один из ведущих искусствоведов "Эрмитажа". Мы даже назвали фамилию, к сожалению, не помню ее. Но чудесный человек был, широко образованный интеллигент старой закалки, седой, но полный жизни старик.

В общем, развесили мы работы, и он пришел. Ситуация ему, конечно, была предельно ясна. Прошелся он по выставке и сказал: "Мне вся эта экспозиция нравится, но для того, чтобы не дразнить гусей, давайте снимем это, это и это". Мы не возражали, так как понимали, что он предложил убрать работы, к которым явно могли придраться.

В выставке принимали участие художники Владимир Овчинников, Олег Лягачев и я. К нам присоединился блестящий петербургский поэт Владимир Уфлянд, который работал в нашей бригаде такелажников. Он принес несколько рисунков. И несколько набросков выставил Валерий Кравченко, ныне актер. Тогда он учился в театральном институте и работал с нами в хозчасти "Эрмитажа".

Лягачев выставил несколько автопортретов и экспрессионисткого характера пейзажей, Овчинников выставил натюрморты, довольно интересные петербургские пейзажи и большую, трехметровую картину "Оркестр". Володя в то время довольно плохо рисовал, и я над ним подшучивал, так как на картине все музыканты держали трубы, саксофоны, тромбоны просто рукавами пиджаков. Руки не были нарисованы вовсе.

Я показывал на выставке иллюстрации к Гофману, Диккенсу и натюрморты-коллажи, точнее, аппликации. Тона были серовато-беловатые (то, что позже стали называть шемякинской гаммой) с желтыми пятнами. Кроме того, я выставил несколько холстов: предметных, но плоскостных, без четкого обозначения лиц и тем более деталей – носов, ушей, глаз.

Как я уже говорил, экспозиция наша расположилась в Расстреллиевском зале, на первом этаже "Эрмитажа". Нас просили, чтобы большого шума мы не поднимали, но все-таки вернисаж в принципе организовался. За два дня до него мы с Лягачевым сделали две маленькие линогравюры с зимними пейзажами Петербурга, напечатали на машинке текст и разослали линогравюры в виде приглашений на вернисаж. Когда разразилась гроза, нам эти приглашения инкриминировали. Гебисты заявили, что выставка предназначалась для узкого круга, мы же занялись саморекламой.

Но все это случилось позже. А вернисаж прошел прекрасно.

Пришло очень много народу. В книге отзывов были восторженные высказывания. Думаю, что дело не в том, что всем зрителям понравилось так уж сильно, но они хотели поддержать начинание. Кстати, книга отзывов впоследствии сыграла печальную роль в судьбе некоторых людей, кое-кого исключили из партии, кто-то потерял работу.

Скандал разыгрался на третий день, когда приехала из Союза художников идеологическая верхушка во главе, по-моему, с Аникушиным. Они быстро проглядели экспозицию, и Аникушин процедил: "Все понятно". А через тридцать минут к центральному и служебному входам "Эрмитажа" начали подкатывать один за другим черные "Зимы". Прибыло ГБ. Выставку объявили идеологической провокацией. Причем, самое забавное заключалось в том, что гебисты решили, что день вернисажа мы выбрали со специальным и, конечно, злонамеренным умыслом, решив отметить таким образом своеобразный юбилей: ровно год с того дня, когда Ильичев в своей речи громил формализм. Напрасно мы уверяли, что ни о чем подобном не думали. "Нет, это провокационное выступление, это ваш ответ секретарю ЦК", – ярились гебисты.

Прямо в здании "Эрмитажа" нас несколько дней допрашивали. КГБ больше всего интересовало, каким образом мы получили право на выставку. "Нам предложили сделать выставку, – отвечали мы, – даже упрашивали в парткоме "Эрмитажа" (мол, вот художники-рабочие), более того, по нашей просьбе видный искусствовед смотрел экспозицию, и по его совету некоторые работы были с выставки сняты". Но в парткоме заявили, что никто ни о чем не просил, никто о подготовке выставки не слышал. Получалось так, как будто мы ее организовали собственными силами: оккупировали зал, втащили в него картины и развесили.

Кстати, после прибытия гебистов все работы исчезли. Их сняли и упрятали в какую-то комнату. Нам удалось узнать в какую, но дверь в нее была заперта. Через щелочку мы разглядели, что там ведется киносъемка. Впоследствии выяснилось, что фильм, названный "Диверсия в "Эрмитаже" повезли в Москву на просмотр к Фурцевой.

В течение недели расправились со всеми, кто благожелательно к нам относился. Я уже писал о пострадавших из-за книги отзывов. Вызывали в Смольный нашего искусствоведа, который держался очень стойко, и грозили выгнать с работы его. А директора "Эрмитажа" академика Артамонова действительно выгнали, словно нашкодившего мальчишку.

От нас чуть ли не все в "Эрмитаже" тогда отвернулись. Даже здороваться боялись. Проходили, будто не видели. И, конечно, на работе от изгоев решили избавиться. Вызывает нас директор хозчасти Логунов, по прозвищу Петрушка, и говорит: "Ребята вам надо немедленно уходить из "Эрмитажа". Пишите заявления "по собственному желанию". Мы отказались. "Ах так, – разъярился он, – что ж, посмотрим, на чьей стороне сила!"

Стояли еще мартовские морозы и, кстати, тут будет анекдот: "Кто умеет играть на рояле? – спрашивает взводный у новобранцев. – Ты? Ну, иди чистить нужник". У нас в хозчасти получилось что-то вроде этого. Рабочие, которые не имели никакого отношения к искусству, стали в тишине развешивать картины, а нас, участников выставки, стали гонять на всякого рода тяжелые работы. А потом и на опасные и явно никому не нужные. Есть в Питере такая "Лебяжья канавка". Нас заставляли брать лопаты и пилу, сперва расчищать грязный снег, а потом, поскольку лед уже начал тять и уходить кусками в Неву, куда эта самая "Лебяжья канавка" впадает, спускаться с моста на лед, стоять на кромке его над темной водой и спиливать, чтоб он уходил в Неву быстрее. В общем, сизифов труд. Когда мы спрашивали, какой смысл в такой странной работы, нам объясняли, что, дескать, "Эрмитаж" красивое архитектурное сооружение и вид грязного снега со льдом мешает публике созерцать эту картину в ансамбле с природой.

А между тем работа наша становилась все более, мягко говоря, неприятной. То один ушел под лед, едва вытащили, то второй... Логунов нас каждый вечер встречал и спрашивал: "Подаем заявления?" Мы отвечали односложно: "Нет". В конце концов он не выдержал и бросил нас на работы по реставрации какой-то стены. Нам сразу стало ясно, что до этого были цветочки, а вот теперь пошли ягодки. Из "Лебяжьей канавки" хоть как-то выплыть было можно. А тут нас держали у основания стены и все, что сверху валилось, предназначалось нам: щебень, камни, кирпичи. Только успевай спасаться. Уже в конце первого рабочего дня мы сказали Логунову: "Ваша взяла!" – и подали заявления об увольнении "по собственному желанию".

Ну, и тут же на нас набросилась милиция с требованием в десятидневный срок устраиваться на службу – не то вышлют из Ленинграда. Как раз тогда судили Бродского, так что милицейские угрозы звучали вполне серьезно. Однако что мы могли сделать, если никуда, даже в грузчики, нас не брали. Получался заколдованный круг, ситуация, из которой не было выхода. Но тут в Кремле произошел переворот. Хрущева сняли. А мы каким-то хитрым образом стали считаться людьми, пострадавшими от хрущевского режима. Так что нас оставили в покое. А вся эта эрмитажная история канула в историю.

Нью-Йорк

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ГОСПОДА ЛИТЕРАТОРЫ!

По нынешним нездоровым временам пожелание здоровья, адресованное нашим почтенным литераторам, звучит весьма даже актуально. Оно никогда не зазорно, но нынче звучит как-то если и не иронически, то с некоей специфической интонацией, что ли. Вы спросите: почему бы это? С чего это вдруг наша литература, приятно молодящаяся и всегда проявлявшая изрядную активность, решительно внедряясь во все, во что только можно внедриться, может вдруг пожаловаться на здоровье?

Увы, вряд ли кто-либо может претендовать здесь на роль серьезного диагноста. Правда, у нас есть, есть некоторые небесспорные, но и не оспоренные пока соображения на сей счет.

Для начала обратимся к нынешнему состоянию. Сегодняшняя ситуация – в отличие от совсем еще недавней, нам всем памятной, – демонстрирует относительное многообразие, вроде бы свидетельствуя о начавшемся у нас процессе раскрепощения культуры. Это может быть расценено двояко: как приближение к некоему идеалу свободы и культурной секуляризации и, с другой стороны, – как трагедия, крах прежнего типа сознания и используемого им языка описания, оценивающего окружающий мир в терминах единой неоспариваемой высокой культуры (т. е. крах, как говорится в таких случаях, уже и всего святого).

Обе эти оценки, обе позиции, представляется, имеют дело, а вернее, просто обнаруживают себя в пределах уже явно наличествующего кризиса. Обе они описывают феномен в терминах и в рамках одного культурного сознания. Наконец, обе они, находясь в одном и том же пространстве, отражают, презентуют две постоянно существующие альтернативные и одновременно взаимозависимые компоненты русского национального менталитета.

Что же это за такие две части, две внутриутробно сросшиеся компоненты, что это за "тяни-толкай" такой?

Начнем с первой (первой по праву, как по неложным и постоянным ее презентациям, так и по реальному месту, занимаемому в русской истории и поныне) — являющей собой духовно-созидательное, миростроительное начало, которое, будучи переведенным из области метафизики в плоскость социальную, формирует позицию фундаменталистскую, в неизбежной логике своей предельной артикуляции оборачивающуюся позицией национального изоляционизма. Эта ориентация на социальную и культурную замкнутость была самым тесным образом связана с представлением о том, что — в противовес России — секуляризованный, материалистический и космополитический Запад стоит на грани глобального кризиса (причем постоянного, но особенно явного в те моменты, когда русский всеотзывчивый взгляд, расстроенный состоянием дел в своей епархии, обращал пристальное внимание на западный ужас, укрытый за внешним его кажущимся румяным благополучием). Не менее существенным для этой апокалипсической картинки был постулат о провиденциальной роли православия, единственно способного вывести человечество из кризиса, и о России как носительнице сей высокой не оспариваемой никем миссии. Именно эта позиция, в значительной мере сформулированная славянофильством и получившая известные коррективы в течение последних полутора сотен лет, являлась и является несомненно доминантой и в нашем политическом, социальном и культурном мышлении. И — в силу этой ее доминантности и определенности, т. е. почти подкожного знакомства с ней буквально каждого — нет нам нужды останавливаться на ней особенно подробно.

Другая, более слабая, в сравнении с первой, позиция время от времени обнаруживала себя в попытках прорвать заколдованный круг, присоединиться к цивилизации и, по выражению Петра Чаадаева, "обрести себя в человечестве" (в отличие от желания обрести человечество в себе, по Достоевскому). Это, всякий сразу поймет, — позиция наших либералов.

Тут следует отметить такую черту, как имперскость русского менталитета, которая, в смысле вышеприведенного описания, не есть компонента этого менталитета, но как бы динамическая составляющая, наивысшего напряжения достигающая в момент слома доминирующей западной тенденции и при явно обнаруживающемся возрастании тенденции фундаменталистской (с которой, в ее предельной артикуляции, явно вступает в противоречие, но с еще не утерянной "все-

мирной отзывчивостью", ярко вспыхивающей в энергетийном поддуве крепчающего фундаментализма.

Обе вышеупомянутые позиции нашли себе место и в той социокультурной плоскости, которую принято определять как "официальную", – в макросоциуме, обладавшем до недавнего времени всей полнотой социальных прав и привилегий; и – в равной мере – в противопоставленном ему микромире, который принято подразумевать как социальный и культурный андеграунд. И если в "официальной" культуре и литературе духовно-созидательная тенденция была представлена, к примеру, литературой деревенщиков, то в культуре "неофициальной" ее вполне презентует, к примеру, Солженицынская линия. С другой стороны, "западническая" традиция обнаружила себя как в либеральной "официальной" литературе, так и в огромном пласте творчества наших "диссидентов".

Впрочем, в данный момент должно занимать не столько различие этих двух традиций, сколько их принципиальное сходство. Обе они исходят из презумпции того факта, что именно литература в русском обществе являлась и является той авансценой, на которой разрешаются все его основные социокультурные проблемы. Все же остальные сферы культурной деятельности; если и не являются простой модификацией литературы, то уж во всяком случае мыслятся и ощущаются не только публикой, но и самими деятелями, существующими в их определяющем т объясняющем некоем сюжетно-вербальном континууме.

Что же позволяет нам расценивать две эти альтернативные на первый взгляд линии как варианты одной позиции? – Оценка этой позиции как ситуации *катастрофы.* Не локальной катастрофы конкретного стиля или направления, но катастрофы глобальной – катастрофы определенного культурного и, шире, социокультурного менталитета.

Благодаря специфике этого традиционного культурного менталитета литература в России узурпировала функции всех других недоразвитых сфер культурной деятельности со всеми суверенными способами существования их языка, этикетности их социального поведения, с их, наконец, системами рекрутирования своих деятелей.

В результате этой узурпации именно писатель оказался *идеальным типом Русского Человека.* Именно писатель смог артикулировать как претензии власти к народу, так и – напротив – претензии народа к власти. Наконец, именно писатель овладел универсальным языком выражения некоей метафизической духовной сущности этого народа (зачастую, кстати, весьма спекулятивным). Именно эта медиаторная функция, при отсутствии других сколько-нибудь развитых каналов сообщения между разными слоями общества (кроме, конечно, высокого языка указов, приказов, наказов и пр.), позволила писателю перенять на себя функцию репрезентации всех участников социального процесса в любой сфере и в любое время.

Поэтому писатель как определенный социокультурный тип в гла-

ах безъязыкого народа представал своего рода *Учителем, Пророком,* выразителем его интересов и чаяний, а перед лицом обкраденной власти – некоей инстанцией, претендующей на то, чтобы быть своего рода конгениальной властью, если не большей, к тому же не обремененной мелкой пакостью каждодневных нудных забот, бросающих на их носителей тень корыстности и земного несовершенства.

Но в таком случае, как же оценивать специфику нынешней ситуации? Можно ли ее истолковать и описать в привычных рамках все в результате разрешающей традиции? Понять ли ее как продолжение традиции или же как ее конец, обрыв, крах и дальнейшая абсолютнейшая неизвестность (вот тут самое и время вспомнить о пожелании крепкого здоровья всем нашим литераторам).

В связи с этим нелишним было бы вспомнить весьма распространенный тезис о *цикличности* развития русской истории, в подтверждение которому мы все без труда могли бы подыскать параллели как в русской и советской действительности, так и в социокультурном менталитете. Каждый из такого рода исторических и, соответственно, культурных циклов включал в себя в качестве необходимого некоторый эйфорический момент, когда в общественном сознании в очередной раз возникали и начинали преобладать известные иллюзии о возможности прорыва этой замкнутости и уже вышеупомянутого "обретения себя в человечестве". В это время деятельность наиболее либерально настроенной части общества была направлена как раз на реализацию подобных иллюзий.

Понятно, что параллельно этим усилиям в том же обществе непременно присутствовали и действовали векторы прямо противоположной направленности. И вот эта-то одновременность, параллельность их существования на фоне разыгрывающихся социально-политических драм, на фоне "линейного" прогрессирующего развития Запада и постоянного стремления России утвердиться в его контексте в качестве мировой державы – все это вместе и замыкало тот очередной цикл, возможность разорвать который и по нынешний день представляется столь соблазнительной, сколь и сомнительной.

Что, впрочем, не мешает многим из нас на сегодня с прежним энтузиазмом поддаваться всем этим милым, безумным и опасливо манящим мечтам и грезам, искренне включаясь в очередную кампанию по "вестернизации" русского общества (теперь уже русско-советского, что, в общем-то, проблему не облегчает, но и не то чтобы осложняет).

В компанию эту с первых же ее шагов весьма активно включилась и наша литература (естественно: ведь она – наше все), а вместе с ней и мы (а почему нет?) отчасти поддались соблазну и решились на небезопасную попытку опасного прогноза – что же станется с нею, с литературою в случае, если вдруг эти безумные мечты осуществятся и Россия действительно вырвется из многовековой циклической, квазидинамической ловушки, которую она сама же себе и подстроила?

Должно со всей скромностью заметить, что все черты, приписанные нами как предыдущей, так и нынешней русской действительности, весьма известны, и описание наше не претендует на экзотическую неожиданность – обнаружения тайных и неведомых досель сакральных механизмов порождения нашей банальной, в общем-то, действительности. Просто на материале вполне известном и посему, казалось бы, взывающем давно к четким, последним и не обольщающим выводам, мы и хотим эти выводы наконец без наркоза до конца произнести.

Так вот, выводы, к которым приходится прийти в результате этих строго-научных прогнозов, оказываются столь же печальны, сколь и (да, да!) комичны: писатели, обуреваемые в этой своей борьбе за европеизацию России, т. е., как понятно априори, будучи обуреваемы вполне благородными и прогрессивными порывами (т. е. те из писателей, которые сознательно и добровольно приняли на себя звание "прогрессивных"), сами роют себе яму или, если хотите, подпиливают ту прекрасную многовековую ветку, на которой еще сидят; и в результате окажутся перед лицом полнейшего исчезновения русской литературы как сколько-нибудь значимого социально-культурного феномена.

В этом отношении симптоматичным, но и горестно-забавным подтверждением сего опасного для русской литературы процесса являются участившиеся в прессе выступления советских литераторов (тех, для которых, в отличие от вышеупомянутых, звание прогрессивных отнюдь не столь уж привлекательно) в защиту нравственности и прочих не менее основательных и ценных морально-этических нагромождений. "Да отчего мы так осатанели и что делим? – горестно восклицает, к примеру, бывший первый секретарь Московского отделения Союза писателей СССР Ал. Михайлов ("Слово без микрофона", "Советская культура", 12.01.91, с. 3). – Ведь уж и делить-то нечего, все разбазарено, похищено, подвергнуто глумлению – в экономике, в культуре, в недальней нашей истории. Мстя прошлому за глад и мор, за пагубу миллионов людей и людских душ, мы забываем, что в это время народ жил, напрягая хребтину, хранил, как мог, очаг свой и семью, отвоевал родную землю в беспримерном смертоубийстве. На это бы опереться, коли подошли к краю. Честь и достоинство вспомнить и какова их цена..." и т. п. Полагаем, восстановить дальнейший весьма тривиальный, хотя и по-своему заклинательно-ностальгически убедительный набор охранительных аргументов нетрудно. А вот и другое высказывание, звучащее уже из прямо противоположного, "неофициального" лагеря и принадлежащее писателю Ф. Светову, успевшему совсем еще недавно отсидеть срок "за религиозные" и прочие свои убеждения: "Мы – одна страна, один народ, одно тело. И страдания у нас общие, и вина у каждого, и надежда одна"... и проч. и проч. Общее, пожалуй, у них и тех, к кому они апеллируют (заметим, что у многих, обуреваемых охранительными идеями и не имеющих прямого отношения к

литературной деятельности, сознание, даже по сравнению со средним русским облитературенным сознанием, сугубо беллетризировано) ощущение собственного краха, приближающегося исчезновения такой культурно-значимой единицы, как русский писатель, с авансцены культурного процесса интерпретируется нашими литераторами (которых в целом трудно заподозрить в чрезмерной склонности и способности к саморефлексии) как крах нравственности, культуры и вообще – *крах всего святого*.

Попробуем теперь (может, не столь страстно и эмоционально, оперируя понятиями и терминами более сухими и тривиальными) спроецировать возможные последствия этого процесса в плоскость некоего нашего гипотетического будущего (вынужденно опуская совершенно неизбежный переходный период с его гибридными и кентаврическими формами существования). Проекция такого рода позволяет – хотя бы в общих чертах – прогнозировать основные направления культурного процесса и формируемого им нового культурного сознания.

Первым и наиболее естественным предположением здесь было бы возникновение – взамен прежнего эмбрионального синкретизма – некоторых суверенных зон культурной деятельности (экономики, политики, социологии, философии и проч.). Понятно что, если процесс автономизации станет ощутимой реальностью, эти обладающие неотразимой привлекательностью зоны оттянут на себя наиболее активную часть публики, наиболее активных деятелей, прежде реализовавших себя в единой и неделимой зоне литературной и окололитературной деятельности. (В какой-то степени это становится заметным уже сегодня, когда многие литераторы начали увлекаться разного рода коммерческой, издательской и прочей деятельностью). Эти же зоны неизбежно оттянут на себя и большую часть общественного внимания.

Понятно также, что они, эти наиболее болезненные и актуальные зоны, довольно быстро выработают как свой собственный язык описания происходящих вокруг общественных процессов, так и свои специфические средства коммуникации с окружающим их обществом. Поэтому полупрофессиональные попытки писателей соперничать с профессиональными деятелями этих зон будут неизбежно обречены на провал.

Что же касается собственно занимательных сторон литературы, до сих пор привлекавших читателя, то они, увы (или не увы) будут замещены всёвозрастающей активностью и разросшейся в объеме сферы того, что принято называть массмедиа, индустрией развлечений.

И это еще не все, при условии, надо напомнить, реализации принятой нами на себя (за себя, но и за временно следующих нашим предположениям читателей) много раз помянутой российской иллюзии.

Экономическая и идеологическая ориентация обновляющегося советского (в смысле постсоветского) общества на некий "идеальный" западный образец повлечет за собой, разумеется, неизбежную "аме-

риканизацию" этого общества. А та, в свою очередь, не преминет транспортировать в него соответствующие структуры культурной жизни Америки (при всем естественном неразличении наиболее тонких и укрытых механизмов этой культуры – предположим, рессорных и адаптирующих – как разного рода академических грантов, премий, стипендий и т. п., реализациия которых будет затруднена как по экономическим причинам, так и по причине трудности вживления в нашу жизнь принципов децентрализации, плюрализма и терпимости).

Впрочем, появление всех этих структур нового типа отнюдь не исключает существование и продолжающуюся скрытую упорную работу прежних глубинных структур и образований социокультурного менталитета (таких, как, например, катастрофичность и тотальность в восприятии картины мира), которые подвергаются куда гораздо более медленным изменениям. Но в переходный период с его форсированностью темпов и методов и неразличением даже ближайших последствий именно они могут сыграть весьма и весьма ощутимую разрушительную роль, при условии отсутствия в обществе тех адаптирующих и пластифицирующих элементов, которые мы без труда обнаружили бы в любой другой органически развивающейся культуре.

Вот эта-то опасная своей двойственностью ситуация и может сделать из самой литературы и из фигуры писателя вместо прежнего предмета поклонения и почитания *предмет насмешек, иронии и презрения.*

Следующим естественным в наших прогнозах шагом было бы сравнение этой перспективы с ситуацией западной, где литература, как известно, уже достаточно давно не играет роли, сколько-нибудь сопоставимой с литературой нашей. Между тем, в западном обществе всегда существовало определенное количество самых разнообразных ниш, дающих возможность художнику существовать в обществе с достаточной степенью экономической и социальной комфортности. Общество и сама структура культуры сохраняет и поддерживает деятелей культуры, даже при условии кажущейся сегодняшней их неактуальности. Причина понятна – стремление этой культуры поддержать свое многообразие, стабильность и допущение пускай не прямого, но опосредованного включения этих компонентов в общее функционирование культурного процесса в целом. Кроме того, она всегда все же оставляет за литературою некоторую обнадеживающую возможность вдруг неожиданно выйти из маргинальной области своего существования в действительно актуальную зону культуры.

Вполне убедительным подтверждением этому является судьба наших собственных сограждан, художников и писателей, довольно активно в последнее время отъезжающих "на гастроли" или на постоянное жительство на Запад и всякий раз изыскивающих для себя (среди и в числе безумного количества прочих, кстати, более приспособленных, местных соискателей и претендентов) какие-то экономические ниши и лазейки.

Ныне наблюдаемый новый отток эмиграции для русской

культуры является отнюдь не безопасным симптомом, грозя в самом скором времени весьма различными трудноизлечимыми заболеваниями – повреждением внутринационального экологического баланса, нарушением некоторой критической массы культуры (т. е. отток энергетически заряженных деятелей этой культуры), необходимой для ее собственной деятельности и самовоспроизводства, и самыми разными другими, как принято выражаться, климактерическими симптомами, которые вряд ли ей могут пообещать счастливое будущее.

Кстати, этот же отток порождает весьма опасное и абсолютно непродуктивное представление о том, что художник может реализоваться и приобрести авторитет, только будучи признанным на Западе (в отличие от прошлых русских эмиграций, основной причиной которых было насильственное или опосредованно насильственное удаление деятелей культуры из России). Любопытно, что это, казалось бы, вполне фантомное представление постепенно становится одним из наиболее существенных мотивов, определяющих и общий характер развития литературного и художественного процесса в целом, и способы поведения самих художников и литературных деятелей, что существенно смешало уже сейчас все прежние иерархии.

Такая ситуация порождает и массу вторичных и, в перспективе, дальнейших и дальнейших комплексов, которые в итоге, окончательно размыв лицо нашей заслуженной отечественной словесности, определяют зону литературы как прибежище всякого рода сброда, аутсайдеров, не могущих адаптироваться в динамических завихрениях местного социально-экономического мейнстрима.

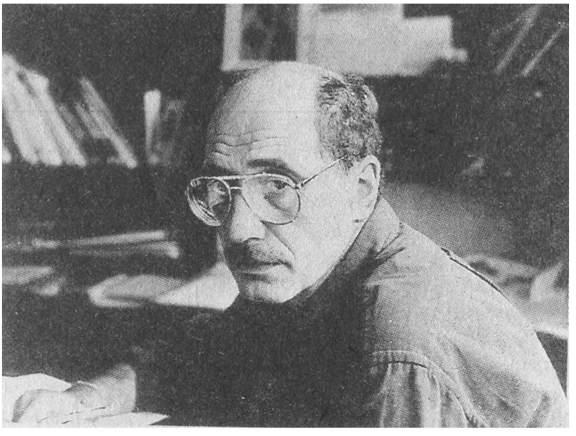
А это, в свою очередь...

Впрочем, пугать (и оговоримся для пущей честности – пугаться) можно еще долго. Занятие это, может быть, и увлекательное, но сегодняшняя физиономия русского литератора и без нашего участия искажена болезненной гримасой, что, естественно, вызывает сочувствие у гуманного наблюдателя. Но – по известной драматургии и, добавим, извечной человеческой подлости – сочувствие в скором времени сменится зевотой, а та – иронией и раздражением.

Именно поэтому под конец этого ужасного (но и не без нудности) перечня недугов и предполагаемых еще больших страданий, как нельзя более актуально искреннее пожелание: *крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и большого человеческого счастья, господа русские литераторы!*

Эта статья была опубликована по-немецки в журнале "Нойе Рундшау, июнь 1991.

Светлана Беляева-Конеген
Дмитрий Пригов
Москва



ЗДЕСЬ МЕЦЕНАТСТВО ВОЗНИКНЕТ БЫСТРЕЕ

Беседа с писателем Александром Кабаковым

Два с лишним года назад я уже брал у Вас интервью в Париже, но из-за капризов магнитофона его не удалось опубликовать. С тех пор в России, вообще в Советском Союзе, произошло многое из того, что вы описали в своих произведениях. Не чувствуете ли вы себя в связи с этим в каком-то смысле пророком?

Это знаете, довольно стандартный вопрос. С того времени многое произошло, многое и в России и моей собственной, будем так говорить, литературной жизни. И все, что происходило, так или иначе было связано с тем, что затем случилось в стране. Казалось бы, тем более есть основание возгордиться или, наоборот, сильно расстроиться, посчитав себя пророком дурного. Но я себя таким не ощущаю, ощущаю я себя беллетристом, причем мною не случайно употребляется именно это определение. Впрочем, если пользоваться абсолютно русским словом, то ко мне подходит, думается, определение, которое я дал герою своего предпоследнего романа — сочинитель. Мне кажется, что это наиболее точный перевод. Знаете, я довольно наблюдательный человек. И, кстати, наблюдательность в большой степени мешает жить, отвлекает от главного и заставляет обращать внимание на детали, которым нормальный человек внимания не уделяет, просто не обращает на них внимания. В этом, нужно сказать, столько же преимуществ, сколько и недостатков.

Вероятно, именно поэтому я не писал, не пишу и, видимо, не напишу ничего, что укладывается в нормальное русское представление о серьезной литературе. Серьезная литература в нашей стране делается серьезными людьми, сосредоточенными на главном, на основополагающих пластах жизни, на глубоких ее слоях, и уж никак не может быть сделана человеком, помнящим галстук, который был на его собеседнике пять лет назад. Видимо, эта способность вытесняет другие, вытесняет способность до конца и серьезно думать о первоосновах жизни, а без этого серьезной русской литературы быть не может. Говорят, что серьезная русская литература обязательно должна быть скучной. Мне кажется, что говорится это не зря, потому что когда обязательно вторым, ну, третьим шагом писатель достигает уже самого дна или пытается его достичь, то это большую часть читателей довольно быстро как бы усыпляет и заставляет книжку отложить. Я говорю это не для самооправдания, хотя, может быть, звучит это как раз чем-то вроде самооправдания. Однако, наблюдательность не дающая мне заняться сочинением чего-либо серьезного, позволяет зато в первую очередь замечать такие вещи в жизни, которые возможно, кажутся незначительными и поверхностными внешне, и вдруг почему-то оказываются со временем если не основополагающими в мировоззренческом или в духовном плане, то довольно существенными в смысле текущих событий. Из-за присущей мне наблюдательности, и только из-за нее, появился "Невозвращенец". Все, что там написано, находилось в полном соответствии с профессией героя. Он там был, может, вы помните, экстраполятором. Это была экстраполяция того, что уже имело место весной 1988 года, когда книга писалась, присутствовало в нашей жизни. И оказалось, что, во-первых, в нашей жизни вот такая примитивная экстраполяция оказалась довольно точным методом прогнозирования, а во-вторых, что, видимо, не такая уж она простая, эта экстраполяция, потому что, действуя, если так можно сказать, в соответствии с ней, вдруг попадаешь в такие дебри, которые вроде бы с ней напрямую не связаны. Иногда все начинается со случая, фамилии и даже с полного совпадения уже чего-то с чем-то. Глядишь, она уже что-то за собой потащила. Знаете, как тащит за собой кучу всякого мусора и дряни электричка. Это, пожалуй, самое главное тут. А в итоге произошло совпадение между "Невозвращенцем", сочиненным в 1988 году, с нашей нынешней жизнью. В первом прочтении "Невозвращенец" шокировал, пугал. Сейчас его можно прочесть поспокойнее, так как все уже произошло. И вот недавно один малый прочел именно поспо-койнее. И в журнале "Век XX" появилась запоздалая политическая, причем чисто политическая, рецензия. Все эти критики книги – не литературные критики, за исключением разве что Бондаренко. Он прочел "Невозвращенца" недавно и вступил в безумную полемику с Натальей Ивановой, которая немножко писала про "Невозвращенца", и с расхожим мнением, что эта самая книжечка написана с позиции нашего "демократического движения". Этот же

критик в "Веке XX" тек-стуально доказал, что этого там нельзя найти. Повесть насквозь кон-трреволюционная, контрреволюционная в строгом смысле неприятия или, по крайней мере, ужасная перед последствиями "нашей демократической революции". Там генерала, между прочим, зовут не товарищем, а господином. Там по ночам приезжают за бывшими партийными функционерами, там анкету надо заполнять – не состоял ли в партии или приравненной к ней организации... У меня есть черновик, в котором написано о событиях 1991 года, но потом один из внутренних рецензентов журнала "Искусство кино" написал: "А нельзя ли перенести события чуть позже? Надеюсь не дожить". Мне стало смешно, я взял и зачеркнул 1991 и написал 1992. Черновик у меня есть... Так вот, в повести говорится, что "до событий" генерал состоял в партии, даже работал в каком-то райкоме. И вот рецензент "Века" спрашивает: "Где же вы тут видите апологию "демократической революции?" Просто привыкли считать Кабакова "своим"." И в этом же номере журнала "Век XX" меня сильно в другой статье несут за мои вроде бы *либеральные* заметки в "Московских новостях". Видимо, трудно понять, что человек может придерживаться либеральных взглядов, я бы сказал, "круто либеральных", "круто рыночных", но при этом ясно видеть, к чему приведет так называемая демократическая революция, к чему она привела...

Когда человек работает много лет в газете, даже в газете советской, при советской власти, при коммунистическом режиме, все-таки он чуть-чуть больше информирован, чем просто обыватель. Нормальный человек при советской власти был склонен обманываться. Мол, в нашем колхозе председатель вор, сволочь, пьяница, но вот по телевизору показывают колхоз в другом районе, там все хорошо... Он не знал, как все это делается, а мы-то, журналисты, знали. К счастью, я работал в маленькой газете. Не надо было клеймить Солженицына, Сахарова, диссидентов. Я писал некую фантастику в соответствии с природной склонностью – выдумки про социалистическое соревнование. Я сам был автором десятка "передовых починов", я знал, чего они стоят. И вот информированность журналиста, еще чуть-чуть осмысленная, да склонность фантазировать и дали все. И никакие это не пророчества. Я полностью расплевался со званием пророка. Оно меня, надо сказать, очень раздражает. Хочется думать, что меня все же считают литератором, а вопросы, увы, задают как Ванге или Кашпировскому. А я просто все выдумал, и насчет совпадений – не ко мне, а к Ельцину.

Дело в том, что у меня есть несколько возражений. Первое – насчет Вас самого. Дело в том, что, на мой взгляд, наблюдательность, детали, галстук или еще что-либо, по-моему, обязательное положительное качество для самого серьезного писателя, а во-вторых, скажем, Чехов серьезный писатель, а читать его не скучно.

Давайте исключим классиков. У них было и то, и другое, и вообще

все. Классиков исключаем. Я, по крайней мере, с ними не равняюсь.

Ну, не говорить же о писателях социалистического реализма.

Что ж, раньше социалистический реализм был единственно верный метод, теперь другие единственно верные...
"Патриотическое" направление? Или вы имеете в виду "другую литературу?"

Да, у нас, на мой взгляд, абсолютно несправедливо, неточно называют это модернизмом, а у них называют постмодернизмом и он существует давно). Причем это – нечто совершенно противоположное тому, что у нас называют модернизмом.

С самооценкой вашей я не согласен. Все, что Вы написали и напечатали я читал, и не глубокими ночами, когда читают детективы для отдыха, а в нормальное время. .

Может быть, я выдаю желаемое за действительное. Я как раз хочу, чтобы меня читали глубокими ночами, в то самое время, когда читают детективы, и сразу до конца. Это для меня самый главный критерий. Если человек открыл книгу и, если у него нет делового свидания уже не оторвался от нее до конца, лучшей оценки для меня не бывает.

Могу сделать Вам комплимент: я открыл Вашу книжку на трассе Париж–Марсель.

Сколько времени вы ехали?

Примерно семь часов. Я подумал, немного почитаю, потом поработаю. Но поработать не удалось.

Вот это действительно комплимент. Это действительно меня искренне и глубоко радует. Все остальное я оставляю дискуссиям "Литературной газеты".

Сейчас существуют разные точки зрения на положение литературы русской в настоящий момент. Многие перестают писать или почти перестают.

Давайте прямо говорить – "почти перестали".

И что вот писатель, я имею в виду настоящего писателя, не тех, кто был...

Ну, с теми уже все кончено, их уже явно никто не будет печатать, тех,кто были "солдатами партии". Я им искренне сочувствую, и во

многом даже понимаю. Они борются за свой кусок хлеба. Другое дело, что за все надо платить. Пришло время им платить... За прежнюю сладкую союзписательскую службу.

Просто вообще издаваться все труднее. Я сужу по себе. Три года назад из рук рвали. "Сочинителя" выпустило мое любимое издательство, мгновенно роман вышел в журнале, а через два месяца уже вышла книжка. А вот сейчас с новым романом уже тяжело. Текст вроде взяли, но размышляют, считают, как продать... И правильно. Бывший "Совпис" тоже хочет томик сделать, почти юбилейный, солидный, но не может, нет денег. Очень грустно, но, с другой стороны, это вполне логичный процесс, такой точно, как во всех других сферах.

Вообще, рынок устанавливается медленно и тяжело. Что в любом коммерческом киоске, то и на книжном лотке, те же проблемы. Сначала появился весь дефицит – Библия, Мережковский и "Радости секса". Что их объединяло? Только одно – раньше этого купить было нельзя. Я, будучи большим любителем оружия, мечтал в свое время достать изданную для служебного пользования книгу Александра Жука "Пистолеты и револьверы". Она на черном рынке стоила 150 рублей. Бешеные были деньги, но найти было нельзя, я бы заплатил. Сейчас она валяется на всех лотках, причем, по нынешним временам, сносная цена... Нужно накормить людей такой "едой". Справочников сейчас издают все больше, какой-то не изданной раньше классики, литературы русского зарубежья...

Другое дело, что эта естественная для нас ситуация – совершенно вывернутая для мира. Когда весь мир жил на такой стадии рынка, мир еще не "ел" такой литературы, какую давно привыкли "есть" мы. А когда они получили развитую литературу, их общество стало достаточно богатым, чтобы даже очень элитарных писателей содержать за счет стипендий, фондов, меценатских издательств и так далее. Менее же элитарным, нормальным образом платить и издавать, потому что они пользуются спросом. Коммерческих писателей содержать не надо, и так с ними все в порядке. Поэтому я не сетую, хотя ясно вижу, что нужда в ближайшее время будет горькая. Ну что сделаешь, надо искать выход. И, между прочим, этот выход для всех находится. Будем говорить о поколении после сорока и до шестидесяти. О тех, кто не успел попользоваться благами "государственного писательства". Заметьте, никто из нас не бедствует в принципе. Все существуют: Сорокин почти все время в Германии, Пригов Дмитрий Александрович здесь бывает только наездами, Виктор Ерофеев в полном порядке – западные университеты, издания, даже опера; что еще можно желать вообще? Это, я думаю, будет предметом многолетней зависти для всех коллег, он, по-моему, единственный писатель, родившийся в Советском Союзе после Катаева, по которому поставили оперу... С одной стороны, есть в нашем поколении писатели, я себя отношу к таким которые склонны больше развлекать читателей; таких всегда купят. Это то, чего я всегда хотел: чтобы перед друзьями, литературными людьми не было слишком стыдно и, чтобы читателю было

интересно. Такие примеры давно есть. Никто не выбросил из серьезной литературы Грэма Грина, например, за то, что читать его безумно увлекательно, — вспомните "Наш человек в Гаване" или "Тихий американец". Есть, скажем, Аксенов, я его считаю своим старшим другом, он на меня очень сильно влияет, на то, что я писал и пишу, и я просто люблю его... Он хочет литературного успеха, успеха у читателя, и это не стыдно. Если будешь писать, желая быть прочитанным, то ничего страшного тебя не ждет — купят. Никогда не было такого, чтобы совсем не выходили книги, достаточно вспомнить издания поры гражданской войны: что тогда только не выходило!

Вы назвали себя фаталистом, а я себя назову оптимистом. Я сейчас прочел одну статью, еще не опубликованную, где пишется, что если мы войдем в цивилизованный мир, то русский писатель, который был всегда учителем, окажется на обочине жизни. Я так не считаю. В России на хлеб может не хватить, но купят книгу. Просто тиражи станут нормальные, во-первых, и, во-вторых, я думаю, что издатели должны будут использовать, как я уже использовал, опыт, скажем, Запада. В Америке мою книгу о неофициальном русском искусстве издали по-английски, но поставили высокую цену. Я при разговоре с директором издательства сказал: "Вряд ли она вам принесет какую-то прибыль". Он ответил, что это их не интересует, и объяснил что они как все престижные издательства выпускают 60% макулатуры и за счет этого могут себе позволить выпускать нечто серьезное. Вот сейчас и я выпускаю поэтические сборники и книги по искусству пятитысячными тиражами, а французские детективы тиражом в 150—200 тысяч.

У меня есть еще одно соображение. Здесь сейчас очень быстро богатеют люди. Они еще темные, конечно, но менее темные, чем такие же нувориши в Америке сто лет назад. И они быстрее станут просвещенными, здесь меценатство возникнет быстрее. Ведь меценатство — это не чистая благотворительность, это реклама, это создание имиджа, и они это все понимают.

Недавно я встретился здесь с одним бизнесменом. За последние несколько лет его фирма сделала неплохой бизнес, но, в то же время, он является членом Правления Союза композиторов, он меломан, и я подписал с ним договор на совместное издание двух книг. Так что, действительно, есть, появляются здесь такие люди.

И вопрос заключительный, обычный: над чем Вы в последнее время работали и над чем работаете?

В любой данный момент я могу сказать, что работаю в газете. Но, кроме того, я закончил и сейчас уже начинаю публиковать новый роман — "Самозванец". Прошло его чтение по радио "Свобода", к концу года он выйдет в журнале "Искусство кино" и тут же, надеюсь, в

книжке. Получилось так: когда я его закончил, с удивлением обнаружил, что нечаянно написал нечто вроде неявно выраженной трилогии: "Невозвращенец", "Сочинитель" и "Самозванец". Она теперь, видимо, и выйдет именно в виде трилогии: под одной обложкой и с таким примерно названием: "Приключения настоящего мужчины в Москве и других невероятных местах". Ироническое, конечно, название. И я придумал, кажется, смешной жанровый подзаголовок: "Трельяж". Это не трилогия, а именно "Трельяж" – зеркала, три зеркала под углом, в которых, как всегда в литературе, рассматривает себя автор. И если "Невозвращенец" – это прямо вдали установленное зеркало, то "Сочинитель" и "Самозванец" – это два зеркала, показывающие два профиля, в общем одного и того же человека, одну и ту же ситуацию, одно и то же время. Это два романа об одной любви на фоне смутного политического времени, на фоне политического триллера – с тем лишь отличием, что если против сочинителя ведут войну его герои, представляющие в основном наш национал-социализм, наши "большевик-патриоты",– то уже "Самозванцу", написанному в этом году, активно противодействуют люди, называющиеся официально "демократами", партийные функционеры, оставшиеся и при новой власти у власти безо всякого ущерба для себя. Злодеи чуть другие – но все тот же триллер и все та же грустная любовь.

Взял интервью Александр Гезер

ВПЕРВЫЕ НА РОДИНЕ

Дмитрия Краснопевцева, натюрморты которого отличаются сдержанным благородным колоритом, строгостью линий и лаконизмом, всегда называли любимцем московской интеллигенции. Вся его квартира, тут и мастерская художника, заполнена старинными книгами и кувшинами, высушенными морскими звездами, раковинами, причудливой формы камнями. Эти предметы, в зависимости от своего эмоционального состояния виделись ему каждый раз по-иному и неустанно включались в композиции, поражающие редкой пластической завершенностью и чистотой. Не случайно как-то после посещения Краснопевцева у меня написалось:

Натюрморты, натюрморты, натюрморты,
Слышу Баха я чистейшие аккорды...

Критик Елена Мурина в предисловии к каталогу персональной выставки Дмитрия Краснопевцева, которая состоялась в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити под Нью-Йорком в 1990 году, пишет: "... Он приобрел своим искусством то, что дороже всех званий и наград: имя, репутацию, которые достаются лишь тем, кто создает свой художественный мир, свой стиль, свою ни на кого не похожую образную систему. Скажешь "Краснопевцев", и сразу же встают перед глазами его строгие, отточенные до совершенства предметные композиции-натюрморты, каждый из которых явился плодом углубленного размышления и неторопливого, лишенного поверхност-

ных эффектов, прочувствованного мастерства. И, главное, вспоминаешь затаившуюся внутри содержательную мысль, которая открывается лишь по мере такого же неторопливого вживания в суть изображенного... В наш век скоростей с его культом динамики, изменчивости, все больше и больше определяющих стилистику и восприятие искусства, он утверждает "старомодные" категории гармонии, равновесия, статики, с которыми соотносит свои приемы построения картин. Он сознательно противостоит новому "идеалу" эстетически недолговечного, преходящего, даже мимолетного, отражающего якобы динамику XX века".

Художник выбрал камерный жанр натюрморта сознательно: последний предоставляет наибольшую независимость от погоды ли, от настроения ли, от модели. И, конечно, аскетичные натюрморты – не ломящиеся под яствами столы, не символы быта, а нечто отрешенное, вечное, – это уход от лживо-оптимистических будней, жажда замкнуться в сфере излюбленных тем и незыблемых вещей. Если, например, другой выдающийся русский художник Олег Целков ведет как бы непрерывный диалог с человечеством, то Дмитрий Краснопевцев предпочитает его не замечать.

И при всем том, при такой вот замкнутости, скажем, даже аполитичности художника, судьба его сложилась нелегко. Он стал первым из неофициальных живописцев, по которому ударила пресса тоталитарного режима. Это случилось в 1956 году после того как статью о Краснопевцеве поместил американский журнал "Лайф".

Более тридцати пяти лет прошло с той поры, с тех давних лет, когда зарождалось неофициальное русское искусство, наиболее видные фигуры которого ныне в сущности представляют во всем мире современное русское искусство.

Картины Дмитрия Краснопевцева за эти годы демонстрировались на многих групповых выставках русских художников-нонконформистов в музеях и выставочных залах Австрии, Франции, Италии, Западной Германии, США, Японии и Скандинавии. Его работы приобрели для своего собрания знаменитый ньюйоркский Музей Модерн Арт и многие западные коллекционеры.

В 1990 году в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити под Нью-Йорком состоялась персональная выставка Дмитрия Краснопевцева.

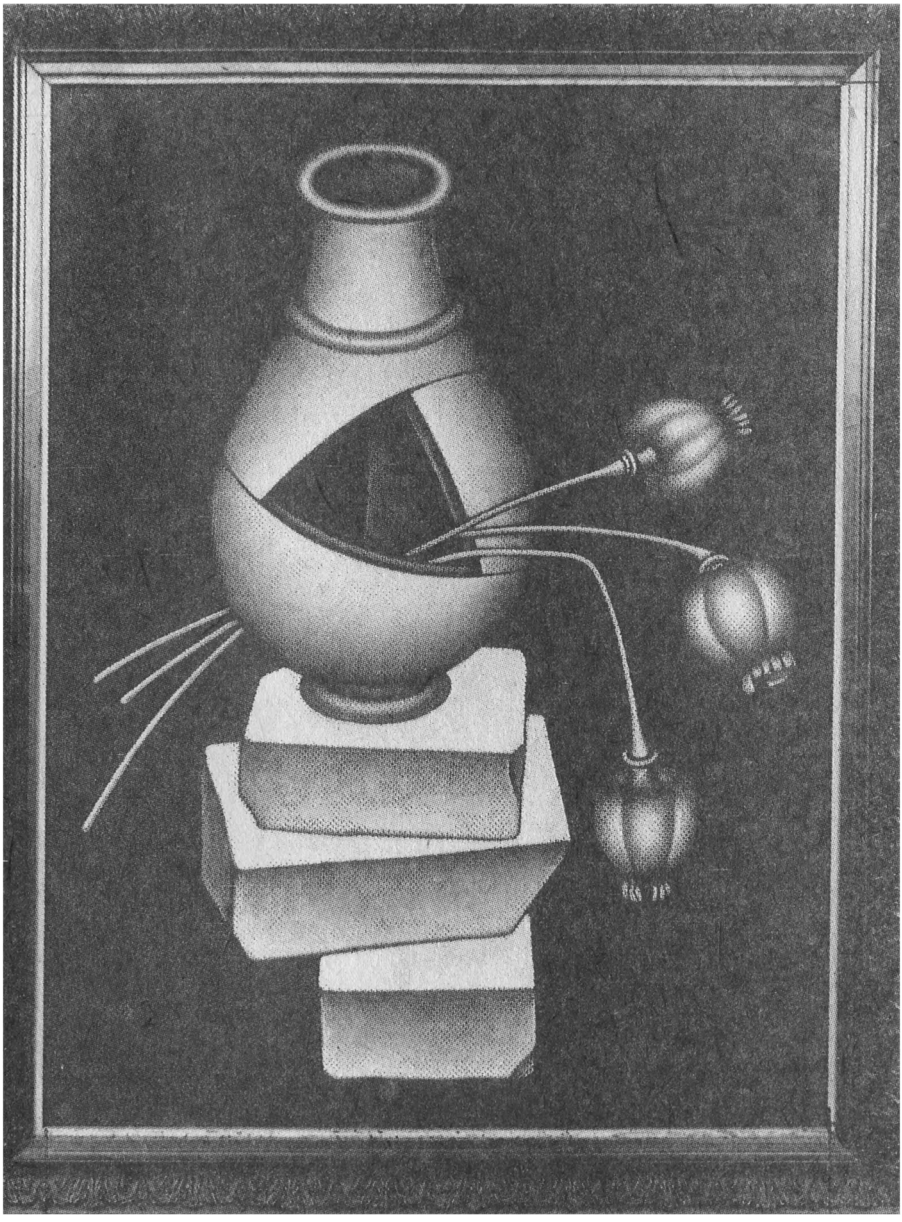
А что на родине? До наступления горбачевской оттепели Краснопевцев, как и все его друзья художники-нонконформисты, считался нарушителем общественного единомыслия. "Бомбами, начиненными враждебными идеями", – называли их произведения советские журналисты. Во второй половине шестидесятых годов в Москве в Доме художника состоялось несколько выставок из частных коллекций. На одну из них я принес натюрморт Краснопевцева. Когда его сняли с выставки, я обратился в райком партии и спросил в чем дело. "Вы сами понимаете", – ответили мне, но в конце концов милостиво разъяснили: "Что изображено на натюрморте? Кувшин. Но почему

растения выходят из него не как положено, а вбок, проламывая стенку?.." "Фантазия художника", – ответил я. "Нет, это не просто фантазия, – заметил мой партийный собеседник, – это он хотел показать, что, мол, хотя мы и запрещаем выставлять подобные картины, все равно они таким вот образом, откуда-то сбоку на волю пролезут".

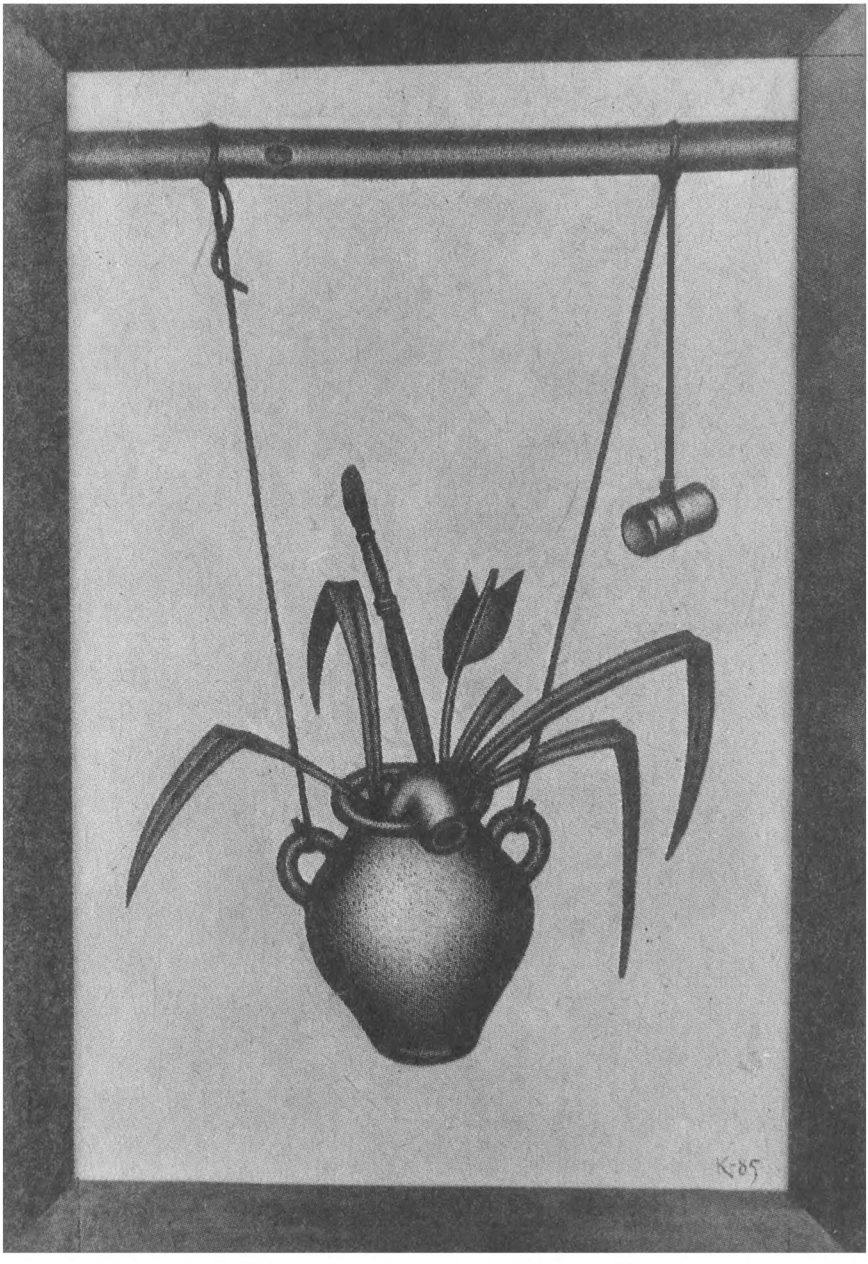
В общем, хотя художника, как я уже говорил, и называли любимцем московской интеллигенции, его творчество в шестидесятые и семидесятые годы было знакомо только узкому элитарному кругу ученых, живописцев и, конечно, музыкантов. Ведь великий пианист Святослав Рихтер дважды в 1961 и в 1975 годах устраивал у себя на квартире экспозиции своего любимого художника.

И вот только теперь доступ к произведениям Дмитрия Краснопевцева получил широкий зритель, получил, ибо в Москве, в Центральном Доме художника открылась его персональная ретроспективная выставка. Среди почти пятидесяти представленных на ней картин – работы и пятидесятых, и шестидесятых и всех последующих годов, вплоть до написанных уже в 1991 году. Организатором этой экспозиции стали Центры современной русской культуры (Париж – Нью-Йорк), а издательство "Третья волна" (Париж – Москва – Нью-Йорк) выпустило к открытию выставки в серии Библиотека нового русского искусства монографию, посвященную жизни и творчеству замечательного русского мастера.

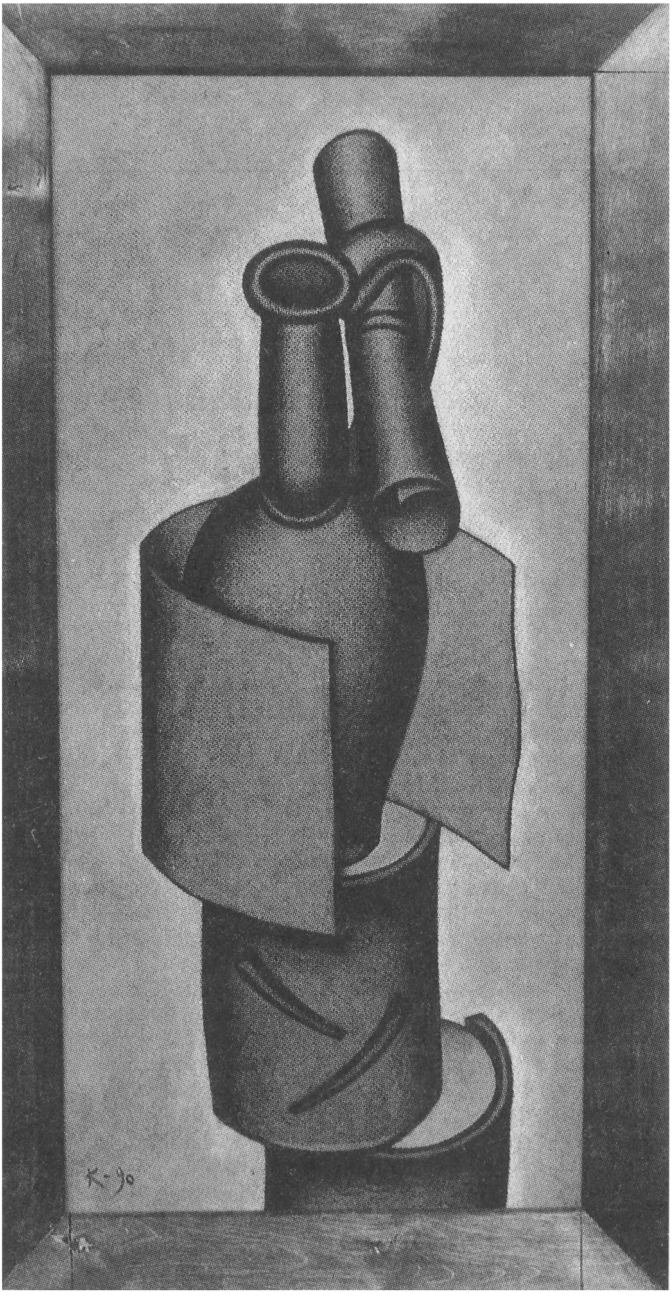
Александр Глезер



Дмитрий Краснопевцев. Ма ки в разбитом кувшине, 1972



Дмитрий Краснопевцев. Висящий кувшинчик с трубкой, 1988



Дмитрий Краснопевцев. Кувшин и рулоны, 1991

Григорий Анисимов

АРОМАТ ВСЕГДАШНЕЙ ЖИЗНИ

(Давид Петрович Штеренберг)

"В нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось". Осень своей жизни художник Давид Петрович Штеренберг встречал невесело. Воодушевленными верховными чиновниками укротители искусства – разных мастей угодники, льстецы, холуи, неистовые ревнители чистоты стиля и метода наглели, резвились и не молчали. Штеренберг как мог держался в осаде, но штурм не стихал: художника дергали, нервировали, морили – и печатно, и устно, вызывали на различные обсуждения, диспуты, разборы и требовали объяснений, ставили в повестку дня "вопрос о Штеренберге". Скорбная мысль наталкивала его на самый простой выход, но жена, сын... Нет, нужно быть терпеливей, набраться домоседной мудрости. Недавно на одном обсуждении его натюрморты обозвали эстетскими упражнениями и сплошным гурманством, а в других работах нашли эклектизм и вычурность. Одним словом, формалист Штеренберг злонамеренно и бесцельно уродует действительность и деформирует ее, потому-то он и является московским парижанином высшего сорта, который идет по пути вырождающегося западного искусства.

Бывший председатель Художественной коллегии Отдела изобразительных искусств, начальник ИЗО наркомпроса, Д. П. Штеренберг чудом избежал участи А. Древина, В. Голицына, А. Щипицына, В. Антощенко-Оленева и многих других художников, ставших жертвами сталинских репрессий. Возможно, сыграло тут свою роль покровительство наркома А. В. Луначарского, с которым до поры до времени как-то считались.

Много лет назад я впервые увидел штеренберговскую крестьянскую девочку "Аниську" и сразу полюбил ее автора, еще не зная, кто он. Картина художника поразила меня радостной свободой восприятия мира, искренностью и простотой. Она напоминала песню любви, которая ошеломляет не мелодией, не словами, не голосом певца, а той восторженностью бытия, которая рождается в чистой, щедрой душе.

И названа картина была просто – "Аниська", словно мастер нашел точное имя времени, о котором он хотел поведать.

У стола стоит девочка в малиновом сарафане, в грубых катаных валенках. Она о чем-то глубоко задумалась, традиционно по-крестьянски сложив руки на животе. В ее позе, выражении лица и взгляде есть что-то сиротливое, одинокое, неустроенное. Но жалости Аниська не вызывает. И сострадания не просит. Ее нежный, чистый, типично русский облик с выложенными на лбу темными волосами будто освещен изнутри. Эта девочка несет в себе свет. В ней живет трезвая и суровая вера в добрый мир, живет надежда на то, что все образуется, устроится к лучшему. Вся картина согрета огромным сердечным теплом художника, который спрессовал время в комок. Острый ракурс стола подчеркивал главное – драгоценный хлеб.

"Аниська" Штеренберга очень походит на икону – и по лаконизму, и по выразительности, и по особой пронзительной, щемящей человечности. Живое ощущение красоты и гармонии, пленительность просветленного и собранного облика девочки запоминаются, впечатляют. Художник всеми возможными изобразительными средствами добивается того, чтобы его персонаж воспринимался в реальной исторической среде. Смотришь на Аниську и понимаешь: итак, мы в России, в 20-е годы XX века.

Точный, правдивый, пронзительный документ эпохи оставил нам Давид Штеренберг.

Когда я впервые попал в Москву, Давид Петрович Штеренберг жил на Верхней Масловке с женой и сыном.

Каждый день, когда утро было в разгаре, если не был болен, он отправлялся к себе в мастерскую, которая помещалась на Рождественке. Часть пути он проделывал пешком, потом садился в трамвай. В мастерскую Давид Петрович всегда спешил – ему хотелось поскорей очутиться у мольберта, продолжить начатое или затеять что-нибудь новое. Недостатка идей, замыслов, чувств, которые требовали воплощения на холсте, он пока что в себе не замечал. А потому путь свой проделывал споро, с наслаждением.

Штеренберг любил узкие московские улочки, на которых теснился народ и скрежетали, мелодично позванивая, уютные трамваи, освещенные полосами желтого солнечного света. А больше всего любил детей. С каждым из представителей этого младого племени он охотно заводил разговор, который становился интересным для них обоих.

– Малыши – вот настоящие люди! – говорил Давид Петрович.

Дети всегда чувствуют искренность, доброжелательность – обма-нуть их невозможно. Черствых и злых людей они стараются

обойти стороной, зато к добрым так и льнут. А Давид Петрович по природе своей был очень добрым, открытым, чистосердечным человеком. Это чувствовали не только дети.

На своем крутом и нелегком жизненном пути он проделал столько всякой работы, столько всего пережил и превозмог, что другому бы и на три жизни хватило. Нужда, лишения, голод, слежки и преследования за политическую деятельность в годы самодержавия, скитания, борьба за свои убеждения – все это не ослабило, а закалило. Сил, правда, поубавило, но не сломило, не родило злобы и ожесточения. Штеренберг был опытнейшим мастером художества, владел он своей профессией в совершенстве и отдавался любимому делу с наслаждением. Своим ученикам во ВХУТЕМАСе он говорил: – Вы не думайте, что я вам все расскажу и все покажу – и вы сразу станете художниками. Нет! Учитесь сами, подражайте, пожалуйста, кому угодно, только не мне. Я буду помогать вам своими советами и замечаниями. Главное – это увидеть своими глазами. Добиться "сделанности". Никто не убежит от жизни, которая ему определена. Ищите динамизм, фактуру, цвет. Больше работайте.

Ученики ВХУТЕМАСа в мастерской профессора Д. П. Штеренберга чувствовали, что их зовут к активному пониманию мира.

Больше всего в искусстве Давид Петрович не любил надутых и бездарных дураков, посредственностей, деляг, гоняющихся за деньгами и легкой славой.

Отношением к миру, дыханием, глазами, всем своим существом Давид Петрович был художником. Какие бы житейские удары ни обрушивались на него, спасение он находил в работе и радовался тому, что рука его держит кисть привычно и уверенно, как в годы юности. За себя он был спокоен – жизнь прожита честь-честью, спину ни перед кем не ломал, за выгодой и славой не гнался, спеси от своего богатого опыта и положения не приобрел.

Профессия всегда накладывает отпечаток на облик человека. У Давида Петровича на всех фотографиях лицо добрейшее и значительное, без всякого "наигрыша" и рисовки. Это лицо художника. Человека, который хочет обрести, а не нахватать. Ведь чувства и мысли художника, еще когда он без кисти в руке, концентрируются в формы, в краски, в нечто, чего прежде не было и быть не могло, ибо каждая картина – это представление данного художника о том, что он выбрал из окружающего мира сам. Он нашел композицию плоскости, цветовое решение. И это избранное, выхваченное из видимого мира стало живописью. А в ней-то Штеренберг был к себе абсолютно беспощаден. Он мог целые дни проводить в кропотливой ювелирной отделке и шлифовке каждой своей картины.

Это умение он воспитывал в себе с юности.

Он ремеслом своим гордился необыкновенно, любил свои простые орудия производства – кисти, краски и понимал, что чисто ремесленническое производственное качество его живописи имеет весьма определенную ценность.

Как мастер он отвечал за каждое свое детище.

Я смотрю на людей, которых писал Давид Петрович, на очень простой и поэтичный мир в его натюрмортах. В самом заурядном цветочном горшке с зелеными стеблями растений у Штеренберга слышится "музыка сфер", ощущается аромат мироздания. Самые обычные папоротники, подымающиеся к синему небу, скромные парижские дворики – серые, голубоватые, фиолетовые, стена дома, перспектива улицы, распахнутое окно – во всем обостренная зоркость мастера, его повышенная человеческая чуткость, его душевная отзывчивость. Динамичность композиции, контрасты объемов, плоскостей, цвета – в этом Штеренберг неповторим.

Когда кто-то говорил о его работах, Давид Петрович всегда внимательно слушал. Но слушался он только самого себя и делал то, что подсказывала ему совесть художника. Его картины открывают новое понимание формы, пространства и цвета, ритма, музыкальности каждой линии. Он был наследником русской традиции в живописи и преклонялся перед мастерством французских художников. Я смотрю на живопись Штеренберга и вижу, что мир у него живой, он движется, дышит, пульсирует. Плоскости внезапно наклоняются, взлетают вверх. Формы целесообразны, они накладываются друг на друга, разбегаются, а цвет становится устойчивовым духовным и как будто единственным жизненно необходимым. В картинах Штеренберга нет ничего лишнего, изыска. Это всегда особая кристаллическая ясность, радующая глаз.

Писатель Юрий Осипович Домбровский, побывавший на выставке Штеренберга, пришел в полный восторг. Он сказал, что картины Штеренберга напоминают ему, что он попал в чистилище, в преддверие желанного мира. Туда входишь грешным, неубедительным, мутным, а выходишь чистым, свежим, обновленным. И это чистилище крайне важно и необходимо для живых, ибо в аду оно – невозможно, а в раю – бессмысленно. Именно для живых.

С самого раннего возраста Давид Петрович проявлял наклонности к живописи, все время рисовал и писал красками. По признанию самого художника, обучаться искусству всерьез он начал поздно, с 23 лет. Он совмещал учебу в Академии Витти в Париже и работу за кусок хлеба. В "Автобиографии" Давид Петрович вспоминает: "Настоящую школу художества я прошел в Париже с 1906 по 1912 год под руководством профессора Анри Мартена и испанца Англада Камароза. В 1912 году представил на жюри Весеннего национального салона портрет. Он был принят и получил хорошие отзывы".

Родился Д. П. Штеренберг 14 июля 1881 года в большой и бедной семье в Житомире. Отец его был служащим на постоялом дворе.

Мне довелось быть на родине художника – в Житомире в 1945 году, вскоре после Дня Победы. Город был опрятный, зеленый, безлюдный. Редко проходил по улице человек, еще реже проезжала машина. Большую часть городского населения фашисты угнали в Германию. Мы остановились переночевать у знакомых. Они жили в

небольшом деревянном флигеле на бывшем постоялом дворе. Где-то здесь бродил будущий художник Давид Штеренберг. Каким был Житомир в те далекие времена в его юности, представить себе не так трудно. Можно, к примеру, перелистать подшивки двух небольших газет – "Житомирский вечерний листок" и "Житомирская минута". Они хорошо и полно отражают атмосферу провинциального русского города. Житомиру конца прошлого и началу этого века отнюдь не чужды были запросы духовного порядка: впервые в городе шла опера Мусоргского "Борис Годунов", в газетах выражалась радость по поводу улучшения здоровья Льва Николаевича Толстого (это сентябрь 1908 года). Газеты восторженно шумели и о приезде в город Патэ-сына, владельца известной парижской фирмы по производству кинофильмов, и о гастролях комика Зингер-Таля.

И все же город оставался захолустным. Андрей Платонов писал про такие города, что народ в них существует без спешки, служит с усердием, но ярости в труде не знает. А через 10 лет уроженец Житомира – Давид Петрович Штеренберг станет правительственным комиссаром по делам искусств, войдет в плеяду художников, которые с революционной страстью и яростью будут закладывать основы новой художественной культуры.

Можно вполне представить себе радость Анатолия Васильевича Луначарского, когда в поле его зрения попал молодой живописец Давид Штеренберг в бытность его в Париже, в начале нашего века. Обладатель редкого художественного таланта, повышенной жизненной стойкости, человек острого ума, предельно скромный и даже застенчивый, Штеренберг целиком покорил будущего наркома. Ему очень понравились работы художника, среди которых не было ни одной без пластической идеи, без поэзии и озарения. А узнав, что Штеренберг – выходец из провинциальной ремесленнической среды, Луначарский проникся к Штеренбергу еще большей симпатией – ведь он и сам был таким же. В милом юноше он увидел одного из тех молодых русских людей, которые ведут в Париже отчаянную материальную и идейную борьбу с жизнью.

Я разглядываю старинную фотографию. Это Париж первого десятилетия нашего века. Вот Штеренберг того времени – высоколобый, худой, с густыми черными усами. Веселый, открытый, в белой рубашке, кареглазый, полный планов и сил – таким он запечатлен на той фотографии. Тогда Париж называли "столицей мира". Там мужал талант не одного Давида Петровича. "Он бедствовал, но каждый день я видел его с мольбертом и ящиком – он шел писать пейзажи" – так вспоминает Штеренберга той поры И. Эренбург в своей книге "Люди, годы, жизнь" (И. Эренбург. "Люди, годы, жизнь", М. 1961, кн. 1–2, стр. 214).

Первая жена Давида Петровича – Н. Д. Штеренберг рассказывала, что жили они с мужем в Париже предельно скромно, бедно, нередко голодно. Но от этого мало унывали. Были чисты,

бескорыстны и никогда не знали чувства собственной неполноценности оттого, что не имели постоянного жилья, вещей, достатка. Жили дружно и счастливо, потому что были молоды и полны надежд.

Как художник Давид Штеренберг созревал медленно. Он осваивал опыт импрессионистов. Ему нравились светлые и нежные красочные сочетания, радость и ясность образных открытий этих мастеров. По душе ему была и кристалличность формы у кубистов с их прозрачной чистотой тона. У них он учился развертывать пространство как соотношение предметов, следующих один за другим.

В ранних работах его волновала и проблема передачи движения; что особенно заметно на его картинах "Танец" и "Ночной кабак". Пробуя различные методы изображения, художник больше всего стремился к тому, чтобы пространство в его картинах не было повторением внешнего мира, а становилось новой средой. Штеренбергу важно было истолковать соотношение предметов по-своему: если он рисовал стол, то он распластывал его крышку по плоскости, если изображал чашку или пирожное, то ему важно было передать их выпуклость, фактуру, шероховатость или гладкость. В своих привязанностях, симпатиях и антипатиях художник никогда не был сектантом – он восхищался Рембрандтом, считал богом Матисса, любовался силой и простотой Домье, Курбе, Милле. Ему были по душе все новейшие завоевания в области искусства. Возможно, больше остальных современников он любил француза Озанфана и голландца Ван Донгена. Это были учителя, товарищи, единомышленники. Штеренберг гордился, что выставляется в Салоне "независимых" вместе с ними, а рядом висели работы Матисса, Утрилло, Марке.

После долгих скитаний маленькая семья Штеренберга – он сам, жена и маленькая дочка обрели более или менее постоянное место жительства. Это был знаменитый "Улей" на улице Данциг. Там жили поэты, художники, литераторы из многих стран мира.

Ничего показного, фальшивого, мертвящего в "Улье" не признавали. Атмосфера чистейшего вдохновения царила там во всех "сотах", а пчелки, как их ласково называла консьержка, были людьми странными, непоседливыми, беспокойными. Существование этих художников, которых называли поначалу "монмартрской бандой", а потом более уважительно – "Парижской школой", обогатило искусство нашего века. Обитатели "Улья" умели проказничать, шутить, смеяться, сидеть до утра за скромным дружеским столом. В работе они были беспощадны к себе, скидок не делали. Потому в их мастерских и было полным-полно законченных холстов. Это были картины сомнений и открытий, озарений и ошибок, вдохновений и провалов. В каждом авторе были отвага, живая жизнь, мужское начало.

Уже написаны книги о художниках "Улья" – там бывал Модильяни, который умел передать трепет времени и высокую правду человечности. Поразительно праздничный, грустный, нежный художник. Сказочно живописный Сутин, уроженец небольшого местечка Сми-

ловичи, о работах которого мечтают крупнейшие музеи мира. Осип Цадкин, родившийся в Смоленске, – создатель одного из лучших памятников XX века – "Разрушенного Роттердама", ставшего символом протеста против насилия, деспотизма, войны, фашизма. Неподалеку от этих гордых, талантливых, независимых художников снимал мастерскую неистовый испанец Пабло Пикассо – их друг и соратник. Утрилло, Паскин, Ларионов, Гончарова, Руо – все они приходили в кафе "Ротонда", которое стало генеральным штабом мечтателей, художников, поэтов. Владелец "Ротонды" – кабатчик Либион искренне полюбил своих необычных посетителей. Часто кормил и поил их бесплатно.

В те времена А. В. Луначарский писал небольшие статьи в газету "Киевская мысль". В них он рассказывал о художественной жизни Парижа. Такое явление, как "Улей", он не пропустил, назвав его "коллективным гнездом художников и местом наиболее сильного прибоя и наиболее безумных парадоксов". Ставшая уже персонажем нескольких книг, консьержка "Улья" мадам Сегондэ сокрушалась: "Мои дорогие детки, мои милые художнички, почему у вас ничего не покупают, почему вам ничего не платят?"

Заброшенный среди пустырей, окруженный трубами небольших фабрик, "Улей" был расположен неподалеку от скотобойни. Там постоянно слышался вой обреченного на убой скота. И под эту раздирающую душу мелодию в тенистом саду возле дома у мольбертов и каркасов для скульптур трудились молодые художники, которые прославились во всем мире.

Марк Шагал в книге "Моя жизнь" вспоминал обстановку "Улья": "Из мастерской какого-нибудь русского художника слышались, бывало, рыдания разобиженной натурщицы, у итальянцев пели песни и играли на гитаре, у евреев бесконечно спорили, а я сидел один в своей мастерской при свете керосиновой лампы. Тут было полно картин, холстов, то есть, собственно, не холстов, а разорванных на куски моих простыней, полотенец, рубашек. Без сна проходили целые ночи. Горела моя лампа, и я горел вместе с ней. Никто не покупал моих картин. Я даже и не думал, что это вообще возможно". А рядом с Шагалом на втором этаже "Улья" жил Давид Штеренберг. Часто к ним в гости приходил поэт Блэз Сандрар и вел их завтракать.

В книге Жанины Вернод об "Улье" рассказывается: как-то в "Улей" пришел поэт Гийом Аполлинер. Он прошел по коридору, где по стенам сочилась вода, было темно и можно было легко сломать голову в темноте кромешной. Шагал показывал поэту картины. Их еще мало кто видел. Штеренберг, углубляясь в себя, тихо сидел в углу. Его глаза лучились теплом. Он очень любил Гийома и его поэзию, дружил с ним и был рад каждой встрече. Аполлинер разглагольствовал по поводу живописи, а потом вдруг вопросительно взглянул на Штеренберга и сказал: – Ах, что я вам морочу голову, давайте я лучше прочту стихи... – И он стал читать:

Мы знаем любовь, которая так же, как свет,
наполняет пространство...

Я люблю вас, художники, как тяжелую кисть винограда
как солнце, как снег и сады золотистого цвета
Люблю!
Нам новые, новые, новые звуки нужны позарез,
чтоб каждая буква в памяти нашей звучала,
словно удар колокольный...

Поэт перевел дух, вытер ладонью потный лоб. Шагал мельком взглянул на Гийома, подбежал к нему, обнял.

– Ты умница, Аполлинер, умница, – повторил он с нажимом, – ты пишешь о том, что всех нас волнует. И краски наши тоже должны звучать как удар колокольный – тогда мы выживем! Но нам сейчас помимо стихов нужны статьи в газетах. Нужен покупатель, он сам не идет, его нужно тащить на веревке. Дай хотя бы в разделе хроники что-нибудь про нас. Тогда зашевелятся маршаны... Мы должны продавать свои вещи... Сделай, Гийомчик, благое дело!

Поэт дал слово наладить рекламу...

...Лето в Париже кончалось. Дни еще стояли теплые. Но желтые яркие языки осени уже лизнули деревья. Настроение у художников было светлое, радостное: много солнца, воздуха, трепетных теней под деревьями. У Давида Штеренберга и Марка Шагала приняли работы в Осенний салон. Для Парижа каждое открытие Салона было событием немалым – праздник искусства, встречи, смокинги, цветы, прелестные женщины, охваченные волнением дебютанты, кипящие от злости авторы, которых отвергло жюри.

Давид чувствовал себя победителем. Он попал наконец на большие смотрины живописи – все знаменитости будут там! Все к черту! Ура! Пора держаться наравне с великими!

На выставке к нему на всех парах подлетел Аполлинер.

В руке он держал газетный лист. – Я о вас тут написал, черти, про обоих – про тебя и Марка! Где он?

– Там в толпе, – неопределенно махнул рукой Штеренберг. – Дай хоть взглянуть. Он нетерпеливо развернул газету. Там была заметка и две репродукции – с его картины "Набережная Сены" и Шагала – "Влюбленные". Когда Штеренберг увидел свою картину – клише вышло не слишком-то удачно, но все равно здорово, – сердце у него радостно прыгнуло. Под маленькой заметкой, где упоминались их имена, были помещены стихи Аполлинера.

Штеренберг, которого кто-то хлопал по плечу, здороваясь, кто-то толкал и теснил, стал с трудом вчитываться в лесенку поэтических строк:

Я принялся плакать, вспоминая детство,
а ты мне в ответ – страшный фиолетовый цвет...
Твоя картина напомнила мне один день,
День, сотканный из сиреневого, желтого, голубого,
Из зеленого и красного цвета.
Тогда я уезжал в деревню,
а в руке дымилась очаровательная трубка...

И рука держала на поводке собаку.
Я эту простенькую трубку из тростника
не сменял бы на жезл маршала Франции...
Теперь ее уж больше нет у меня –
моей маленькой трубки из тростника,
а есть только дымовая труба вдали от меня,
она курит русские папиросы...
Золотые кольца около сандалей зажглись на солнце,
и волосы твои как приемник чудесного тока
шлют свой свет через Европу,
вспыхивающую маленькими разноцветными огоньками.

Штеренбергу стихи Аполлинера показались необыкновенно нежными. Лирический огонь так и рвался из них. Как это у него? Про разноцветные огоньки Европы? Здорово! Образ нашел какой! Художники в этом мире – тоже огоньки. Погаси их – и наступит кромешная тьма на земле... Настанет пора тупого, скучного благоразумия.

... Внезапно надвинулась война. Ее жесткое леденящее дыхание и безумный лихорадочный жар ощущались повсюду. Во Франции была объявлена всеобщая мобилизация. Мир перевернулся. К сборным пунктам маршировали люди в штатском с вещмешками, узлами, чемоданами. Патетика, свойственная французам, возбуждала всех, даже русских. Раскатывался и набирал силу воя барабанный грохот официального патриотизма. Ушли в армию художники Кислинг, Брак, Дерен, Купка, Фернан Леже, поэт Блэз Сандрар. Они верили, что нужно выполнять солдатский воинский долг. "Кто бы поверил, что людоедство может дойти до такого предела?" – напишет впоследствии Аполлинер, а пока что и он отправился служить в артиллерийский полк. Даже Модильяни побежал на призывной пункт, но его отправили обратно. Только Пикассо видел будущее лучше, чем если бы оно было настоящим, – он уехал в Авиньон, подальше от угара войны и убийства. Сплоченная семья парижских художников, поэтов, дерзких новаторов и единомышленников понемногу распадалась.

Давиду Штеренбергу война была отвратительна. От большевиков он усвоил, что эта война не "освободительная", не "за отечество", не "национальная", как ее пытались представить те, кто ее разжег. Все лозунги были простыми побрякушками для одурачивания людей. Война войне рознь. Пройдет 27 лет, и в 41-м Давид Петрович отправится на призывной пункт в Москве. Военком устало взглянет на него красными, воспаленными глазами:

– Идите домой, папаша. Вам сколько? Шестьдесят? Домой, домой, не мешайте. Вы кто? Художник? Вот и хорошо, воюйте пока кистью. А понадобится – вызовем!

И Штеренберг будет воевать кистью. В "Окнах ТАСС", в Иркутске.

Когда сегодня смотришь на картины Давида Штеренберга, написанные три четверти века назад, или на его натюрморты 20-х – 30-х годов, на ум невольно приходят слова Экзюпери: "На планете Ма-

ленького принца всегда росли простые, скромные цветы". Несмотря на изощренность, изобретательность, сложность пространственных построений, в работах Штеренберга ощущается какая-то земная ось, вокруг которой вращаются созданные художником миры. Главное в штеренберговских мирах – любовь к жизни, к человеку, бесконечная доброта. Жизненная позиция автора полна достоинства, благородства, в ней много бесстрашия. Вся живопись Давида Петровича необыкновенно одухотворена.

Еще в годы парижской жизни художник написал портрет отца. Это образ высокой человечности и душевной силы. Художник изобразил реального человека, отрешенного от быта и жизненных волнений. Луначарскому, который видел этот портрет в "Улье", лицо отца напомнило лица дожей, а высоко застегнутый пиджак показался костюмом эпохи Ренессанса.

"Цветы и гипс", "Цветок у окна", "Ирисы" – в этих натюрмортах того же периода художник персонифицирует духовную сущность видимого мира, любя каждый сантиметр холста. Он пишет этюды обнаженной модели, любуясь гармонией форм, внутренним движением, контрастами цветовых масс. В этих работах Штеренберга есть и здоровая чувственность, и жажда любви, и поэтическое обобщение жизни. Художник любит красоту, и когда пишет обнаженную модель, он думает, что красота есть обещание счастья. Нечего и говорить, что парижские улочки, дворики, набережные, пейзажи юга Франции, воспоминания о Киеве и Житомире – все это обретало в работах художника живую гибкую экспрессию, порой замедленную и выверенную, порой неистовую и темпераментную.

Как-то Роберт Фальк в письме из Парижа обмолвился: здесь каждый шаг нужно отвоевывать, стиснув зубы. Штеренберг это понимал очень хорошо. Он работал упорно, настойчиво, ставя перед собой все более сложные задачи и решая их. Парижские каталоги тех лет дают представление о том, с кем выставлялся Давид Штеренберг. Это П. Боннар, А. Альтман, А. Озанфан, М. Утрилло, А. Матисс, А. Мерке, С. Валадон, К. Ван Донген. Дело совсем не в наборе громких имен – каждый художник идет своим путем. Но сама атмосфера художественной жизни Парижа оказывает на Штеренберга влияние самое плодотворное. Он учится у всех, но не подражает никому.

"Париж стал очень большим центром русской живописи, – отмечал Луначарский в статье "Молодая Россия в Париже" (Киевская мысль, 1914 г., № 37), – к нему притягиваются со всех сторон юноши, жаждущие красоты и творчества. Больше всего притягивает их Париж не своим великим искусством прошлого и не признанным искусством настоящего, а кипением всевозможных, безудержных и безоглядных исканий". Одним из первых среди тех, кто сразу же попал на твердую дорогу и с радостным волнением пошел по ней, Луначарский называл Давида Петровича Штеренберга.

– Вы не только живописец, Штеренберг, но и поэт, мне нравится ваш уверенный вкус, ваша уверенная рука, вы отбрасываете ненужные

детали, мне нравится конструктивность в вашей живописи, – так сказал однажды Луначарский, познакомившись с новыми работами художника.

– Это еще не совсем то, – ответил Давид Петрович, – я совсем не такой уверенный, как вам кажется. Я всегда считаю, что написанное мной – только первый шаг к чему-то настоящему. Мне страшно думать об успехе и славе. Я хочу сомневаться и думать только о том, что мне предстоит сделать.

Штеренберг попадает в обойму тех, кого начинают хвалить парижские газеты. Это Сутин, Пикассо, Брак, Модильяни. Штеренберг держится в тени. Возможно, большой успех был бы для него тяжким, губительным бременем, но его талант замечен.

Из "Автобиографии Давида Штеренберга": "В 1917 году я был приглашен для участия на выставке у Бернгейма в группе лучших художников Франции. В том же году меня пригласили оформить пьесу Гийома Аполлинера – сатиру на империалистическую войну. Работал я вместе с художником Сёра и Ирен Лягу. Пьеса и оформление имели большой успех.

После Февральской революции решил вернуться в Россию, несмотря на хорошее положение мое во Франции. С первых дней моего возвращения стал работать в Московском Совете у Малиновской. Затем был назначен комиссаром Петровского дворца и членом комиссии по охране памятников старины. Но вскоре Луначарский вызвал меня в Петроград, где я был назначен и утвержден В. И. Лениным Правительственным комиссаром по делам искусств.

В первые месяцы шла усиленная работа по сближению художественной интеллигенции с Советами. Дел было по горло: охрана памятников, организация на новых началах художественных школ – от высшей до низшей. Я начисто лишен был возможности заниматься живописью. В 1917 году участвовал на выставке в галерее Добычиной своими прошлыми работами. Первая выставка в России моих работ состоялась не то в 1915, не то в 1916 году. Там было три вещи – портрет и две композиции. Их выставили в Союзе русских художников. Работы прислал из Парижа. В 1919 году участвовал на групповой выставке – Шагал, Альтман, Штеренберг".

Итак, в Россию Давид Петрович вернулся уже вполне сложившимся мастером. Одиннадцать лет, прожитые в Париже, завершили процесс художественного формирования. Иной живописец считает себя мастером, понимая под этим чисто ремесленную сторону дела. По многим высказываниям Давида Петровича видно, что мастерство для него – категория нравственная. Искусствовед А. Эфрос с удивлением отмечал, что Штеренберг оказался вовсе не шумным, не старался давать себя чувствовать, не красовался на виду: если он и лидерствовал, то где-то за занавесом, внутри, неощутимо.

Выступать с речами Давид Петрович затруднялся, но слушала его любая аудитория всегда с большим вниманием.

Я перелистал некоторые стенограммы выступлений Штеренберга. Мне захотелось услышать его голос. Устами Давида Петровича заговорило само время: "У нас много разговоров о новизне. Спорить о первенстве и принципах мы будем потом. Сейчас у нас общий враг. Вы все знаете – буржуазия развратила художника, сделала его своим наемником, поденщиком, рабом. Мы должны стряхнуть с себя костлявые объятия старой буржуазной культуры. Старое надоело, опротивело. Хватит! Мы создадим новое пролетарское искусство. Каким оно будет – мы еще не знаем. Посмотрим... Не все что буржуазно – то плохо. И старое искусство знало эпохи расцвета. Демократические элементы принимали участие в создании художественных ценностей, большое участие. Мы видим это участие широких народных масс в искусстве Египта, Греции, в искусстве Древней Руси, наконец, в тех художественных памятниках, которые были созданы в эпохи великих старых коммун Италии, Франции, Фландрии".

Живопись Давида Петровича, появившаяся на выставках в 20-е годы, для многих была новой, неожиданной, своеобразной. Это была завершенная, продуманная, точная во всех своих деталях система. Язык его полотен был прост и отчетлив.

– Я считаю, – говорил Давид Петрович, – что художник, который любит кого-нибудь или что-нибудь сам, располагает и нужными средствами выражения. А я начал искать другие средства. Почему? А просто потому, что мне приходилось самому работать, бороться против мертвечины в искусстве, против того, чтобы вещи писались не сердечно, не внутренне. Я не утверждаю, что сделанное мной хорошо. Только набитый дурак может стоять на такой точке зрения. Мой путь может быть неправильным, но это мой путь. Я стремился к простоте, к композиции, к ясности. Почему я не могу, если мне захочется, дать крестьянскую девушку, еще в начале голода? Мне захотелось дать этот драгоценный хлеб. Я считал правильным такой способ работы. Я считаю нужным сказать, что я сделал большую ошибку: мне следовало бы продолжить, несмотря на все нападки, свою "Аниську". Но меня в известной мере сбили, и я начал делать вещи другого порядка, – из хороших чувств, из желания пойти на доходчивость. Я считаю, что мои первые вещи были значительно лучше...

Любое выступление Давида Петровича по вопросам искусства – это исповедь, разговор начистоту, искренний, бесхитростный.

В одном из писем к своей жене – художнице М. С. Гранавцевой Давид Петрович писал: "...Полетим с тобой и сыном, обязательно, это чудесное ощущение, и вид земли мой, штеренберговский. Очень интересно... Если бы я мог написать мечту, ведь только это и стоит писать. Я сегодня смеясь глядел на закатные облака: они напомнили мне жженую сиенну, которую ты увидела на Волге и так тепло передала. Их было много, и чем ближе к солнцу – тем пылающе они желтели. В них все розовело, и казалось, что гнался петух за быком, загоняя его прямо в солнце". Штеренберг был трезв и точен даже в своем романтизме.

Я разглядываю листки петроградской газеты "Искусство Коммуны". Она пропитана лирикой новой жизни, честной страстью ее коренного переустройства. Статьи А. Луначарского, В. Маяковского, Н. Пунина, К. Малевича. Вот номер от 9 февраля 1919 года. В нем статья Д. Штеренберга "Критикам из Пролеткульта". В ней говорится: "Вы кричите о пролетарской культуре. Вы взяли на нее монополию. Но что вы сделали за все это время в области школы, театра, поэзии, художества, музыки? Ничего.

Вы – пустое место. И если мы, группа молодых художников, создали школы, в которых каждый пролетарий может получить технический навык и, выявив свое лицо, создать новое, то мы имеем право говорить, что мы что-то сделали. Мы, ломая старые формы человеческой культуры, создаем новые, соответствующие новому содержанию. И мы имеем право утверждать, что мы делаем большое революционное дело". В той же газете художник К. Малевич писал: "Наше время огромно – сильно трепещет в нервном беге... Наш двадцатый век нельзя засунуть в кафтан Алексея Михайловича или надеть на него шапку Мономаха".

В то же время, как всякий и значительный, и сложный художник, Давид Штеренберг претерпевал определенные изменения. Если сравнить его композиции парижского периода "Эмигрант-рабочий", "Завтрак", "Наш двор", "У реки" с работами "Селедка", "Простокваша", "Женщина на диване", созданными в первые послеоктябрьские годы, станет очевидно, что из картин Штеренберга постепенно уходят элементы кубизма. Его мало интересует точное и прямое отображение эмпирического мира. Художник относится к форме как к результату мощного взаимодействия материала, цвета, пространства. Штеренберг считает, что картина – это своего рода изобретение. Написать ее – значит мобилизовать все элементы. Нужно максимально использовать материал – поверхность, фактуру, упругость, плотность, вес и другие качества материала. Нужно использовать цвет – насыщенность, силу, чистоту, прозрачность и другие качества цвета. И, наконец, нужно использовать пространство – объем, глубину, измерение и другие его свойства. Также нужно использовать время в его пространственном выражении и в связи с цветом, материалом, композицией.

Давид Петрович работал в разных жанрах. Любил он портрет. И говорил, что если нет лица у художника, нет индивидуальности, то не может быть вопроса о портрете. Он приводил в пример Рембрандта и Сезанна, которых сразу можно отличить. Ведь портрет, в конце концов, настаивал Штеренберг, – это биография человека, а не явление момента. У Рембрандта Давид Петрович ценил умение организовать светом формы так, что им подчиняются и руки, и ноги, и голова, и фон.

Никто и никогда не видел Штеренберга грубым, резким, вспыльчивым даже в периоды жизни трудные, переломные. За свои убеждения он стоял до конца. В тяжелые для себя времена он не впадал в состояние растерянности, а его привыкшие к работе руки не опускались в безволии.

Давид Петрович обожал Тинторетто и говорил, что этот художник, как солнце, и сияние его отразилось на многих живописцах. – В искусстве, – подчеркивал Давид Петрович, – непременно должна жить мысль художника, если этого нет – искусство становится мертвым. Штеренберг восхищался портретом Эль Греко "Инквизитор" и говорил, что не знает в искусстве портрета ничего более выразительного, более замечательного. Он замечал, что искусство часто развивается вопреки вкусам окружающей среды. Вкусам, которые явно устарели: так было с Рембрандтом, импрессионистами, Пикассо. Его любим-цами были Веласкес, Гойя, Ван Донген. И сам Давид Петрович был творцом новых методов живописи. Он нашел собственное положение объема в пространстве. Как художник он представляется явлением совершенно уникальным, не имеющим прецедента ни в русской живо-писи, ни в европейской. У него был свой собственный метод образных характеристик, свой стиль, свой язык. Ему всегда был присущ дух поиска.

Штеренберг открыл свои формы условности, скрытой символики, подтекста так же, как Ларионов, Петров-Водкин, Шагал, Филонов. Он пользовался художественными приемами, непривычными для реалистической живописи. В то же время живопись Штеренберга удивительно органично продолжает русскую традицию знаменитых натюрмортов – "обманок". Художника влечет предметный мир, он волнует мастера как некая новая реальность в пространстве. Штеренберг любит жизнь необыкновенно и в каждой своей работе он ошеломительно нежен. Если бы Штеренберг писал только натюрморты – он вошел бы в историю искусства как мастер глубинного проникновения в скрытую человеческую теплоту предмета. "Натюрморт с вишнями", "Натюрморт со спичками", "Натюрморт с капустой", "Яйцо в рюмке", "Столик и ёлка", "Натюрморт с сухарями", "Белая ваза на красном фоне" – десятки сюжетов, простых, скромных, будто второстепенных и необязательных, – но сколько в каждом из них новизны, свежести, философской и психологической содержательности! И при этом мастер добивается ощущения материала, передает зернистость хлеба, скользкость рыбы, аромат цветка, шероховатость дерева. Одним словом, неповторимую жизнь каждого предмета. Художник любит каждую вещь в натюрморте и хочет добиться уважения к ней зрителя.

Каждая картина, считал Давид Петрович, должна быть замкнутым целым, ее нужно создать средствами контраста цвета, контраста тонов и света.

Когда в 1927 году открылась персональная выставка Д. П. Штеренберга в Москве, искусствовед Я. Тугендхольд в статье, помещенной "Известиями" на видном месте, писал "...Забота о качестве, о формальном совершенствовании у него на первом плане. Штеренберг – один из самых культурных и тонких наших мастеров" (Известия, 1927, № 65).

Тот же Тугендхольд в другой своей статье, опубликованной в "Новом мире" (1926, № 4), проницательно заметил, что искусство всегда

двигалось вперед не безропотными исполнителями заказа, а бунтарями, ниспровергателями старых вкусов, разрушителями признанных кумиров, отрицателями канонизированных форм. Все это в полной мере относилось к Давиду Петровичу. Открывать новое в каждой картине – с таким девизом Штеренберг прожил жизнь. Он обладал аналитическим умом, острой интуицией, даром прозрения. Это было большое, природное, первоклассное дарование.

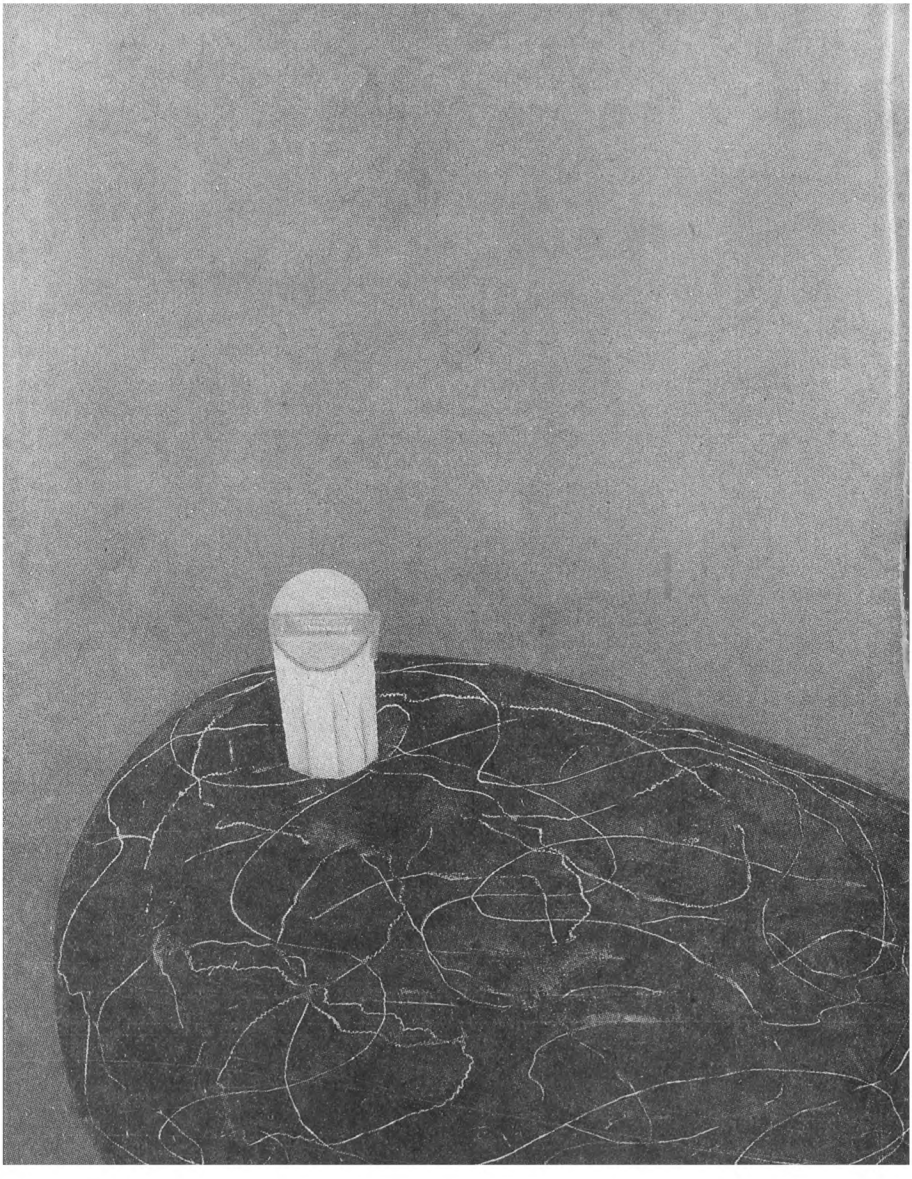
В 30-е годы Д. П. Штеренберга упрекали в тяготении к формализму. На одном из обсуждений говорилось, что чайный совхоз, куда Давид Петрович ездил работать, для него такой же безразличный материал для красочного экспериментаторства, как и его "простокваши", "селедки" и прочее. Художника обвиняли в пристрастии к "товарному фетишизму", в тяготении к примитиву. Слышать и читать подобное о своей работе Давиду Петровичу было горько и обидно. Ему, который с восторгом принял Октябрь и был выдвинут в число активнейших деятелей новой революционной культуры.

"А что остается от нас, смертных, – писал Давид Петрович в письме к жене, – как не наши усилия воспеть быстро уходящую жизнь, небо, звезды и любовь к людям?" Сознание своей высокой миссии творца и любовь к людям – вот объяснение многого в живописи Давида Петровича.

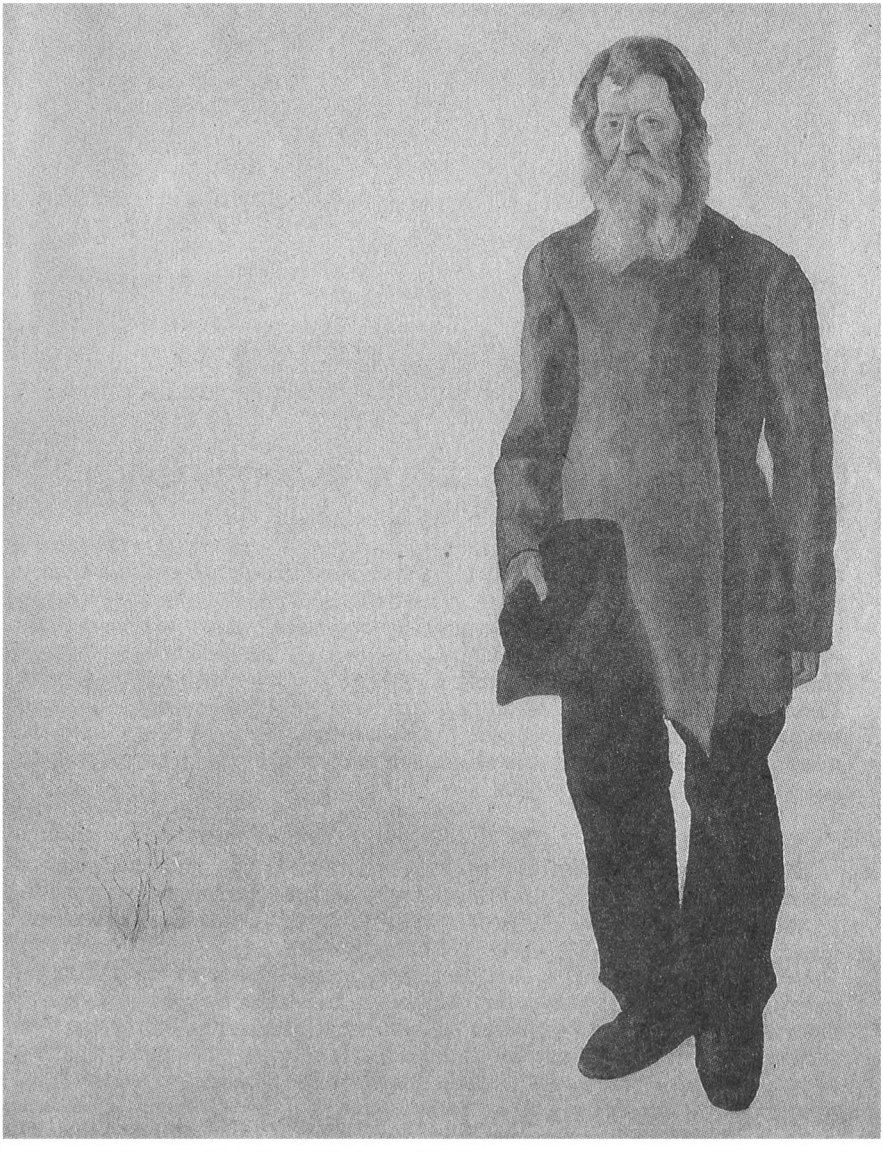
Картины Штеренберга доносят до нас обаяние личности этого человека, его редкостную доброту, душевную щедрость. И вот я думаю: протяженность человеческой жизни во времени почти ничтожна. Окончилась ли биография Д. П. Штеренберга в 1948 году, когда его не стало? Продолжается? В жизни его картин, в жизни его сына и внука, которые пошли по пути отца и деда?

Москва

Давид Штеренберг. Тетя Саша, 1922-23



Давид Штеренберг. Простокваша, 1919



Давид Штеренберг. Старик, 1935

Перед началом дискуссии. Слева направо: Лев Аннинский, Елена Иванова, Андрей Писарев, Игорь Чубаров, Дмитрий Галковский, Константин Кедров, Александр Глезер

"ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА В МОСКВЕ"

Двенадцого сентября в Москве открылся литературно-художественный салон "Зеленая лампа". Его началом стала дискуссия между шестидесятниками и восьмидесятниками, в которой приняли участие Александр Глезер, литературовед Лев Аннинский, литературный критик Евгения Иванова, философы Дмитрий Галковский, Андрей Писарев и Игорь Чубаров, поэт и критик Константин Кедров и поэт Григорий Марговский. Мы предлагаем вашему вниманию полный текст этой дискуссии, которая, к сожалению, с нашей точки зрения, практически так и не объясняет, за что восьмидесятники столь сильно невзлюбили шестидесятников.

Александр Глезер: На протяжении последних полутора лет в нашей прессе происходят баталии между шестидесятниками и восьмидесятниками, причем "агрессорами" являются восьмидесятники. Находясь в Париже, я прочел в "Независимой газете" острую статью Дмитрия Галковского, и мне показалось, что будет интересно провести дискуссию. Я хотел бы получить ответ на вопрос: что такое шестидесятники с точки зрения восьмидесятников, тем более что мне не совсем понятен термин "шестидесятники". Вот почему издательство "Третья волна" (Париж–Москва–Нью-Йорк) и альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли "Стрелец" решили

провести сегодняшнюю встречу. Шестидесятники, как известно, были разные. Говоря шестидесятники, я и мои друзья всегда имели в виду людей определенного типа, людей бескорыстных и мужественных, которые сделали немало для того, чтобы мы могли сегодня сидеть вместе за этим столом, свободно беседовать и публиковать после этого то, что считаем нужным. Заслуга шестидесятников в том, что именно они начали борьбу за свободу, и многие из них прошли через лагеря, психушки, многим пришлось расстаться с родиной. Шестидесятники, в конце концов, – это и Иосиф Бродский, и Александр Солженицын, и Андрей Сахаров. Речь ведь идет не о возрасте, а о том, когда люди начали литературную деятельность или вступили в противоборство с режимом. Я и сам себя отношу к шестидесятникам по началу своей общественной деятельности. Нас обвиняют в том, что нами владели иллюзии. По-моему, это прекрасно, когда людьми движут иллюзии. Та часть шестидесятников, которая отстаивала свободу слова, свободу самовыражения, свободу творчества продолжала бороться за свои идеалы и после того как иллюзий не осталось , а в стране начался откат назад после первой "оттепели". И я думаю, что иллюзии, во всяком случае, много лучше, чем нигилизм и цинизм, который я встречаю в среде многих журналистов-восьмидесятников, прозаиков и даже поэтов. О художниках я уже и не говорю...

Константин Кедров: Не в этих ли свойствах шестидесятников обвиняли с самого начала?

А.Г. Я очень хорошо помню шестидесятые годы (я сейчас говорю о художниках, тех, которых называли "неофициальными"): это было чистое и бескорыстное время, когда художники не могли выставляться, то есть, они организовывали выставки, которые тут же закрывались. Художники не могли продавать свои картины за доллары, марки и франки. Иными словами, творчество художников было бескорыстным, и ничего лучшего в изобразительном искусстве с тех пор у нас в стране, на мой взгляд, не создано. Когда я впервые в 1989 году приехал в Москву после многих лет изгнания, молодой искусствовед Наташа Бриллинг повела меня по мастерским художников. Знаете, что меня поразило и даже вызвало шок? Никто не спрашивал: а как там художники на Западе? Какие направления искусства на Западе сейчас существуют? Девяносто процентов молодых живописцев интересовались, где можно продать повыгоднее свои картины. У меня сложилось впечатление, что я нахожусь не в Москве, а где-нибудь в Лос-Анжелесе. Чисто западный прагматизм. И только посетив провинцию (в частности – Уфу, а вот недавно Нижний Новгород), я обнаружил художников, которые жили как бы в 60-х годах. Никого не интересовали чисто прагматические вопросы. Всех волновала проблема – как бы выставиться, продемонстрировать свои картины. В провинции ведь все происходит медленнее, поэтому художникам там труднее устраивать экспозиции. Я считаю, что 60-е годы были замечательны, и недаром произошел такой расцвет творчества в прозе, в поэзии и в изобра-

зительном искусстве. Я хочу услышать возражения, чтобы у нас затем началась дискуссия, бурная, но мирная.

Дмитрий Галковский: Можно согласиться со словами нашего гостеприимного хозяина. Принципиальных возражений по поводу здесь высказанного у меня нет. Действительно, совершенно верно, что шестидесятники – это люди, в значительной мере повлиявшие на создание того мира, в котором мы сейчас живем. Конечно, он не без недостатков, но то, что мы в нем существуем, уже говорит о его жизнеспособности. Перемены, ради которых люди страдали, находились в изгнании, сделали возможной и нашу сегодняшнюю встречу. И в этом, я думаю, немалая заслуга девяноста девяти процентов поколения шестидесятых годов. Другое дело – какова эта заслуга? Каково активное влияние того или иного поколения на события? Я думаю, что это был стихийный идеологический процесс. Люди вовлекались в него помимо своей воли или сознания, хотя каждый конкретный человек, а не поколение в целом, разумеется, имел полную свободу выбора, и этот выбор делали многие. Но в целом была очень сложная программа смены ориентации общества, потому что Россия всегда являлась неким промежуточным организмом, она всегда принадлежала одновременно и Востоку, и Западу. Для меня события 17-го года – это резкая азиатизация страны, которая была бы невозможна в других условиях, при другом обществе. Произошел скачок, когда буквально за несколько месяцев страна из достаточно цивилизованной и культурно-развитой превратилась в какого-то кровавого двойника...

К. К.: А Германия 33-го года?

Д. Г.: Ну, понимаете, события, произошедшие тогда в Германии, явились следствием процессов, которые происходили в России. Та чудовищная болезнь, которая началась в России, стала давать метастазы. Влияние России на события в Германии было огромным. Фашизм вообще возник здесь... Я – сторонник биологического подхода к общественным событиям... Я как-то думал о развитии языка. Не надо думать, будто в свое время собрались пещерные люди и стали говорить, предположим, на русском языке, придумали склонения, спряжения, падежи и т. д. Уже на достаточно высоком уровне развития, когда возникла наука риторика, стали анализировать оформившийся язык и обнаружили, что там шесть падежей, четыре типа окончаний и т. д.; оказалось, что все это функционально обусловлено. По крайней мере, если брать праязыки, к примеру – санскрит, древнегреческий, то их развитие было естественным. Я думаю, что события в истории, достаточно масштабные, происходят по каким-то внутренним законам, и роль поколений в их развитии весьма и весьма относительна. Другое дело, если прибегнуть к чисто личностному подходу, то он окажется психологическим или религиозным, а не хронологическим...

К. К.: Это марксизм!..

Д. Г.: Я не думаю, что это марксизм. Как раз марксизм исходил не из понимания каких-то естественных законов и потребностей

человека, а скорее из завуалированных, потому что в марксизме отрицалось понятие собственности, присущее даже животным. Возьмите собаку: у нее есть своя конура, своя миска – это ее собственность. У волков есть понятие своего ареала, понятие какой-то территориальной принадлежности. Это такой же мощный инстинкт, как и инстинкт половой... Общество, игнорирующее эти естественные потребности, становится регрессивным и очень неровным по составу. Пакость марксизма не в изучении этих законов, объективно существующих, а в игнорировании их и навязывании каких-то совершенно мифических, абстрактных доктрин, которые понимались чрезвычайно упрощенно.

Лев Аннинский: А чем лучше навязывание культурологических доктрин?

Д.Г. : Собственно говоря, марксизм виноват не в том, что он отрицал то или это, а в том, что он отрицал свободу человеческой воли в принципе, свободу человеческого выбора.

К.К.: Ну, это то же самое. Какая мне разница, говорят ли мне, что я не свободен, ибо подвластен действию экономических законов или же по вине некоторых архетипических основ?..

Д. Г.: Я уже подчеркнул, что нам нужен все-таки другой подход... Мы должны вести речь не о поколениях. Речь ведь шла о том, что такое шестидесятничество, что такое конкретная историческая ситуация и что такое конкретный человек: в какой степени он сформирован из типологических черт, а в какой – из индивидуальных.

К.К.: То есть существуют разные подходы?

Д.Г.: Мы отталкиваемся от типологического подхода, и если говорить о том, что этот подход порочен, то порочен любой подход. Но если мы его уже выбрали, то имеет смысл говорить о некоторых его недостатках. И потом,– в выступлении прозвучала фраза, что восьмидесятники обвиняют в чем-то шестидесятников. Это совершенно неверно, во всяком случае, в моей личной ситуации, потому что обвинения предусматривают какое-то активное начало. У человека есть какая-то точка зрения, он видит каких-то людей, оценивает их, и оценивает негативно, оценку же эту пытается навязать под соусом объективности. Это и есть, как мне кажется, некое обвинение. С моей же стороны такого обвинения нет, потому что бессмысленно обвинять какой-то вид в том, что он б ы л ... Это субъективный подход к явлениям, которые совершенно не поддаются объективизации. С другой стороны, у меня возникает некоторое ощущение отчужденности по отношению к шестидесятникам, потому что я вижу, как многие вещи они оценивают по-своему, и оценка эта настолько отлична от моей, что просто очень трудно иногда бывает беседовать и улавливать, о чем, собственно говоря, идет речь. В этом отношении произошли довольно существенные сдвиги, и мне кажется, что эти сдвиги в значительной степени просто биологические, потому что, кроме ситуации внутри культуры, есть какие-то ситуации в самой сущности человека в свете конечности его существования. Есть

позиция юнца, позиция молодого человека, человека средних лет и, наконец, старца. Естественная динамика взаимоотношения поколений не изменилась со времен Древней Греции. Еще Сократ упрекал младшие поколения в том, что они – нигилисты. Как правило, молодое поколение, появляясь, начинает все отрицать, потом набивает себе шишки, затем в течение какого-то времени оно занимается самоустройством в этом мире и, наконец, в определенный период переходит на позиции людей старшего поколения и превращается в хранителей и передатчиков каких-то культурных ценностей, начиная сопротивляться излишней эмоциональности новой генерации. Мне претит не то, что это происходит, а то, что в данном случае это принимает не слишком удобоваримые формы. И эта неудобоваримость исходит именно от шестидесятников, потому что, мне кажется, они до сих пор не нащупали позицию людей зрелых и опытных, которые являлись бы охранителями и хранителями. С одной стороны, в этом есть положительная сторона, потому что они хотят общаться на равных. Они хотят видеть в более молодых собеседниках коллег и даже зачастую отрицают поколение как понятие. А эта новая генерация совершенно не приемлет той ситуации, в которой находятся ее предшественники. Я лично не знал никакой поддержки со стороны людей старшего поколения. Полемизируя со мной, надо помнить, что я человек еще совершенно неизвестный, не имеющий никакой социализации в этом обществе и пребывающий в совершенно ином социальном ранге. Позиция старца – это прежде всего позиция человека, у которого нет конкурентов. И если к нему приходит двадцатилетний человек и говорит: "Вы жили неправильно, вы жили ошибочно", – он не воспринимает это буквально. Он видит лишь себя в молодости, узнает черты собственного былого нонконформизма и думает: "Я ему, пожалуй, помогу. Он немного смешной, но, сдается мне, говорит он весьма забавно." Вот такого отстранения я у зрелого поколения не вижу, и со мной его представители полемизируют часто на равных и задевают меня всерьез, отлично понимая, что я пока не готов ответить им тем же. У них должна быть определенная социальная роль, роль, когда авторитет абсолютен, их биологический авторитет. Мне кажется, это какой-то инфантилизм. И этот инфантилизм побуждает меня выступать в роли, мне совершенно несвойственной, потому что я всегда был человеком, не склонным к нарушениям каких-то социальных норм.

А Г.: Об инфантильности шестидесятников я услышал впервые в 70-м году, когда в профкоме литераторов при издательстве "Советский писатель" меня критиковали за передачу на Запад статьи о художниках. Наиболее консервативные называли меня антисоветчиком и антиобщественным элементом, а главный мой защитник говорил: "Да что вы, он просто инфантилен. Он просто не понимает, что делает."

Л. А.: Но ты с этим не спорил? Это было во имя спасения.

А. Г.: Я и сейчас не спорю. И не возражаю. Да, есть у меня какая-то инфантильность. А разве это плохо? По-моему, это положительное качество, особенно в наше циничное время.

Л.А.: Я хочу спросить у Галковского. Вы сейчас говорите, что не обижаетесь на шестидесятников, точно так же как нельзя обижаться на естественные явления природы. В журнале " Мулета" вы написали, что не обижаетесь на дремавшее поколение, которое стало бессознательной жертвой обстоятельств и не может быть осуждаемо, но вы обижаетесь на шестидесятников, и они достойны обиды, потому что они вас не печатали. Как вы это прокомментируете?

Д Г.: Я писал, что единственные люди, которые вели себя по отношению к власти действительно по-мужски, это представители военного поколения. Вот позиция Ахматовой или Солженицына – это была позиция. Солженицын, конечно, помоложе Ахматовой, но даже в 60-м году он уже отчасти напоминал патриарха. Хотя Солженицын всегда был чрезвычайно темпераментным человеком и резким полемистом, бойцом. Ахматова же и вовсе воспринималась в те годы как патриарх. Она пригрела тогда еще молодого Бродского и тем самым осчастливила его. Это была совершенно нормальная и естественная ситуация. Она даже тривиальна. Никто Ахматовой не организовывал никаких вставаний, никто не награждал ее... а просто все с трепетом ее лицезрели и воспринимали как духовного вождя, как осколок канувшей в Лету культуры.

Андрей Писарев: Замечу, что это немного другое. То о чем сейчас говорилось, играло не только педагогическую роль. Были в этом и другие черты, что совершенно очевидно. Солженицын – более яркий пример, чем Ахматова. Он занимал по отношению к властям однозначно бескомпромиссную позицию... Для многих шестидесятников характерна какая-то невнятность; сумбурность их позиции состояла в том, что они постоянно вели себя двусмысленно по отношению к власти.

Л.А.: А стихи Ахматовой о Сталине?

А.П.: Я, собственно, говорил о Солженицыне. Но все-таки, согласитесь, что это разные вещи.

Л.А.: А "этический социализм" Солженицына, от которого он после отказался?

А.П.: Христианский социализм, вы хотели сказать? Но это совсем другое. Скажем, "Братская ГЭС" – это сознательное заигрывание с властью.

А.Г.: Причем тут "Братская ГЭС"? Вы ведь приводите в пример не тех людей. Не надо путать. Я сам – ярый поклонник Солженицына, разделяю почти все его взгляды на русскую историю и на то, что необходимо России теперь. Но хочу напомнить: вы назвали Солженицына бойцом. А ведь он и общался с власть предержащими как боец.

А.П.: И печатался в "Огоньке" при Сафронове...

А.Г.: ... И когда его выдвинули на Ленинскую премию, вынужден был – а иначе он не был бы бойцом – пойти в Кремль и здороваться за руку с Сусловым, ибо и компромисс иногда является чем-то вроде оружия...

Д.Г.: Тут совершенно другая мера компромисса, согласитесь.

Одно дело здороваться с Сусловым, другое дело спасать своего сына и для этого написать стихи о Сталине.

А.Г.: Вы говорите о других шестидесятниках. Среди восьмидесятников тоже есть разные люди. Мы можем назвать общество "Память" – и там немало восьмидесятников. Давайте уж говорить о тех, кто действительно отстаивал свободу в те времена.

Д.Г.: Вот, говоря на вашем языке, у вас немножко неправильное представление о культурологии тоталитарного государства. Я очень хорошо помню, как была воспринята поэма "Лонжюмо". С точки зрения Хрущева и Политбюро, это была страшно антисоветская поэма, в которой Ленин противопоставлялся Сталину. Похвала в адрес Ленина воспринималась как восстание против деспотизма сталинщины. Причем поэма была написана, когда Хрущев уже метнулся обратно, почувствовал, что как-то все разваливается, то есть вел себя, как в наши дни Горбачев.

Евгения Иванова: Все это уже надоело. Согласитесь, что Вознесенский – единственный советский поэт, который в своем фрондерстве сумел перещеголять Евтушенко. Как же трудно было Вознесенскому!.. Вообще, шестидесятники, по сравнению с другими поколениями – это поколение, которое полностью существовало внутри советской литературы. Вот первое и главное – в н у т р и.

А.Г.: Зачем нам брать Вознесенского и Евтушенко, которые были послами советской страны в Америке, участвовали в лживом десанте Брежнева, зачем говорить, будто это шестидесятники? Давайте вспомним Генриха Сапгира, Игоря Холина, Всеволода Некрасова, Евгения Кропивницкого. Они – истинные шестидесятники! И для них то, что вы сказали, – несправедливо.

Е.И.: Вот что я возразила бы вам на этот счет в первую очередь. Как вообще понимать советскую культуру и советскую литературу? Дело в том, что на самом деле это явление совершенно уникальное и беспрецедентное в истории мировой культуры. Почему шестидесятники ориентировались на Запад? Потому что на Западе были средства искусственного омоложения. Понимаете, литература старела. Эксплуатировать устаревшие темы не представлялось возможным. Все было исчерпано. Что меня больше всего поражает в искусстве шестидесятников, так это их изначальная благонамеренность.

А.Г.: Почему, повторяю, вы все время говорите о тех шестидесятниках, которые входили в официоз, делали карьеру, – хотя я уже подчеркивал и подчеркну еще раз: среди шестидесятников были и знаменитые правозащитники, которые сидели в психушках, лагерях, – это и Владимир Буковский, и Наталья Горбаневская, и Дремлюга. Или Юрий Мамлеев, прозаик, который не входил ни в какую советскую литературу, был вне ее. Были, конечно, художники, соглашавшиеся пойти на компромисс, как, например, Лев Нусберг с группой кинетистов, оформлявший праздники 60-летия Октября, – это один вариант. На такие компромиссы способны и восьмидесятники, я таких знаю. Я говорю о других шестидесятниках, которые ни на какие компромиссы

не шли. Это, например, те же Оскар Рабин, Олег Целков, Александр Харитонов, Дмитрий Краснопевцев, Генрих Сапгир, Евгений Кропивницкий... Когда мы говорим о шестидесятниках, надо помнить об этих замечательных людях, а не о тех, кто делал карьеру. Вот Лев Аннинский – шестидесятник...

Л.А.: Я никогда не выступал против власти.

А.Г.: А дело не в выступлениях. Ты был вне ее, или над ней, или сбоку от нее. Шестидесятники – это те, кто или выступал, или вел себя, как Дмитрий Краснопевцев. Сам он власть не замечал, хотя власть его замечала и запрещала. В том же положении находились Зверев и Плавинский. Среди поколения были разные люди, были и мерзавцы. А что, среди восьмидесятников нет мерзавцев? Тоже есть мерзавцы, я вас уверяю.

Игорь Чубаров: Мне кажется, нельзя говорить, что есть такие-то восьмидесятники и сравнивать их с шестидесятниками, так как отношение нашего поколения ко времени, которое мы представляем, принципиально иное. То есть мы не привязываем себя ни к каким восьмидесятым годам. В отличие от нас, у шестидесятников было прошлое. Мне кажется, что борьба за свободу, отсутствие компромисса не является достаточным основанием для причисления той или иной личности к шестидесятникам. Мне кажется, что Евтушенко и Вознесенский – все-таки поэты. Отношение ко времени – вот, мне кажется, одна из самых характерных и глубинных характеристик шестидесятников. Шемякин – замечательный художник – тоже становился в 60-х годах, но его нельзя назвать шестидесятником.

А.Г.: Почему вы шестидесятниками называете только поэтов, прозаиков и художников, ведь были еще и правозащитники, которые отстаивали ту свободу, благодаря которой мы здесь сидим вместе... Понимаете, я люблю некоторые стихи Евтушенко и некоторые стихи Вознесенского, но как личность Евтушенко мне антипатичен. Человек, который сначала мог посылать телеграммы протеста во время оккупации Чехословакии, а после каяться и вымучивать "Братскую ГЭС", мне неприятен. Впрочем, если мы будем говорить о восьмидесятниках, об их мироощущении, то мы среди них обнаружим немало таких, которые не соответствуют изначальной схеме. Они служат в местах, куда я не пошел бы служить даже за миллионы. Скажем, очень много восьмидесятников работает в газете "День".

Е.И.: По-моему, ваша попытка сослаться на *особых* шестидесятников не совсем удачна и едва ли сыграет вам на руку, потому что, выходя за пределы диссидентского департамента, шестидесятники вставали на новый путь, на Западе начиналась их адаптация. Судьба Буковского на Западе говорит о том, что он и там пытался встать на путь профессионального революционера, пока не закончил университет и не занялся наукой, – стал делать революцию уже в науке. Это все-таки было исключение из поколения... Я все-таки хочу сказать о другом. Шестидесятничество держалось на противостоянии правых и левых. Без этой двуопорности данное поколение вообще бы не

существовало. Если бы Кочетов не нападал, чем бы тогда прославился Евтушенко? Это противостояние было взаимоунижающим, и сейчас, между прочим, главная ошибка левых состоит в том, что в августе они одержали полную победу над правыми, а сейчас продолжают полемизировать с ними. А ведь уже все исчерпано в этой борьбе. Департамент закрыт, борьба окончена. Мне кажется, что кризис шестидесятничества – это конец веры в условности, в существование игры. И началось восьмидесятничество тогда, когда появилась возможность издавать свои журналы, как это ни покажется странным.

К.К.: У восьмидесятников преобладает политика, тяготеющая к карнавальной культуре. Шестидесятники, действительно, часто довольно нелепо начинают полемизировать всерьез, хотя их оппоненты при этом ориентированы исключительно на эпатаж, на "стёб". Вы начали с культурологии – это правильно, потому что для Вознесенского существуют несколько иные правила игры. Скажем, когда Вознесенский или Евтушенко писали свои вещи, лучшие – я не говорю, всякую чепуху – ну, скажем, "Наследники Сталина"...

А.П.: Вы считаете это лучшим?

К.К.: В системе Евтушенко это действительно лучшее. Он выступал как бы с трибуны. Это действительно было свойственно поколению, в этом ему не откажешь. Это было характерно для Сахарова, Солженицына, это есть и у Вознесенского, это встречается даже у Зямы Паперного, когда он пишет пародии на Кочетова, – все равно это рассчитано на некий политический афронт. Когда выступает восьмидесятник, то он смеется над собой, органически, не ставя перед собой идеологической цели; он смеется и над своим оппонентом, который все это принимает всерьез. То есть, происходит то что Бахтин называл карнавалом, то, что в книге Лихачева "Смеховая культура Древней Руси" обозначено как "смеховая культура". У шестидесятников был свой карнавал. Мы собирались, например, читали газету "Правда" на манер литургии, на манер катавасии. Все это было. У восьмидесятников это стало сутью творчества. Сейчас это превратилось в некую новую идеологию. И мне кажется, что многие недоразумения возникли именно на этой основе... На самом деле, для многих из нас не имеют значения ценности идеологические, которые стали бы разделом жизни.

А.П.: Была другая эпоха.

К.К.: Нет, я о другом в принципе. Например, когда человек печатается одновременно в "Независимой газете" и в "Нашем современнике", это не является для вас чем-то вообще значимым. Есть-де тезисы, которые он печатает, и более ничего. Это очень странно...

А.Г.: Но это и моя точка зрения. И в те годы я так считал. Если я могу на страницах кочетовского "Октября" или сафроновского "Огонька" высказать то, что думаю, так ради Бога. Даже когда Ахматову обвиняли в том, что она дала стихи в "Октябрь", она парировала: "Не хочу на вашу возню смотреть. Мне неважно, где это напечатано". Так вот, я разделяю эту позицию... Однако же я вновь

призываю вас не ограничиваться именами Вознесенского и Евтушенко в разговоре о шестидесятниках. Ведь при таком подходе мы можем и Проханова объявить восьмидесятником...

Григорий Марговский: Верную мысль высказал Игорь Чубаров, когда обратил наше внимание на некоторую искусственность такой социокультурной категории как поколение. Деление людей на поколения отчасти напоминает абсурд сталинских пятилетних планов. В литературной критике это деление также неправомочно (хотя муссируется эта тема из номера в номер, скажем, "Литературки"). Важно выделять краеугольные художнические фигуры – допустим, в прозе: Довлатов, Карабчиевский, которые и являются одновременно цветом своего поколения и представительствуют от лица всех носителей русского языка в целом. Неужели же Лев Лосев, Иосиф Бродский несут хоть в малейшей мере моральную ответственность за двурушничество Евтушенко, за нравственно шаткую позицию Вознесенского? Отнюдь. Но ведь собрались-то мы здесь именно потому что статья в "Независимой газете" Дмитрия Галковского изначальным своим посылом имела как бы войну с целым поколением, без какого-либо вдумчивого детерминирования (да еще и с душком претендующей сегодня на оппозиционность правизны). Таким образом, налицо уже некий намек на раскол внутри вашей группы – а я позволю себе назвать вас группой молодых критиков, – раскол, из которого будет явствовать, кто из вас пожизненно ориентирован на слепую иерархичность групповщины и готов до гробовой доски ходить в адьютантах у кощунствующего над прахом Владимира Соловьева модного философа-розановца Галковского, а кому дороже собственное мнение и собственное человеческое достоинство. Я полагаю, что самое разумное – это использовать метод духовного отбора как в разговоре о шестидесятниках, так и о восьмидесятниках.

А.П.: Удивительное дело! Многие здесь ведут себя так, будто мы сейчас вытащим пистолеты и начнем стрелять!..

К.К.: Нет, вас никто не боится, зря вы так думаете.

А.Г.: Нет, мы будем отстреливаться.

Л.А.: Ну, расизм пошел...

Д.Г.: Не надо бросаться такими словами: расизм, фашизм... Если бы я был поэтом, я бы написал поэму, состоящую из сплошного перечня этих замечательных названий...

К.К.: Ну, а как понимать слова Мальгина: "Шестидесятники должны уйти"? Он заявил это недавно по телевидению.

А.П.: Это вопрос к Мальгину.

Д.Г.: Мальгин, как известно, обрушивается с гневными филиппиками на Евтушенко. Я же считаю, что Евтушенко по своему психологическому складу действительно поэт. Поэт – это человек, прежде всего ранимый и слабый, слабый даже в психическом отношении. Но если брать некоторые моменты в позиции Евтушенко, то в целом картина чрезвычайно сложна, и усложненность переходного времени, как таковая, его отнюдь не оправдывает. Вообще человека оправдать нель-

зя, но мы не вправе и судить... Мне совершенно неинтересна культура шестидесятничества. Меня интересуют люди. Творчества шестидесятников, по-моему, не существует.

А. Г.: А Бродский?

Д. Г.: Бродский – талантливый поэт, но он живет не в поэтическое время, когда уже наработан и золотой век поэзии, и серебряный век как некий культурный апофеоз. У Бродского блестящие статьи, я их читал с огромным наслаждением. Бродский сгодился бы в собеседники Цветаевой, Мережковскому... В этом нет никакого сомнения. Но в начале века существовала высокоинтеллектуальная элита, которой в наше время нет... На мой взгляд никакой полемики между шестидесятниками и восьмидесятниками, с культурной точки зрения, состояться не может, ибо шестидесятники для восьмидесятников не являются рефе-рентной группой. Их авторитет в наших глазах безнадежно подорван. Скажем, Илья Эренбург был авторитетом для поэтов начала 60-х годов. Сейчас он никто для нашего поколения. С точки зрения российской, не культурной, а чисто физической, биологической – существование шестидесятников чрезвычайно актуально. И в этом смысле люди более молодого поколения всегда подвержены комплексу Базарова, потому что постоянно сталкиваются с подавляющим их фактом существования старшего поколения. Я, например, столкнулся с этим в таком аспекте: написал в прошлом году книгу и не могу ее опубликовать, потому что никто из людей, имеющих какой-то вес в издательствах, не заинтересован в ее издании. Думаю, что речь может идти здесь об отрицательной реакции на меня людей старшего поколения.

К. К.: Я за тридцать лет не напечатал ни одной поэтической строки, но это меня нисколько не настраивает отрицательно по отношению к старшему поколению.

Д. Г.: Вы не опубликовали в виду цензурных препон, заслуга в установлении которых принадлежала еще более ранним поколениям. Сейчас же можно публиковать все, что угодно. Но я не могу опубликоваться.

А. Г.: Извините, но это проблема эстетического неприятия. Живя в Нью-Йорке и в Париже, я неоднократно с этим сталкивался. Дело в том, что в период перестройки и гласности (такова уж, простите, принятая формула) здесь к руководству журналами и издательствами пришли люди старшего поколения, но уже не те страшные зубры, а либеральные, благожелательные. Но, скажем, так называемую "другую литературу" они не принимали эстетически. То же самое происходило и в эмиграции. Скажем, нью-йоркский "Новый журнал", "Грани" и "Континент" практически отказывались публиковать Юрия Мамлеева, Сергея Юрьенена, Дмитрия Савицкого. Они печатались, в основном, только у меня в "Стрельце". Хотя я и шестидесятник. Это уже зависит от индивидуальной широты эстетического диапазона. Далее вы сказали, что не интересуетесь культурой шестидесятников, но ведь среди них – выдающиеся, известные на весь мир писатели, поэты,

композиторы, музыканты, художники! Или, может быть, вы испытываете неприязнь к любой высокой культуре, созданной шестидесятниками?

Д.Г.: Я смотрю на это иначе. Для меня и моих сторонников всегда существовала некая русская культура. Ее расцвет пришелся на XIX век. Она достигла наивысшей точки совершенства, особенно в области литературы. Но в некоторых областях был и провал, потому что, например, русская литературная критика XIX века оказалась недостойна современной ей русской прозы и поэзии. Вот такой дуализм был органичен для российской духовности, хотя и приходится сожалеть о том, что, например, Достоевский всерьез отвечал Добролюбову на какие-то его похабные статейки. Но после 17-го года произошло разрушение этого дуализма, распавшегося на две совершенно независимые друг от друга области культурной жизни. Выявилась культура советская, которая, к сожалению, уже присутствовала в виде зародыша в народнической критике, и возвела ее в куб; с другой же стороны, нельзя сказать, что 17-ый разом покончил со всем, ибо два миллиона людей, бежавших на Запад, продолжали продуцировать русскую культурную элиту, представленную именами Набокова, Ходасевича, а так называемые внутренние эмигранты (Сологуб, Андрей Белый, Ахматова) едва ли сумели, да и едва ли захотели отождествить себя с советской культурой. Развитие культуры пошло по двум противоположным направлениям. Эмиграция дала обильные плоды, но они не воспроизводились со временем, потому что цепь преемственности в эмигрантской культуре на время прервалась. Старая русская эмиграция всегда была ориентирована на реставрацию монархии. В 20-30-е годы под ружьем находилось несколько дивизий. Члены всех этих офицерских обществ надеялись, что страны Антанты остановят чудовищную вакханалию гегемона. Этого не произошло. Уничтожить Советскую Россию попытались фашисты, а демократические общества пошли на сговор со Сталиным, и вслед за ними повернула оглобли и русская эмиграция. Возник полный вакуум, трагичный для русской диаспоры. Часть ее все-таки встала на сторону Гитлера и была уничтожена как коллаборационистская, часть же, подверженная патриотическим настроениям, как бы слилась воедино с культурным пространством Советского Союза.

А.Г.: И что же?

Д.Г.: Культура подкосилась. Русская эмиграция погибла как некое внутреннее явление, прежде достаточно мощное. Она погибла как раз во время войны. После этого еще существовали отдельные представители, но едва ли несколько десятков стареющих интеллектуалов могли представлять, а тем более развивать огромную русскую культуру. В послевоенном же Союзе – также полный вакуум. Сороковые и пятидесятые годы – это максимальное падение русской культуры, потому что перестал бить родник животворной культуры эмиграции...

К.К.: Простите, но это совершенно не соответствует действительности. Многие из внутренних эмигрантов – представься им такая

возможность – с большим удовольствием забрали бы рукописи и уехали в течение тридцати секунд...

Д.Г.: Не думаю, что этот факт имеет принципиальное значение. Гораздо важнее то, что многие из них в культурном отношении были мощнее представителей русской эмиграции на Западе – они работали здесь, и динамика их творчества, так или иначе, была совершенно реальной. Мы знаем ранних и поздних Заболоцкого, Пастернака, Прокофьева, Шостаковича. И если сравнить, предположим, Шостаковича с Рахманиновым, находившимся в эмиграции, то становится совершенно очевидным, что первый был на два порядка выше. И если бы Шостакович оказался в эмиграции, то *такого* Шостаковича не было бы; надеюсь, это вам ясно – вы были рядом, вы слышали музыку... Возможно, я кощунствую, но культура вообще такая вещь – кощунственная... То же самое Ахматова. Безусловно, в советском искусстве – я говорю не о соцреализме – был ранний Бахтин, был Бахтин поздний (коль скоро уж зашла речь о Бахтине). И в том, что Бахтин писал о творчестве Достоевского и Рабле, а не писал, скажем, о философии поступка (вследствие цензуры) – была глубокая метафизическая правда, поскольку очень трудно русскому человеку философствовать в подобной ситуации. А так он обрел свою нишу – литературоведческую и философскую... Но это отдельный разговор. В общем существует такой феномен, и он гораздо более серьезен, чем чахлая эмигрантская культура. Там была такая ситуация. Либо человек должен был медленно угасать (скажем, Рахманинов и целый ряд писателей и поэтов), либо он должен был входить в мировую структуру, как это сделал Стравинский. Собственно, это была тупиковая ситуация. И мне еще потому неинтересно шестидесятничество и его культурная позиция, что все мощное и глубокое, мистическое взаимодействие культуры и режима в наиболее чистом выражении того и другого уже заложено в этом историческом периоде. Все дальнейшее мне уже просто неинтересно. Кроме того, мне кое-какие вещи непонятны. Например, говорят – Окуджава. Ну как могли нравиться такие чудовищные песни Окуджавы, как "Последний троллейбус"?! Я этого решительно не понимаю! Говорят: "душевность!"... После сталинского террора – душевность. Душевность в искусстве как таковая, сознательно культивировавшаяся на раннем и среднем этапах развития советского общества. Итак, возникал целый театр, поощряемый сверху. Большой театр и разные другие театры. Одно пение Лемешева – когда я услышал (а я давно занимаюсь и интересуюсь музыкой) это устаревшее пение, я был поражен: сколько же там утрированной, чисто "душевной" лирики!.. Ничего подобного в эмиграции не было. Это было сознательное создание государства. Я, возможно, некорректен, но я вообще многого искренне не понимаю. Например, я не понимаю, как после всего этого – после Шостаковича, Прокофьева, Ахматовой, Заболоцкого – можно было всерьез воспринимать Окуджаву и Высоцкого...

К.К.: Если встать на вашу точку зрения, можно писать моногра-

фию о значении японского дворянства в России конца 40-х годов, потому что у нас находилось около миллиона пленных японцев, среди них большое количество самураев. Они писали стихи, как им и приличествовало. И можно говорить то же о советской культуре, о работе Бахтина, скажем...

Д.Г.: Вы меня не поняли. Я говорю о том, что взаимодействие системы и культуры в их наиболее чистом выражении – все это уже было. Но было немало интересного, намного более интересного, чем последовавшее вскоре шестидесятничество... Это был чудовищный спад, и так это будет восприниматься футурологами. Между прочим, и Бродский отмечает это, и Карабчиевский...

А.Г.: Должен заметить, что ваше сравнение некорректно.

А.П.: Ну, хорошо, а если сравнить Окуджаву и Вертинского?

А.Г.: Минуточку. Вы опять не чувствуете эпохи. После сталинщины, в которой мы выросли, когда все было казенно-оптимистическое, вдруг зазвучали песни Окуджавы, с грустью какой-то, пронзительной человечинкой... Что-то человеческое после всего нечеловеческого. Вот в чем дело. А что касается Высоцкого, то он отразил всю жизнь России, ее интеллигенции, и не интеллигенции – всех кого угодно. Любимов рассказал мне такую историю. Они приехали с Высоцким на строительство БАМа. Их сопровождал генерал КГБ. Они шли по улице рабочего поселка. В каждом окне был выставлен магнитофон, откуда хрипел Высоцкий. И рабочие, высовываясь из окон, кричали: "Давай Володя! Не бойся, Володя! Мы за тебя, Володя!". Генерал КГБ грустно сказал: "Если бы они так поддерживали нас". Высоцкий – это феномен. Он выразил Россию в своих песнях. Мне думается, что по его песням будут когда-нибудь изучать историю русской жизни этого периода. И сравнивать Шостаковича...

Д.Г.: Нет-нет, я и впрямь некорректен. Конечно, нельзя сравнивать, я оговариваюсь сразу. Я снимаю это сравнение. Просто, на мой взгляд, культурологически это гораздо менее интересно.

А. Г.: Дмитрий Евгеньевич, вы не закончили свою тираду, я вас перебил. Прошу вас, продолжите...

Д.Г.: Я категорически не согласен с тем, что был такой расцвет культуры. Были отдельные люди, избранные подвижники. Если мы возьмем подшивку эмигрантских, парижских газет тридцатых-сороковых годов, то легко найдем среди них современные издания любого уровня. Они корреспондируют, они оценивают события культурные, в них сотрудничают крупнейшие представители русской культуры. Выходят журналы – некое органичное продолжение ежемесячников начала века. Если мы возьмем, скажем, советские газеты этих же лет, то это материал для психопатолога: никакой информации там нет, это чисто пропагандистские, азиатские, китайские дадзебао. То, что где-то в китайских или советских тюрьмах томились люди, принадлежавшие к старой культуре, совершенно замалчивалось. Известен такой эпизод. На одном из дипломатических раутов Хрущеву сказали: "Знаете, русские еще на деревьях сидели, когда у нас в Китае писали

великолепные стихи". Хрущев же ответил: "Почему? У нас, например, Гумилев был, которого мы расстреляли, Мандельштам был..." В общем, совершенно ясно: советская культура – это культура азиатская, никакого отношения к европейскому сознанию не имеющая.

Г.М.: Это и не культура вовсе...

Д.Г.: Нет, это особая культура, не укладывающаяся в привычные нам рамки.

К.К.: Я все-таки должен обратить внимание на одно недоразумение. Это просто-таки чудовищная клевета и искажение. Ведь все эти ребята думают, будто мы в 60-х годах читали только советские газеты. А мы читали Флоренского, Хлебникова, Мандельштама, Норберта Винера, Эйнштейна. И плевать мы хотели на всю эту совкую галиматью, которую вы почему-то нам навязываете, как будто мы этим жили и с этим себя соразмеряли. Конечно, культура не есть какой-то монолит, кто-то находился в этом, кому-то это было чуждо...

Е.И.: К сегодняшней теме нашего разговора не стоит, пожалуй, приплетать уже ушедших... Давайте-ка лучше послушаем ныне здравствующих мастодонтов публицистики и критики...

Л.А.: Так вы меня в качестве экспоната пригласили? Хорошо, я вам продемонстрирую. Если шестидесятники – это те, кто боролся с властью, то я не шестидесятник. Я с нею не боролся, против не выступал. Где не мешала – благодарю покорно, где мешала – терпел. Более того, я старался ее уважать, потому что я никогда не считал, будто власть – это нечто обособленное от населения. Я источники этой власти очень хорошо чувствовал и в себе самом, и во всех окружающих близких мне людях, и в ниспровергателях ее тоже. Это главное, в чем мы расходимся. Я отдельной власти никогда не чувствовал. Поэтому я всегда искал компромиссов, всегда приходилось жить в этой ситуации, приходилось и Кочетова читать. Иные попадались поталантливее Кочетова – полегче было... Но и среди левых было... вообще по-разному очень было. Смысл заключается не в том, кто подготовил теперешнее райское существование (это "расцвет" еще нам кости переломает!) Никуда трагедия бытия человеческого не делась, зря радуетесь! Просто форма трагедии разная: была азиатская форма – а сейчас будет какая-то другая. Я согласен с Галковским, что XX век – это век Азии. Это я, что ли, придумал? Я попал в этот век. Кто я при этом был: скиф, донской казак, еврей, русский – это меня уже не интересует. Я попал в азиатский век, мой народ жил в азиатском веке. Это была орда. Я внутри этого жил. Нужно было доискиваться человеческих путей. Доискивался. Если ныне считается, что эти человеческие пути пролегают мимо Окуджавы – хорошо, смените пластинку и не слушайте. У вас будет своя драма. Если считается, что я должен быть патриархом, гладить по головке Бродского или кому-то там помогать, предупреждаю, не получится. Я даже и господином-то как-то быть не могу, я все еще "товарищ". А уж патриарха из меня тем более не выйдет. Особенно если тебе говорят, что твое поколение закрывается,

как департамент. Я когда помру, тогда и закроюсь, а пока что я еще жив! Кто там кого "закрыл" – чрезвычайно существенно!.. Понимаете, есть контакты или нет, закрыли нас или нет – у меня совершенно иные параметры. Это, если уж вы как экспонат меня хотите изучить. Дело не в том, кто какую роль сыграл. А дело в предрасположености людей, родившихся в данную вилку. Эта предрасположенность может быть у Николая Островского и у Андрея Платонова, это люди одного психологического типа. У классиков соцреализма и у маршалов Великой Отечественной войны. Это зависит от комбинации звезд, от даты вашего рождения, и от того, какие события произошли в этот момент. Вот на шестидесятников определенно было оказано такое астрологическое влияние, которое могло во что-то поверить, хотя бы и в азиатскую догму. Кстати, вся эта догма азиатская – лишь фиговый листок, на самом деле за нею скрывалась ордынская, воинская дисциплина, без которой страна все равно бы развалилась. Это я сейчас, задним числом, понимаю коммунизм, который на марксистской матрице выстроен. А выстроился бы на христолюбии русского народа – и было бы то же самое, только с другими формулировками. Но вся эта война с коммунизмом, которая ведется сейчас Солженицыным – это все борьба с ветрянными мельницами. Давно ничего за этим не стоит, кроме азиатской военщины – вот мы в ней и живем. Отец мой был азиатский воин и дед мой был азиатский воин. А сейчас это кончается. Если нас Европа отвоюет, значит, будет другая жизнь и вы готовьтесь к этому. Вы новую культуру созидаете – без нас, потому что вы уже живёте в другое время. Я даже не могу сказать с уверенностью, было бы мне лучше там, где будете вы. Я не убежден. Человек не выбирает себе судьбу. Он получает ее свыше. Чтобы вам без нас было трудно? – Позвольте вам не поверить! Я бы мог еще сыграть роль патриарха, если бы ко мне как патриарху подошли. Но поскольку ко мне подходят с двумя вариантами – или "спасибо, что ты нам обеспечил эту свободу", или "что ж ты шел на компромиссы с властью", – знаете, скорее, второе правильно: я, конечно, шел на компромиссы с властью, ибо твердо убежден в том, что диссиденты делаются из того же материала, из которого делаются охранители. Это самые жесткие люди. А тот, кто вроде меня – пытается внутри этой порой массы – как Солженицын говорил: "порая масса" – понять Акакия Акакиевича, продолжать рожать детей и жить дальше – должен быть готов к тому, что его окрестят соглашателем, карасем-идеалистом, премудрым пескарем. Все так, пожалуйста. И вдруг тебе скажут, что ты не годишься на роль патриарха. Правильно, не гожусь. Единственное, могу сказать: мне страшно интересно. Я не стараюсь бежать "задрав штаны" за кем бы то ни было. А помочь кому-то – пожалуйста, если смогу. Ну, хорошо. Вы, для того чтобы издать книжку, Дмитрий Евгеньевич, должны были соблюсти массу ритуальных правил. Я не могу сейчас перечитывать ни одной строчки из моей первой книги. Она называлась "Ядро ореха" и имела некоторый успех, вошла в интеллектуальный фонд поколения. Я там

действительно обдурил редактора. Футболист, чтобы закатить мяч, обошел бы пять защитников, вратаря и закатил бы победно – у всех на виду. Но возьмите, вычертите траекторию этого мяча и удивитесь: чего он прыгал? чего он корячился? чего он бегал? Непонятно. То есть, я танцую ритуальный танец, чтобы высказаться на сотом слове, послать читателю намек, который и будет оправданием всего. Сейчас этот намек – банальность, ибо то, на что я намекал, сейчас ширпотреб, который неловко муссировать, все это гуманные вещи, а оставшиеся 99% – выпендрирование и выдрючивание. Так можно это все читать? – Нельзя. А жить в 1965 году было можно, потому что это была наша жизнь. У вас другая жизнь. Вы нахлебаетесь своего – вас читать не будут. А нас читали из-за сто первого слова. Сто слов лжи терпели, как у Евтушенко, ради сто первого слова полуправды. Вот какая между нами разница. И по-скольку мы вырастали в азиатской, а не в какой-то абстрактной реальности, общего языка между нами действительно быть не может.

И. Ч.: У вас позиция именно патриарха. Это именно позиция человека, который владеет ситуацией, анализирует ситуацию, как сейчас это сделали вы.

Е. И.: Когда мы говорим то же, что вы сейчас, как-то так получается, что другие шестидесятники, слыша это о себе, начинают возмущаться. Поскольку удобна такая позиция: "Как же так, ребята? – Мы для вас все сделали, а вы нас сейчас пинаете! Мы для вас и коммунистическую диктатуру свергли. Мы вам – все, а вы нам что?

Л. А.: И какой шестидесятник вам милей – он или я?

Е. И.: Вы мне гораздо милей...

А. П.: ... Вы на свете всех милее, всех румяней и белее...

И. Ч.: Мне кажется, что все-таки шестидесятники – это необязательно люди морально созревшие в определенное десятилетие России или же Советского Союза и теперь имеющие определенный возраст и говорящие какие-то стереотипные вещи. Просто я считаю, что шестидесятники есть и в нашем поколении, прекрасные наследники непосредственно тех мощных шестидесятников. Это достаточно объективный подход, ибо – что такое объективность? Объективность – это ведь не только биология, к которой Дмитрий Евгеньевич склонен. В социальном бытии под объективностью понимается нечто совсем иное.

К. К.: Если мы упомянем о Мандельштаме – то он ведь тоже шести-десятник...

И. Ч.: Сознание шестидесятника – это совсем не Мандельштам, не Флоренский, не Бердяев. Ведь мне ясно, что если я начинаю в двадцать лет в 1992 году читать Бердяева, он на мое сознание не оказывает того влияния, какое мог бы оказать, например, на моего отца или на вас. Такое впечатление, будто собеседник вам что-то объясняет, и вы его воспринимаете совершенно как своего, словно вы вместе в школе учились... Поймите, вот вы, ваш отец, ваше воспитание, как вас в пеленки закутывали, какие песни вам пели – Ярослава Смелякова или кого-то еще – это коренным образом отличается от того, как ук-

ладывали Бердяева или Флоренского, поэтому когда вы говорите о структурах сознания русской интеллигенции начала века – вспомните сперва что пели вам, а что им!..

А. Г.: А что могли петь им?

И. Ч.: Не надо ничего петь. Уже все пропето, вот что я хочу сказать. Все пропето. О чем мы говорим? Какие-то претензии к шестидесятникам... Нет никаких претензий! Вот вы, например, помогать не хотите, а мешать не будете, – ну и хорошо!.. Большинство же людей вашего поколения – это те, кто улыбается, раскрывает объятия, но не то что не помогает – мешает, вредит! Я просто хочу сказать, что рукопись Дмитрия Евгеньевича не печатают до сих пор. Вернее печатают жалкие отрывки, по которым нельзя составить никакого впечатления, и поэтому появляются ничтожные какие-то рецензии. Вот, кстати, по поводу рецензий. Пригов, например. Он шестидесятник или нет?

Л. А.: Он – Ёрник!

И. Ч.: Он – шестидесятник, потому что начинает привязываться к тому, что, дескать, не было духовной власти у шестидесятников... Как же не было власти, если, например, Тарковский, несчастный, замученный, всеми забитый, мог поставить на уши (извините за такую фигуру речи) весь Мосфильм и три раза свой "Сталкер" переснимать? Это же беспрецендентный случай! Это невозможно ни для кого, а для угнетаемого, несчастного, забитого, которого везде уничтожают, на каждом шагу преследуют кагебешники – для такого это посильная задача. Вот это власть!.. Тарковскому тоже мешали? Я просто говорю о власти. Что такое власть? Власть – это способность человека заявить вам, что вы – ничтожество, а он – великий человек.

А. Г.: В этом выступлении чувствуется негативная иллюстрация к моему первому замечанию, какая-то ожесточенность, озлобленность... А между тем, вам никто не мешает. Во-первых, мы создавали свои журналы. Создайте же и вы свой – и печатайте, что хотите.

И. Ч.: Мы не можем...

А. Г.: Почему?

И. Ч.: Потому что шестидесятники, возглавляющие Министерство информации и печати, говорят: "Да не нужен нам этот журнал".

А. Г.: Так вы делайте журнал сами. Причем тут министерство?

И. Ч.: А кто мне, простите, пожертвует стартовую сумму?!

А. Г.: Минуточку. Это интересный вопрос: "Дайте денег". Между прочим, я семь месяцев в Джерси Сити работал ночным сторожем, чтобы начал выходить "Стрелец". А вы говорите: "Дайте денег!" Заработайте деньги. Разгружайте вагоны. Что это за социалистичский подход: "Дайте"!

И. Ч.: Понимаете, в чем дело.... Когда к этому вопросу так подходили в 60-70-х годах, это был совковый подход, все правильно...

А. Г.: Когда поднимали подобный вопрос, то сажали, за "Логос" сажали!..

И. Ч.: В наше время такой вопрос совершенно естественен. Журнал, например, – это необходимый атрибут любой культуры. Философия –

тем более: это центр, фокус культуры. Но она не ценится и никому не нужна. Почему? Почему она не нужна людям, которые пришли к власти? Именно вашему поколению она не нужна. Она не нужна Ельцину, не нужна министру печати и информации. Это и есть шестидесятники – советники Президента, министров, которые здороваются с ними за руку, знают их по школе и так далее...

А.Г.: А читателей своих вы знаете? Вот у них и надо брать деньги!..

Е.И.: Но вы уже осуществленный писатель, а это поколение неустановившихся...

Д.Г.: Этот вопрос никакого отношения к нашей дискуссии не имеет.

Е.И.: Но вопрос оценки, судя по поколению шестидесятников, существует реально. Конечно, можно обрубить молодого издателя: "Как это давайте денег, когда я сам в Джерси Сити работал!" Это понятно. Это очень простая аргументация. Но ведь существуют и более сложные взаимодействия...

А.Г.: По-моему, нет. Это очень просто: вы хотите издавать журнал? Заработайте на него деньги и издавайте!

А.П.: Когда журнал по цензурным соображениям запрещают, то это невозможно.

А.Г. Правильно. А кто сейчас запрещает по цензурным соображениям?

Д.Г.: Мне запрещают по цензурным соображениям.

А.Г.: Странно, кто же?

К.К.: Да наплюйте вы на издание! Издавайте рукописно, как мы издавали. А ведь мы как-то прожили целую жизнь? Ведь различные были шестидесятники. Кто-то и вовсе не издавался. Ну и что? Пережили. Важно, что ты написал, а не что напечатал.

А.П.: Да поймите же, наконец: ваш личный опыт, писательский, философский – все это включается в какие-то структуры, в конвейер министерства масскультуры! Никто сейчас из шестидесятников не будет писем в чью-то защиту подписывать, это все было раньше. Речь идет о том, что вы просто не желаете осуществлять процесс смены поколений. Мы обвиняем вас в том, в чем вы сами обвиняли предшественников.

А.Г.: Я готов вам возразить. В своем журнале – и когда он выходил на Западе, и когда здесь выходит – я объединяю талантливых людей, независимо от того, к какому поколению они относятся. А какие-то редакторы эстетически не готовы воспринять то, что вы пишете. Не потому что они шестидесятники. Я знаю и молодых редакторов, которые не принимают новую эстетику, и я знаю стариков, которые вполне способны ее переварить. Это не зависит от генерации...

Е.И.: В каждой генерации есть свои дегенераты!

А.Г.: Возможно, возможно, но вот насчет самооценки, скажем, завышенной самооценки... Опять же нельзя всех шестидесятников мерить одним аршином. Есть личности. Это мое убеждение, что поколение в целом нельзя оценивать. Есть разные люди и разные судьбы,

разные мировоззрения. Но. наверно, есть и что-то общее, о чем говорил Аннинский: какой-то романтизм наш, какой-то идеализм.

Д.Г.: А я, например, и вовсе никогда не считал себя восьмидесятником. Более того, по-человечески мне гораздо ближе выступления людей старшего поколения. Последнее же выступление моего сверстника Чубарова вообще мне резко антипатично. Вот он говорит: "Деньги давайте!", а я-то отлично знаю эту историю со спонсорством – она мне чрезвычайна неприятна... И понимаете, все эти категории: шестидесятники-восьмидесятники – они действительно нейтрализуются в человеческих отношениях. Когда речь идет о поколениях, а начинают переходить на личности, то, естественно, нарушается некоторая стилистика, заговаривают о личной позиции того или иного человека. Вначале мы условились беседовать об отдельных типологических чертах явления. Такой подход возможен, потому что всегда, как правило, удается вычленить некоторые типовые черты. Можно, например, написать исследование, посвященное типу жреца, священника. И даже не будет вестись речь о какой-то конкретной конфессии.

Л.А.: Но без конкретного жреца и без конкретного священника? Без людей?

Д.Г.: Нет, как раз-таки предельная конкретика. Это некоторый психологический тип человека-жреца. Такой тип существует, начиная с древних времен. Подход в данном случае – максимально абстрактен и одновременно максимально конкретен, а потому весьма продуктивен. И можно относиться к понятию поколения точно так же. С одной стороны, абстрагироваться, принять некоторые временные, возрастные, психологиические рамки; с другой стороны, беседовать с разными представителями старшего поколения.

А.Г.: Мне хочется спросить "младших братьев". Вот, предположим, вам дали деньги. Вы издаете журнал. А станете ли печатать нас, если эстетически вы нас не принимаете?

И.Ч.: Понимаете, опять же Дмитрий Евгеньевич, как всегда, играет на победу, в своем дискуссе он всегда побеждает. Это совершенно естественно. Когда я говорю: "дайте денег", я не имею в виду действительно – дайте денег, то есть не прошу субсидировать конкретный журнал. Но я подразумеваю тот очевидный факт, что культура, которую сейчас "возглавляют" в нашей стране шестидесятники в лице бывших либералов и диссидентов, ставших сегодня официальными людьми, – эта культура не принимает в принципе молодое поколение и не представляет ему возможности хотя б худо-бедно существовать.

А.Г.: Но я вам задал вопрос, а вы на него не ответили.

И.Ч.: Это настолько мнимый вопрос, что я не могу на него ответить.

А.Г.: Отчего же мнимый? По-моему, вполне конкретный!

И.Ч.: Это прозвучало так же, как если бы Ельцин поинтересовался у студента МГИМО или юридического факультете: "Когда ты придешь к власти, можно мне будет стать министром печати и информации?"

А.Г.: Нет, я вам задаю все-таки принципиальный вопрос: напечаете ли вы статью публициста, исследователя, который не разделяет взгля-дов Дмитрия Галковского на Владимира Соловьева?

И.Ч.: Видите ли, у Дмитрия Галковского нет взгляда на Соловьева. Есть у него текст по поводу Соловьева, а никакого уважения...

А.Г.: Вы опять не отвечаете на вопрос. Если статья философская или литературная покажется вам эстетически чуждой, вы ее опубликуете? Если бы мне задали такой вопрос, то я бы ответил: "Конечно, напечатаю, если это талантливо. И не суть важно, что за взгляд". Так, например, я неоднократно, еще на Западе, печатал в "Стрельце" своих оппонентов. Печатал и молодых прозаиков, поэтов, чья эстетическая позиция, как например, Парщикова, не сразу меня убеждала, но одаренность покоряла.

Е.И.: Нет, извините, пожалуйста. Дело в том, что с Парщиковым на моих глазах носился Чупрынин лет пять, посвящал ему статьи, вводил его в литературу как "новое поколение". Но вот все, что я читала у Парщикова – это было просто "деревянное ухо"... Дело не в том, что он слишком модернист для меня, просто у него совершенно деревянная метафора. Я имею в виду лошадь его, знаменитый образ. У меня целый ряд претензий к Парщикову. И если бы я была главным редактором, я бы сказала ему, что, с моей точки зрения, он не поэт. "Не мучайте себя напрасно". Не потому что я против модернизма. Модерниста талантливого я готова принять. Например, Ивана Жданова. Между прочим, во всей этой ситуации поэтической меня удивило гораздо больше другое: открылись все кингстоны, вдруг стали печатать подряд всех. Мне с университетских лет очень близка поэзия Ольги Седаковой. Она так и не стяжала лавров, потому что она тот автор, на котором ничего не построишь. Ее выводить в люди невыгодно. Она просто поэт и все, она просто пишет хорошие стихи. Ее печатали, но как имя ее никто не пытался "открыть". А Парщиков сразу выходит готовый: мол, меня затирали, замалчивали. У него сразу и программа тут как тут.

К.К.: Сразу... Пятнадцать лет!..

Е.И.: За ним сразу, как экскурсовод, идет Миша Эпштейн, объясняет его творчество; на нём сразу несколько человек начинают делать карьеру, проходит слушок о школе метафористов. Сразу сколачивается блок. К Парщикову присоединяются еще пять человек – вот уже школа. И пошла писать губерния: возникает новый департамент от литературы. И вот в свете этого я бы не напечатала Парщикова.

А.Г.: Простите, но дело не в Парщикове, я не о том говорил. Это просто как пример. Я говорил о том и только о том, что если вас не печатают, то не печатают по чисто эстетическим причинам. Вас эстетически не принимают эти люди. Ну, допустим, они не доросли. То же самое происходило, как я уже говорил, и в русских зарубежных журналах. Именно это я и имел в виду, а Парщиков – лишь один из эпизодов.

Д.Г.: Нет, все-таки по этическим причинам. Люди наши все-таки до сих пор живут в сфере этики, причем этики советской – либо за, либо против; либо да, либо нет. И это издержки шестидесятничества!

А.Г. Как это вы за всех шестидесятников говорите! Вот удивительно. Разные же мы, разные!.. Но, кажется, мы все высказались и я хотел бы, как говорил Сомерсет Моэм, подвести итоги. Начнем слева, мы ведь левыми когда-то считались. Пусть каждый коротко резюмирует.

Л.А.: Я отказываюсь от своего заключительного слов, товарищи.

Д.Г.: Я то же самое, присоединяюсь.

Е.И.: Мы считаем, что товарищ Аннинский должен высказать свою точку зрения.

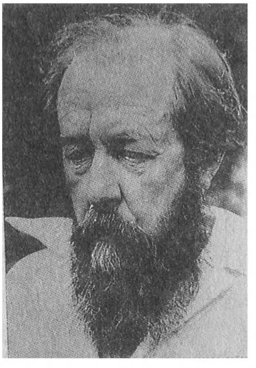
Л.А.: Прошу суд о снисхождении.

К.К.: Я только хочу сказать, что действительно в рядах шестидесятников. как нас величают, существуют большие разногласия, очень уж разные мы все люди. Но это тоже совершенно нормально. Мне кажется, что просто общие принципы у нас одни, отношениях к слову, ко времени, к истории нашей. И в вашем поколении они тоже весьма сходны. Это неизбежно, с этим ничего нельзя поделать. А страсть к свободе – чувство, общее для всех сознательных, более или менее рефлексирующих людей.

А.Г.: Завершая нашу встречу, хочу выразить надежду, что она не последняя, потому что мы в издательстве "Третья волна" вчера приняли решение возразить традицию Мережковского и организовать здесь, на этой квартире, начиная с ноября месяца, "Зеленую лампу", где будут встречаться философы, поэты, прозаики, художники – спорить, читать новые произведения. Ваше дело – спорить, сочинять.. А наше – печатать это в своих изданиях.

А.П.: Что же, вот и патриарх!

Москва
август 1992



Дора Штурман

ГЛАВА ИЗ КНИГИ "ГОРОДУ И МИРУ"

О публицистике А. И. Солженицына (Окончание).

На пресс-конференции о сборнике "Из-под глыб" (II, стр. 90–121, Цюрих, 16 ноября 1974 г.), анализируя одну из статей Шафаревича в этом сборнике, Солженицын вновь обращается к национальной проблематике. Он сочувственно пересказывает одно из наблюдений Шафаревича:

"Коммунизм для движения к власти должен усиленно разрушать национализм больших держав и при этом опираться на национализм малых. Когда же он приходит к власти, он меняет ориентировку и начинает подавлять малые нации, чтоб они не откололись. Так произошло, в частности, и в России. Но не только. Социалисты во многих странах используют национальный вопрос для своего движения к власти, особенно социалисты-экстремисты" (II, стр. 97).

Коммунизм, двигаясь к власти, поддерживает колонии против метрополий, инородцев против имперских наций, эксплуатируя все, что может дестабилизировать обстановку в намеченной к покорению зоне. Но, победив, он ни одному народу не позволяет выскользнуть из

Цифры в скобках, следующие за цитатами, указывают откуда они взяты, то есть соответствующие том и страницы собрания сочинений писателя.

этой зоны, уйти, отколоться. Вслед за Шафаревичем Солженицын отмечает одну парадоксальную особенность советской коммунистической империи (с ее, замечу уже от себя, центром в Москве, русским языком в качестве государственного и – в наши дни – преимущественно русским по национальному составу правительством). Это парадоксальное свойство советской империи далеко не всеми исследователями и наблюдателями признается, и тем не менее, на мой взгляд, оно бесспорно: русский народ в основной его массе (исключая тех, кто вовлекается в номенклатуру) не пользуется никакими политико-экономическими преимуществами по сравнению с другими народами. Солженицын прав, когда он говорит:

"Шафаревич отмечает, что безусловно правы национальные окраины, говоря, что их грабят. Но, подчеркивает он, – ограбление происходит не в пользу русских, ограбление происходит в пользу коммунистической империи, поэтому положение окраин колониально, но не по отношению к России, а по отношению к социализму. Русские остаются такими же бедными, и даже более бедными. Я могу дать частный пример просто в скобках и так, скороговоркой: у нас в советской прессе публично поднимался вопрос о том, как искусственно высоко проводились сельскохозяйственные заготовки в Грузии – очень высокая цена за апельсины, – и, наоборот, искусственно низко за картофель, которым живут крестьяне России и Украины, что и привело к разорению деревни... (уж не говорим о хлебе), – к разорению русской, украинской деревни и белорусской" (II, стр.97).

Тем не менее интенсивное расселение русских по всей империи, введение Кремлем русских в номенклатуру нерусских регионов страны, господство русского языка на фоне сепаратистских настроений в республиках – все эти факторы создают взрывоопасную ситуацию, устрашающую авторов "Из-под глыб". Солженицын говорит:

"...нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью – столько пролито крови и так уже обанкротилась теория классовой борьбы в нашей стране, – но национальной ненавистью нашу страну поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению; и поэтому наши заботы должны быть направлены к тому, как острей-

шую эту национальную проблему – особенно острую в СССР, не допустить до взрыва, не допустить до пожара, избежать межнациональных столкновений" (II, стр.98).

Думаю, что и социальное напряжение велико: ненависть к номенклатуре и "органам", злая зависть ко всем ухитрившимся существовать безбедно накаляют и отравляют атмосферу. Но потенциал межнациональной розни особенно угрожающ. Авторы "Из-под глыб" хотят не разрыва, а "дружеского кооперирования" наций, составляющих СССР, но кооперирования исключительно и неподдельно добровольного и равноправного:

"Эти вопросы естественно приводят нас к цепи таких проблем: патриотизм, национализм, шовинизм. Мы не избегаем обсуждать самые острые вопросы, те, которые стоят на лезвии и в нашей стране, и в мире. Те вопросы, которые при одном только их упоминании вызывают гнев со всех сторон.

Шафаревич озабочен тем, как дать возможность развиваться между нациями силам взаимного понимания, а не силам ненависти, и предлагает вынести на обсуждение, обдумать вопрос о возможностях дружеского кооперирования наций вообще, и в частности в Советском Союзе.

Разумеется, все участники Сборника единодушны в том, что никто никогда не должен быть удерживаем силой. Здесь вот, в Швейцарии, мы видим пример такого дружного кооперирования наций: при возможности каждому кантону в любой момент выйти из швейцарского союза – ни кантон, и никакая нация не пользуются этим правом" (II, стр. 98. Выд. Д.Ш.).

Я прошу особенного внимания к выделенным мною словам, ибо Солженицын повторяет их по многим поводам. Так, выступая в Нью-Йорке перед деятелями профсоюзов 6 июля 1975 года (об этой речи мы не раз вспоминали), он говорит о Ленине:

"Это он обманул крестьян с землей, это он обманул рабочих с самоуправлением, это он сделал профсоюзы органом угнетения, это он создал ЧК, это он создал концентрационные лагеря, это он послал войска подавить все национальные окраины и собрать империю" (1, стр.236).

Воссоздание – силой! – империи выступает здесь как явно негативная акция.

В некотором противоречии с только что нами рассмотренной констатацией угрожающего накала межнациональных страстей внутри СССР находится небольшая реплика "Персидский трюк" (октябрь 1979 г.; II, стр. 379–380). В этой заметке Солженицын решительно отвергает какие бы то ни было опасения относительно того, что русское религиозное возрождение может привести к фанатическому росту великодержавного шовинизма, в частности – антисемитизма. Мне представляется, что при этом возникает такая картина: Солженицын распространяет на все групповые и единичные феномены этого многосоставного и концептуально, а также эмоционально неоднородного движения свое – нравственно и социально безупречное – исповедание православия. А его хулители вспоминают исторические прецеденты сосуществования православия и антисемитизма в одних и тех же людях, движениях и организациях, собирают всю накипь, сочетающую православие с шовинизмом и ксенофобией в современном почвенничестве, и без всякого к тому основания распространяют эти уродства мировоззрения и мироощущения на Солженицына. Нам еще не раз придется говорить об этом явлении, иллюстрируя его цитатами.

Положение усугубляется тем, что люди, чуждые Солженицыну в основах своего миропонимания, но числящие себя в почвенниках, часто объявляют его своим союзником или духовным вождем, за что он никакой ответственности нести не может. Статья "Персидский трюк" представляет собственный взгляд Солженицына на православие как на фундамент русской духовной жизни. Единственным уязвимым местом этого монолога является упомянутая мною выше уверенность автора в том, что его отношение к православию и роли последнего в

будущей свободной России характерно для всех "нынешних русских религиозных и культурных деятелей". На самом же деле за годы, истекшие после публикации "Персидского трюка", и в Самиздате, и в Госиздате, и в эмиграции – в литературной продукции части почвенников – не раз прозвучали мотивы шовинизма и антисемитизма. **Но не у Солженицына.** Я думаю, он и сегодня повторил бы основные положения своей заметки 1979 года. Вот ее начало:

"Среди новейшей эмиграции из Советского Союза начала выделяться группа авторов; которые из неприязни, боязни, отталкивания вообще ли от религии или только особенно от православия, более всего опасаются, что оно в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место. Им следуют и некоторые западные журналисты в крупных газетах. Казалось бы, перед их глазами есть хотя бы пример Польши, где Церковь благодетельно владеет душами народа вопреки давящей атеистической диктатуре. Или пример Израиля, где религии отведена влиятельная душеобразующая и даже государствообразующая роль. Но они обходят эти примеры, отказывая России в том, что разрешается другим народам" (II, стр.379).

Итак, Солженицын надеется, что православие "в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место", а не политически господствующее положение. Я уже говорила, что "государствообразующая роль" (к счастью, не полная) религии в Израиле уменьшает **необходимую** свободу личности и увеличивает рознь в обществе. Но Солженицын ни в этой статье, ни где бы то ни было в другом месте не требует для грядущей России теократии, а лишь свободы и достойного положения религии, что декларировано всеми демократиями мира. Его глубоко возмущает, что люди, боящиеся такой свободы в России, "бесстыдно сплетают православие с антисемитизмом, даже отождествляют их" (II, стр. 379). Разве не свидетельствует эта реплика, что для Солженицына подобное отождествление противоестественно?

Не меньшее возмущение вызывает у него и другой публицистический прием, который он называет "персидским трюком":

"...жестокости мусульманского фанатизма в Иране лепят ярлыком на лоб возрождающемуся православию России, мечут в глаза персидским порошком человеку, встающему с ниц на колени.

...Но именно нас, жертв коммунистического фанатизма, уже не может привлечь ничей фанатизм никогда. Ни в каких проявлениях, ни в чьих высказываниях нынешних русских религиозных и культурных деятелей вы не найдете никакого оттенка, сходного со структурой сегодняшней религиозной мысли и власти в Иране. (В частности, автор "Архипелага" удостаивается дружных обвинений, что именно он хочет новых Архипелагов и аятолл, – такого не издумывала даже и советская пропаганда.)" (II, стр. 379–380).

Я уже говорила, что Солженицын не ответствен за тех "нынешних русских религиозных и культурных деятелей", которым не чужд шовинистический и ксенофобийный фанатизм, Солженицыным столь решительно отвергаемый. Естественно, Солженицына потрясает, что иные диссидентские перья лепят на него ярлыки, до которых не додумалась "даже и советская пропаганда".

"В этом ряду, может быть, наиболее нетерпеливо, опрометчиво и громко бросил обвинения во французской и германской печати парижский профессор Эткинд. Бывают люди, весьма развитые интеллектуально и очень остро политически, но совсем не развитые духовно, в частности и особенно к восприятию религии, – у них как бы недостает воспринимающего органа. Такую неразвитость, увы, и проявляет Эткинд, уподобляя православие... ленинской идеологии. В остальном он действует в русле "персидской кампании", приписывая мне высказывания, никак мне не свойственные, никогда мной не произнесенные, нигде не напечатанные. (С истерическим усердием подхвачено газетою Die Zeit, 28.9.79) (II, стр. 380).

Не знаю, нужно ли обладать религиозным мироощущением или достаточно элементарной порядочности для того, чтобы не приписывать человеку высказывания, никогда им не произнесенные, "нигде не напечатанные". По отношению к Солженицыну такая фальсификация

производится непрерывно. Иногда его оппонентов выручают цитаты, вырванные из полного смыслового контекста. Чтобы избежать этого, мы и цитируем исследуемые материалы столь обширно.

В заключение этого монолога Солженицын повторяет свою постоянную мысль об исключительной роли русского религиозного самосознания в противостоянии коммунизму, о единственно обнадеживающих перспективах этого противостояния. Я же в очередной раз замечу, что высшие иерархи РПЦ легко идут на множество компромиссов с правящим коммунизмом, что в многонациональной России (и тем более – в СССР) не одна Церковь; что есть много религиозных и нерелигиозных движений и настроений, противостоящих коммунистическому руководству страны и господствующему в ней строю.

Анализируя работы и выступления Солженицына, посвященные национальной проблематике, надо иметь в виду следующие обстоятельства: во-первых, они проникнуты размышлениями о коммунизме как таковом и об отношении Запада к этому феномену, к России и к СССР. Поэтому мы будем неизбежно затрагивать эти вопросы, частично нами рассмотренные в главе "Солженицын и Запад". Во-вторых, все сказанное Солженицыным по этим поводам относится к догорбачевской эре. Однако именно в своей национальной и внешней политике и в своей идеологической риторике горбачевский режим пока что ни в чем не изменил советской коммунистической традиции. А потому и Солженицын, несомненно пристально следящий за ходом событий, не сделал пока (середина 1987 года) никаких заявлений, корректирующих его прежние высказывания. В частности, ни в чем не пересмотрена им статья "Чем грозит Америке плохое понимание России" (1, стр. 305–344. Февраль 1980 г.),написанная для журнала "Форин Афферс". А в том, что понимание это, действительно, зачастую неадекватно реальности, а потому побуждает Запад к неверным шагам, к сожалению, не приходится сомневаться. Отношение это в значительной мере инспирируется самим Советским Союзом. В декабре 1986 года в своем интервью журналу "Стрелец" (№3, 1987, стр.39) французский советолог Ален Безансон, человек очень сдержанный и к преувеличениям не склонный, сказал:

"В настоящее время Советский Союз контролирует все обучение русскому языку и российской цивилизации на Западе, начиная со школы и кончая аспирантурой. Он контролирует карьеру всех славистов, и очень трудно стать славистом, не будучи по меньшей мере нейтральным по отношению к СССР и соцстранам. Он контролирует карьеру всех дипломатов, служащих в соцлагере, и малейшая неосторожность (например, общение с диссидентами) может погубить их будущее. Он контролирует, различными способами, статьи в прессе и телепередачи, посвященные СССР. Контроль над информацией и есть более тонкая, завуалированная форма дезинформации".

В этом своем устрашающем обобщении Ален Безансон 1986 года, безусловно, хорошо знающий предмет, о котором он говорит, нисколько не оптимистичней Солженицына 1980 года, утверждающего, "что весь Запад каким-то образом попал в критическое и даже смертельно опасное положение" (1, стр. 305). По Солженицыну, люди, формирующие общественное мнение, а зачастую и политику Запада, "допускают сегодня новые, свежие просчеты, которые неизбежно ответно ударят в будущем, и ударят смертельно.

И здесь наиболее распространены две ошибки. Одна – непонимание тотальной враждебности коммунизма всему человечеству. Что он – неизлечим, что у него нет "лучших" вариантов, что он – не может "подобреть", что идеологически он не может прожить без террора. Что поэтому никакое сосуществование с ним на одной планете невозможно: либо он прорастет человечество как рак и убьет его, либо человечество должно от него избавиться, и то еще потом с долгим лечением метастаз.

Вторая ошибка – тоже очень распространенная: мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которой он овладел первой, – Россией. Эта ошибка смещает акценты угрозы, все рецепты правильных действий и тем обезоруживает Запад. Это непонимание становится трагичным и угрожает всем народам, причем американскому – никак не позже и не меньше, чем русскому.

Предлагаемая статья посвящена главным образом второй ошибке" (1, стр. 305–306).

Относительно первой ошибки (может ли коммунизм подобреть радикально, качественно, в мировых масштабах, а не тактически, локально и временно): на наш взгляд, это реально только в том случае, если Кремль перестанет быть самим собой, приняв для начала два предложения "Письма вождям": отказ от коммунистической идеологии и ее "монополии легальности" (Ленин) и отказ от каких бы то ни было форм экспансии с предоставлением реального права на самоопределение всем нерусским народам. За отказом от коммунистической идеологии неизбежно последовал бы отказ от огосударствления экономики. Но это был бы уже не коммунизм. Пока этого нет, размышления Солженицына о глобальной цели и качествах коммунизма не утрачивают своей актуальности.

Что же касается второй ошибки (отождествления коммунизма с Россией, и только с ней), на мой взгляд, Солженицын не допускает никаких преувеличений в констатации ее смертельной опасности для свободного мира. Когда мировая болезнь (с ее исконно западноевропейской этиологией) представляется как патология чисто национальная, остальные народы избавляются от необходимости неотложно прибегнуть к профилактике заболевания, латентно присутствующего и в их среде. Солженицын решительно отказывается от синонимизации понятий "русский" и "советский", выделяя всех коммунистических вождей и функционеров мира в некое наднациональное единство (каковым, заметим, они изначально, со времен Маркса и Энгельса, и претендуют быть).

"Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово "Россия": его используют вместо слова "СССР", и слово "русские" вместо "советские", – и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго (русские танки вошли в Прагу, "русским нельзя верить", но – "советские космические достижения", "успехи советского балета"). А следует твердо различать, что понятия эти не только противоположны, но *враждебны*. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянем

за нее. Государство как действующее целое, страна с ее правительством, политикой и армией – с 1917-го уже не могут более называться Россией. Слово "русский" неправомерно применять ни к сегодняшней власти в СССР, ни к армии его, ни к будущим военным успехам и оккупационным властям в разных местах мира, хотя они и будут служебно пользоваться русским языком. (Это равно относится и к Китаю, и ко Вьетнаму, только там не возникло свое слово "советский".) Один американский дипломат воскликнул недавно: "Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!" Ошибка, надо было сказать: "на советском". Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, – не русское. Вся их деятельность по уничтожению народной жизни и загаживанию природы, осквернению национальных святынь и памятников, содержанию народа в голоде и нищете уже 60 лет – показывает, что коммунистические вожди чужды народу и равнодушны к его страданиям. (И лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращенный матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлевской внешностью, – все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью.)

Слово "Россия" для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетенного народа, лишенного возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры, – и для обозначения его будущего, освобожденного от коммунизма" (1, стр. 306–307).

Солженицын проявляет в своей статье основательное знакомство с американской научной литературой об СССР. И вот его вывод:

"В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века – сперва в России, затем и в других странах, объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории,

– но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд – прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения, – он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить, – его находчиво объяснили известным русским рабством" (1, стр. 308).

В этой своей статье Солженицын не впервые с горьким недоумением и обидой говорит о столь же популярной в советологических кругах, сколь и некомпетентной книге Р. Пайпса Россия при старом режиме".

Мы потому, следуя Солженицыну, опять обращаемся к этой книге, что приемы Пайпса характерны для всех создателей и сторонников концепции русского национального происхождения тоталитаризма XX века. Из русской дореволюционной истории, физической, политической, духовной, культурной, исключаются все феномены, свидетельствующие о присущем этой истории нормальном общечеловеческом уровне достоинства, свободолюбия и стремления к справедливости в народе, в образованных классах и слоях и в правящих силах. Зато тщательно коллекционируются и тенденциозно выпячиваются все несовершенства и проявления несвободы. Они квалифицируются как специфически и неотъемлемо русские, хотя в разные времена в той же мере были свойственны и другим народам (государствам) мира, и в том числе Европы. Российское движение раскрепостительной правовой эмансипации, либерализации, особенно интенсивное со второй половины XIX века и пресеченное, обращенное в свою противоположность большевизмом (учением западной этиологии, слившимся с русским радикализмом), начисто игнорируется. Игнорируется и сопротивление народов СССР большевизму, вплоть до всех нынешних форм и модификаций этого сопротивления. Книги и статьи такого рода при всем их самоуверенном наукообразии удручающе неграмотны, но обладают опасным свойством: приобретать благодаря своей броскости, расхожей сенсационности и дос-

тупности грозную популярность. Они воздействуют на эмоции, это самый надежный путь к сердцу широкого читателя. Между тем легких в чтении, современных, компактных книг, сопоставляющих историю Запада с историей России и выделяющих продуктивные тенденции самоуправления, свободолюбия, правового регулирования, духовной жизни последней, не существует. Солженицын в "Красном колесе" воспроизводит созидательные и эволюционно либерализующие потенции России кануна первой мировой войны и парадоксальную роковую победу начал разрушительных, воспринятых в свое время обществом и самими собой как начала благие, творческие. Но огромная эпопея требует для ее освоения напряженной работы мысли, к чему не всякий читатель готов. Роль легкой кавалерии в защите родины от клеветы выполняет публицистика Солженицына. Он с полными к тому основаниями говорит:

"Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его миропониманием – христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей (достаточно сказать: Сергий Радонежский, несравненно повлиявший на века русской духовной и государственной жизни, вообще ни разу не упомянут в книге, а Нил Сорский выставлен в анекдотической роли). То есть вместо показа живого народного существа – анатомируется труп. Самой Церкви Пайпс отводит одну главу, при этом лишь как гражданскому учреждению и трактуя его в духе советской атеистической пропаганды. Этот народ и эта страна представлены как не доразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчетами, от мужика и до царя. Даже внутри тематических разделов нет убедительного последовательного изложения истории: хаотически смешаны исторические эпохи, события разных веков (и часто без указания дат). Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто

враждебное описание русской истории и русского народа. Из его книги возможен только один вывод: об античеловеческой сути русской нации, никуда не годившейся все 1000 лет и очевидно безнадежной для будущей жизни. Даже честь мирового изобретения тоталитаризма Пайпс приписывает императору Николаю I. Не говоря уже о том, что тоталитарный феномен никогда не был осуществлен до Ленина, у г. Пайпса достаточно эрудиции, чтоб он мог указать, что идею тоталитарного государства первый предложил Гоббс в "Левиафане" (глава государства – господин не только над имуществом и жизнью, но и *совестью* граждан). Да и Руссо давал к тому основания, объявляя демократическое государство "неограниченным сувереном" не только над собственностью, но и над *личностью* граждан" (1, стр. 309–310. Курсив Солженицына).

И Платон, и Мор, и Кампанелла, и Верас, и многие другие западноевропейские мыслители, пытаясь создать прообраз идеального государства, рисовали государство тоталитарное, претендующее на всеобъемлющую и всепроникающую ("правильную") регламентацию жизни подданных. Это не значит, конечно, что каждый Сталин или Пол Пот перечитывает всех своих литературных предшественников (хотя Пол Пот, выпускник Сорбонны, их, вероятно, читал, как и Маркс, и Ленин). Здесь важен не столько момент прямой идейной преемственности (он может и отсутствовать), сколько тот факт, что подчинение любого, с любой историей, общества одной -единственной идеологии, да еще предусматривающей огосударствление существенной экономической инициативы, не может не привести к тоталу. Поэтому Солженицын и предлагает "вождям" СССР прежде всего отказаться от моноидеократии. И поэтому, пока этот шаг не сделан, любая "оттепель" в моноидеологическом государстве обратима.

Солженицын чрезвычайно образно (я бы сказала, беспощадно) иллюстрирует научную недобросовестность Пайпса:

"Меня как писателя, выросшего и всю жизнь проведшего в стихии русского языка и фольклора, особенно поражает такой "научный"

прием Пайпса: из 40 тысяч русских пословиц, составляющих в своем единстве и внутренних противоречиях ослепительное художественное и философское создание, Пайпс вырывает (искусственно подобранные Горьким) подходящие ему полдюжины пословиц – и ими "доказывает" жестокую циничную природу русского крестьянства. На меня этот прием производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвел бы волк, севший играть на виолончели" (1, стр. 310-311).

Не ускользает от внимания писателя и то упорное нежелание советологов и кремлеведов конкретно сравнивать русскую и западную историю, о котором мы говорили выше:

"Все ученые и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Петр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской, и в любой другой истории, – однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако рефрен продолжается. Таким приемом одни ученые хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с "порочной историей", другие – очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвященных столетию Сталина, например, у профессора Роберта Таккера (R.C.Tucker, NY Times, 21.12.79) (I, стр. 311).

Солженицын решительно отказывается видеть в Сталине изменника делу социализма и признавать, как это делает Таккер, его преемственность от царизма, а не от Ленина, Троцкого и Дзержинского. Напротив: Сталин, по убеждению писателя, настолько последователен в ленинизме, что Солженицын отказывает его политике в особом названии – "сталинизм".

Полемизируя с Таккером, Солженицын дает кратчайшую харак-

теристику предреволюционной России. Лишь очень немногое в этой характеристике вызывает существенные возражения:

"И какой же образец мог, по Таккеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагерей – вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем – очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов), и в том числе все большевики, посылались в благополучную сытую ссылку на казенном содержании, где никто не принуждал их к труду и откуда все желающие беспрепятственно бежали за границу. Но и уголовная тогдашняя каторга не составляла 1/10000 части ГУЛАГа. Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд – открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня госбезопасность одной Рязанской области, охранные отделения существовали в нескольких крупных городах, и то со слабым надзором, а всякий уехавший за черту этих городов сразу уходил из-под наблюдения. В армии – вообще не было секретного осведомления и наблюдения (что весьма облегчило февральскую революцию), ибо Николай II считал это оскорблением своей армии. Добавим к этому: отсутствие специальных пограничных войск, пограничных укреплений и полная свобода эмиграции.

Многие западные историки отдаются устойчивой ложной традиции в представлении дореволюционной России, тем отчасти повторяя советскую пропаганду. Россия перед войной 1914 года была страной с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, с заложенными началами рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободна в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала нацио-

нальных депортаций и вооруженного сепаратистского движения. Вся эта картина не только не схожа с коммунистической эпохой, но прямо противоположна ей во всем. Александр I был с войском и в Париже, – но не присоединил к России и клочка европейской земли. Советские завоеватели никогда не уходят ниоткуда, где однажды ступила их нога, – и оба феномена признаются одноприродными! Та "плохая" Россия не нависла захватом над Европой, ни тем более Америкой и Африкой. И экспортировала она – хлеб и сливочное масло, а не оружие и не инструкторов терроризма. И сокрушилась-то она из верности западным союзникам, из-за того, что Николай II продолжал бессмысленную войну с Вильгельмом, вместо того, чтобы пойти на сепаратный мир (как сегодня Садат) – и спасти свою страну" (1, стр. 312-313).

Многонациональная Россия в XIX веке знала "вооруженные сепаратистские движения", а невооруженные существовали и в XX веке. Припоминается, что и в 1916 году имело место массовое вооруженное восстание мусульман восточной части Средней Азии, которых попытались мобилизовать на тыловые работы в прифронтовой полосе (до этого их в армию не призывали). Восстание это было оперативно и жестоко подавлено. Что же до депортаций, то куда девать бесчеловечное выселение евреев из фронтовой и прифронтовой полосы во время первой мировой войны? Но Сталин его не копировал: ему хватало собственной изобретательности по этой части. Напомним еще, что русский царизм так и не отпустил на волю рвавшуюся к независимости Польшу, органическую часть Европы, и не отменил официальной дискриминации евреев.

Солженицын с горечью говорит о (не исключено, что роковых для России) событиях 9 января 1905 года в Петербурге, но тут же отмечает разность подходов:

"И так, например, 9 января 1905 в Петербурге, когда было несчастным образом убито 100 человек из демонстрации и ни один не арестован, осталось вечным клеймом и характеристикой России, а 17

июня 1953 года в Берлине, когда было злоумышленно убито 600 демонстрантов и арестовано 50 тысяч, – не поминается упреком СССР, но скорей ставится в уважение его силе: надо искать общий язык" (1, стр. 314).

И следом поминает

"чудовищную резолюцию Конгресса США 17 июля 1959 г. о порабощенных нациях (Public Law 86-90, с тех пор возобновлявшуюся), где даже отсутствует всеобщий виновник – СССР, где всемирный коммунизм назван русским, России приписано порабощение континентального Китая и Тибета, и русским в праве отказано числиться в составе угнетенных наций, к каким причислены несуществующие Идель-Урал и Казакия.

Очевидно, пятно непонимания и невежества гораздо шире, чем эта резолюция" (1, стр. 314).

Писателя потрясает приписывание Д. Кеннаном советской агрессии в Афганистане "скорее *защитным* (курсив Солженицына) импульсам советского руководства" (1, стр. 315), а "Ostpolitik" В. Брандта он называет политикой, "самоубийственной для Германии" (там же).

По убеждению Солженицына, стоящие на ошибочных позициях западные советологи и политики

"за последнее время получили подкрепление: фальшивым объяснением СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имен, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами – все вместе довольно дружно проводят сходную линию, которую суммарно можно бы обрисовать так: сотрудничество с коммунистическим правительством СССР – и война русскому национальному самосознанию" (1, стр. 316–317).

Мне представляется, что обе стороны: Солженицын и поверхностные критики здесь приписывают **всему движению как некоему целому** свой взгляд на вещи, а его упомянутые и неупомянутые в статье оппоненты распространяют, опять же, **на все движение** как на **нечто однородное** взгляды его черносотенного и одновременно прокоммунистического крыла. Между тем **движения как некоего целого не существует**, а есть конфликтный внутренне феномен, отдельные группы и личности которого мировоззренчески и этически несовместимы.

Так, Солженицын решительно отказывается связывать русское национальное и религиозное самосознание с антисемитизмом, который представляется ему "правительственным маневром":

"Смысл духовных течений у нас на родине передается Западу превратно. Пытаются вселить в западное общественное мнение – страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть подавленного коммунистической властью за 60 лет русского национального самосознания, – искусственно и недобросовестно связывая его с правительственным маневром антисемитизма. Для этого изображают советский народ поголовным стадом баранов, который никак не способен разобраться в своей 60-летней судьбе, в причине своей нищеты и страданий, – и только ждет официального объяснения от коммунистических верхов, а они ему подсунут антисемитизм – и народ удовлетворится этим. (На самом деле средний советский человек намного отчетливей понимает античеловеческую природу коммунизма, чем многие публицисты и политики Запада.)" (1, стр. 317).

Народ, скорее всего, **в конечном счете** не удовлетворится и не ограничится в своих претензиях антисемитизмом, но на долгое время может на нем сосредоточиться, ибо антисемитизм – это не только "правительственный маневр", но и имманентное существенной части народа, в том числе и образованных его слоев, настроение. Мы это наблюдали в 1933 – 1945 гг. в Германии и в дни "дела врачей" (начало 1953 г.) в СССР. Да и сегодня речь идет уже не об "анонимной антисемитской листовке в московской подворотне" (1, стр. 319), а,

благодаря ослабевшей цензуре, об антисемитских концепциях в романах (Пикуль, Белов и др.), о столичных многолюдных докладах и лекциях (деятельность общества "Память", и не только она). Катастрофа европейского еврейства начиналась с не более грозных симптомов, и, не будем греха таить, к ней приложили руку не только немцы.

Солженицын решительно отказывается видеть угрозу другим народам в развитии русского почвенничества, и, действительно, в его варианте этого мировоззрения такой угрозы нет. Он пишет о тех, кто считает носителем такой угрозы все русское национальное движение, в том числе и религиозное:

"Усилия этих пристрастных информаторов дополняются и подкрепляются за последний год потоком статей американских журналистов, из них часто – московских корреспондентов американских газет. Содержание этих статей все то же: грозная опасность для Запада возрождения русского национального самосознания, затем – беззастенчивое смешение православия с антисемитизмом (если не прямо пишут, что они тождественны, то назойливо ставят их в смежных фразах и абзацах), и затем еще одна особая теория: что подымающееся русское религиозно-национальное самосознание и снисходящие прожженные коммунистические вожди не имеют другой мечты, как слиться воедино с некоей "новой правдой", – и лишь непонятно, что им все эти годы мешало слиться, чей же запрет? На самом деле религиозные и национальные круги в СССР только преследуются – всеми уголовными методами.

...И вот э т у тягу глубинной России подняться от животного существования к человеческому и вернуть себе элементы религиозно-национального сознания – легкоязычные, быстроязычные современные информаторы Запада называют: русским шовинизмом – и величайшей угрозой современному человечеству, – гораздо большей, чем откормленный дракон коммунизма, уже занесший ракетно-танковую лапу над остатком нашей планеты. Вот э т и м несчастным людям, этому смертельно больному народу, беспомощному спасти себя от гибели, приписывают фанатическую идею мессианства и воинствующий национализм!

Пугают – фантомом. "Русским национализмом" клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, – уже никому не настроить к воинствующему национализму. Держать в плену другие народы, держать в капкане Восточную Европу, захватывать и вооружать дальние заморские страны – это нужда злобного Политбюро, а не рядового русского человека. Что же касается "исторического русского мессианства", то это – сочиненный вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентные слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя избранным" (1, стр. 318, 323. Разрядка Солженицына).

Нет в творчестве Солженицына и стремления навязать Западу славянофильские и православные идеалы, что иногда приписывают ему западные и соотечественные в прошлом оппоненты. Но, с другой стороны, противореча себе самому, Солженицын не отрицает того, что угроза эксплуатации национализма "откормленным драконом коммунизма" вполне реальна:

"Но и поверженный, разгромленный, ограбленный народ – продолжает физически существовать, и коммунистическая власть – одинаково в СССР, в Китае или на Кубе – имеет цель заставить его: и безотказно на себя работать, и безотказно воевать, когда потребуется. А для войны – в СССР коммунистическая идеология уже давно не тянет, никого она не воодушевляет. Итак, несомненно намерение власти: снова эксплуатировать ими же угнетенное русское национальное чувство – для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей, и тем судорожней и отчаянней, чем больше будет коммунизм идеологически тонуть, – чтобы получить от национальных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость. **Верно, такая опасность есть.**

Упомянутые информаторы – ее видят и даже видят только ее одну (не истинные поиски национального духа). И в грубом случае за это

уже вперед бранят нас шовинистами и фашистами, а в самом предупредительном случае говорят: раз вы видите, что религиозно-национальное возрождение русского народа может быть подло использовано советской властью, – то и откажитесь от возрождения и откажитесь от всяких национальных чаяний.

Но ведь советская власть использует и еврейскую эмиграцию из СССР для успешного разжигания антисемитизма ("вот, смотрите, единственные, кому разрешено спасаться из ада, и за это Запад платит товарами"), – следует ли отсюда, что можно дать евреям совет отказаться от поисков своих религиозных и национальных истоков? Конечно, нет. Позволительно нам всем – жить на Земле естественно и стремиться к тому, к чему мы каждый стремимся, без оглядки на то: а кто как об этом подумает, что напишут в газете или какие темные силы будут пытаться использовать для себя?" (1, стр. 321–325. Выд. Д.Ш.).

Думаю, что против этого нечего возразить, кроме самой малости: здоровому, нравственному крылу русских националистов надо пропагандистски предупреждать возможные злонамеренные извращения своей позиции. И, когда Солженицын говорит:

"и лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращенный матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлевской внешностью, – все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью" (1, стр. 307),

было бы очень полезно упомянуть и евреев-первобольшевиков (им же несть числа). Я была бы очень благодарна Солженицыну за это упоминание, которое многих бы отрезвило. Ведь евреи-большевики дальше коммунистов других народов мира ушли от своей национальности, полностью отказавшись от своих имен, от своего языка, от своей культуры, от своего национального существования, яростно против них воюя. И никогда в своей уничтожительной для

России деятель-ности они не были носителями еврейской идеи, а только наднацио-нальной коммунистической. Разве не ярчайшие примеры этого – злоб-ный антисемит (еврей) Карл Маркс и безоговорочный декларативный ассимилянт Троцкий (Бронштейн)?

Солженицын вспоминает о второй мировой войне:

"После 24 лет террора никакими силами, никаким убеждением не удалось бы коммунизму оседлать русский национализм для своего спасения, – если бы не оказалось (а под коммунистическим колпаком нет внешней информации, и мы заранее не знали), что с запада на нас катится другая такая же чума да еще со специальной антинациональной задачей: русский народ частью истребить, а частью обратить в рабов. И первое, что немцы делали: восстанавливали уже разбежавшиеся колхозы для лучшей эксплуатации крестьянства. Так наш народ попал между молотом и наковальней. И из двух лютых врагов пришлось выбирать того, который говорит на твоем языке. Так и произошло оседлание нашего национализма коммунизмом. На несколько лет коммунизм как бы забыл и оглох к своим лозунгам и теориям, как забыл бы марксизм, а все твердил о "славной России" да еще и восстанавливал Церковь. (впрочем, лишь до конца войны). Так в этой злополучной войне мы своею победой только укрепили на себе ярмо.

Но, кроме того, еще было русское движение, искавшее третий путь: все же использовать эту войну для освобождения от коммунизма. Они никак не были сторонниками Гитлера, лишь невольно оказались включенными в систему его империи, внутренне они считали своим союзником только Запад (искренно считали, не лукаво, как коммунисты). Но для Запада всякий, кто хотел бы освободиться от коммунизма в ту войну, – был предатель дела Запада. Пропади хоть все народы Советского Союза и погибни в советских концлагерях сколько угодно миллионов, – лишь бы Западу благополучно и побыстрей выйти из этой войны" (1, стр. 327).

Замечу, что был, как заведомо знали в СССР, один народ (евреи) и, как потом оказалось, второй народ (цыгане), которые полностью были обречены гитлеризмом на уничтожение. И "первое, что немцы делали", оккупировав какую-то местность, это было не восстановление колхозов, а истребление двух обреченных народов. И трагическим силам, намеревавшимся одолеть Сталина с помощью Гитлера (а потом объединиться с Западом), следовало бы знать, что ничего для себя нельзя ждать хорошего от государства, способного на геноцид. В конечном счете оно и собственному народу несет лишь зло. Мне страшно подумать даже о кратковременной победе Гитлера над СССР и о любых формах сотрудничества с ним, потому что для моего народа победа нацизма означала бы тотальное зверское истребление – факт, по-видимому, не первостепенно существенный для тех, кто во имя борьбы со Сталиным решился на военное сотрудничество с Гитлером или одобрил такое сотрудничество. Запад середины 1940-х годов был бесконечно чужд от пониманию истинной природы коммунизма и его далеко идущих целей. Поэтому, когда после общей победы возник вопрос о судьбе власовцев и других советских людей, вое-вавших в рядах нацистов (власовцы воевать не успели и только в самом конце войны выбили гитлеровцев из Праги), западные союзники СССР

"пожертвовали сотнями тысяч этих русских, и казаков, и татар, и кавказцев: не разрешили даже сдаться в плен американцам, а выдали на расстрелы и расправу в СССР.

Но еще поразительней, что английская и американская армии сдавали коммунистам на расправу – сотни тысяч мирных жителей, обозы стариков, женщин и детей, и просто бывших военнопленных и подневольных рабочих, – сдавали не только против их воли, но даже видя тут же их самоубийства. А английские отряды и сами застреливали, кололи, рубили этих людей, почему-то не желающих возвращаться на свою родину. Однако еще поразительнее: из тех английских и американских офицеров не только никто никогда не наказан и не получил упрека, – но свободная, гордая, ничем не свя-

занная английская и американская печать – почти 30 лет невинно единодушно промолчала об этом предательстве своих правительств, – 30 лет не находилось ни одного честного пера! Не этому ли удивляться больше всего? Бесперебойная гласность Запада вдруг в этом случае отказала. Почему?

Тогда казалось: выгоднее заплатить коммунистам каким-то миллионом-другим глупых людей и купить себе вечный мир.

Так же – и безнадобно! – пожертвовали Сталину всею Восточной Европой" (1, стр.327–328).

Только к середине 1970-х гг. западная печать заговорила о чудовищных насильственных выдачах 1945 года, а в Англии даже был поставлен памятник жертвам этих выдач.

Солженицын снова и снова говорит о нежелании свободного мира отказаться от утопических иллюзий и трезво взглянуть в лицо надвигающейся опасности. Из этих иллюзий проистекает надежда на гуманизацию коммунизма, на появление его благородных форм. И эта надежда плодит отступление за отступлением.

"А понять бы до конца всем розовым мечтателям, что природа коммунизма – едина во всем мире и во всех странах и всегда – антинациональна, всегда направлена на убийство того народного тела, в котором он развивается, а затем и на убийство соседних тел. Какие бы иллюзии "разрядки" ни строились, с коммунизмом никогда ни у кого не будет устойчивого мира: коммунизм будет только жадно распространяться. Какой бы спектакль "разрядки" ни разыгрывался, но идеологическую войну коммунизм ведет с вами всегда и непрерывно, и вы никогда не называетесь у них иначе, как "врагами". Коммунизм никогда не остановится в своем стремлении захватить мир: прямым ли завоеванием, подрывной ли террористической деятельностью или разложением структуры общества" (1, стр. 329).

Мы не будем цитировать в этой статье того, о чем уже говорили, только напомним: и в этой эмоционально напряженной работе содержатся категорический отказ от склонности к теократии

("практическая государственная деятельность никак не из области религии", 1, стр.340); страстный призыв объединиться в противодействии коммунизму с народами коммунистических стран, не оскорблять их национальные чувства, эффективно использовать радио и телевидение, направленные на тоталитарные страны; настоятельные советы отказаться от укрепляющих коммунизм приемов детанта, не уступать коммунизму ни пяди земли и ни единой души в идеологическом пропагандистском сражении, которого Запад фактически не ведет, подвергаясь односторонней атаке. Все это – мотивы, варьируемые Солженицыным многократно.

Сейчас коммунистическая власть в СССР много говорит о перемене своего курса, ни в чем пока что не изменяя своей антизападной риторике. Ближайшие годы позволят проверить, остаются ли справедливыми выводы Солженицына, заключающие эту его статью. Для нас наиболее существенно то, что он считает истинный, зрячий русский патриотизм союзником Запада, а не его врагом:

"Коммунизм нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами – его может остановить только внешняя сила или развал изнутри. Гладкое, легкое многолетнее шествие западного отступления должно было кончиться когда-то – и вот оно кончается: пусть не последний рубеж, но уже предпоследний. Не защитив дальних границ, придется защищать ближние. Уже сегодня весь Запад под опасностью большей, чем нависла в 1939 году.

Сегодня было бы непоправимо для всего мира, если бы Америка сосчитала пекинское руководство своим союзником, а русский народ своим врагом вместе с коммунизмом: она затолкала бы в эту пасть оба великих народа, но и туда же бы упала сама. Она отняла бы у обоих великих народов последнюю надежду на освобождение. Неутомимые обвинители России и русского забывают сверить стрелки часов: все ошибки Америки в понимании России могли быть академичными, но лишь до сегодняшнего динамического момента. Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где

друзья ее, – и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторговано, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, – а лишь в союзе с порабощенными народами коммунистических стран" (1, стр.344).

Та "оттепель", та заминка, то ощущение некоего перепутья, которые переживает сейчас СССР, предопределены именно "развалом изнутри". Очень важно, использует ли Запад этот развал для предъявления своих требований и усиления антикоммунистической пропаганды или кинется помогать Горбачеву и осыпать его и СССР комплиментами. Здесь Западу очень помогло бы, если бы его активными силами были услышаны и поняты слова Солженицына. Заметим, что национальная проблематика в его публицистике всегда переплетается с темой Запада, так как во многом обращена к последнему. Но самые разнообразные и разноязычные силы с грозной и часто необъяснимой активностью спешат представить Солженицына мракобесом, ретроградом и воинственным шовинистом, чем губительно нейтрализуют эффект его слов, обращенных к Западу.

Статья "Чем грозит Америке плохое понимание России" вызвала ряд неприязненных откликов в опубликовавшем ее журнале "Форин Афферс" со стороны упомянутых в этой статье советологов. Солженицын откликнулся на них в том же журнале статьей "Иметь мужество видеть" (1, стр. 345–365), где в развернутом виде повторяет доводы первой статьи, заключая (повторим это еще раз):

"Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, – не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эйфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, – потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты" (1, стр. 365).

Мы уже несколько раз, в том числе – и в одном из эпиграфов к этой части книги, цитировали тот отрывок из открытого письма Солженицына "Конференции по русско-украинским отношениям" (II, стр. 397–401), в котором он говорит о несомненном для него праве народов (любых меньшинств) на самоопределение и о категорической недопустимости со стороны русских удерживать в своей орбите какой бы то ни было народ силой. Но, помещенная в контекст открытого письма (ответа на приглашение) конференции по русско-украинским отношениям в Торонто и Гарвардскому Украинскому Исследовательскому Институту, эта однозначно выраженная мысль приобретает дополнительные оттенки.

Так, Солженицын пишет:

"Я совершенно согласен, что русско-украинский вопрос – из важных современных вопросов, и во всяком случае решительно важен для наших народов. Но я считаю губительным тот накал страстей, ту температуру, которая вокруг него вздувается.

В сталинских лагерях мои русские друзья и я всегда были заедино с украинцами, и мы стояли одной стеной против коммунизма, и между нами не возникало упреков и обвинений. А в последние годы созданный мною Русский Общественный Фонд широко помогает зэкам – украинцам или литовцам – никак не меньше, чем русским, – да не знает он национальных различий, но только жертвы коммунизма.

В нынешней повышенной страсти – нет ли эмигрантской болезни, потери ориентировки? Против коммунизма реально делается очень мало (да и большие группы эмиграции все еще отравлены социалистическими утопиями), а вся страсть кидается на обвинение братьев. Я предлагал бы не преувеличивать, насколько эмиграция понимает и представляет истинные настроения своей метрополии, особенно кто оттуда давно или даже родился за границей. И если Ваша конференция начинает основательный диалог о русско-украинских отношениях, то надо ни на минуту не потерять из виду: отношения между *народами*, а не между эмигрантами.

И обидно, что этот спор быстро теряет всякую нравственную

высоту, всякую мыслимую глубину, все исторические объемы, а сводится только к лезвию: сепаратизм или федерация (как будто по ту сторону этой струны уже не будет ни одной проблемы). Может быть, и от меня хотят услышать только этот единственный ответ?" (II, стр. 397–398. Курсив Солженицына).

Именно в ответ на этот вопрос Солженицын произносит свою тираду о том, что не только пятьдесят миллионов, но и пятьдесят человек имеют право на самоопределение. Но заключает он ее так:

"Во всех случаях должно быть узнано и осуществлено *местное* мнение. А поэтому и все вопросы по-настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских спорах при деформированных ощущениях" (II, стр. 398. Курсив Солженицына).

Поэтому за эмигрантами он предпочел бы оставить на первом плане борьбу против отечественного и мирового коммунизма и лишь на втором – решение межнациональных вопросов, предоставив его уже свободным от коммунизма народам. Только они сами вправе, по его убеждению, распорядиться своей судьбой.

Солженицыну часто приходится удивляться тому, как превратно его толкуют, как ложно воспринимают его слова. Так, ему представляется одиозной и парадоксальной реакция части украинской эмиграции на его статьи в "Форин Афферс", о которых мы только что говорили. Он пишет по этому поводу:

"Укажу, например, статью Л. Добрянского, помещенную в "Конгрешенал Рекорд", июнь 1980 г. затем брошюру "Порабощенные нации в 1980", изданную американским комитетом Украинского Конгресса. За то одно мое утверждение, что русский народ, *как и все остальные,* порабощен коммунизмом (и никаких претензий на особенные в чем-нибудь права русского народа), – только за это я был осыпан вереницей обвинений в "воинствующем национализме", "русском шовинизме" и даже подведен под "коммунистического квислинга".

Летом 1980-го в Баффало на украинском митинге в "Неделю порабощенных наций" ведущий оратор развивал это так: Солженицын безучастен к порабощенным народам, он *больной, нуждающийся в лечении* (хорошая советская формулировка). К о м м у н и з м – э т о м и ф! – возглашал он. – Весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские. (Чья рождаемость подорвана ниже критического уровня, миллионные массы бедствуют от голода, а старателей религиозного и национального самосознания бросают в тюрьмы.)

Эти настойчивые возглашения, что "коммунизм – миф", могут только всех нас сделать рабами на пяти континентах и на десять поколений вослед. Протрезветь Америке о мировом коммунизме, оказывается, не надо, и проблемы самой нет.

Да, господа, в такой атмосфере, в таком ослеплении – ничего нельзя обсуждать, и бесплодны будут всякие диалоги и конференции. Прочный анализ современности и будущего может зиждиться только на понимании того, что коммунизм есть зло интернациональное, историческое и метафизическое, а не московское. (И всякий социалистический аспект – всегда прикрывает и смягчает злодейскую необратимость коммунизма.)" (II, стр. 399–400. Курсив и разрядка Солженицына).

Ближайшие годы покажут, способен ли внутренний кризис сделать коммунизм обратимым. Но есть все основания опасаться, что Запад позаботится о благополучном для мирового коммунизма исходе событий.

Солженицын пишет о своей особой чувствительности к русско-украинским взаимоотношениям:

"Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско-украинского вопроса (губительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я – смешанного русско-украинского происхождения, и вырос в совместном влиянии этих обеих культур, и никогда не видел и не вижу антагонизма между ними. Мне не раз приходилось и писать, и публично говорить об Украине и ее народе,

о трагедии украинского голода, у меня немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и страдания украинские в едином ряду подкоммунистических страданий. В моем сердечном ощущении нет места для русско-украинского конфликта, и если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пущу на русско-украинскую стычку, – как бы ни тянули нас к ней безумные головы.

Русско-украинский диалог не может идти лишь по одной линии различий и разрывов, но и – по линии трудно отрицаемой общности. Из страданий и национальных болей наших народов (всех народов Восточной Европы) надо уметь извлечь не опыт раздора, но опыт единства. Шесть лет назад я уже попытался выразить это в обращении к страсбургской конференции народов, порабощенных коммунизмом, я прилагаю сейчас его дополнением и прошу Вас также огласить на Вашей конференции" (II, стр. 400).

Свое письмо Солженицын объявляет открытым. Мне представляется, что отношение к межнациональной проблематике и коммунизму, выраженное Солженицыным в этом письме, является и политически прозорливым, и нравственно безупречным.

В июне 1982 года журнал "Посев" (XV, стр. 57–56) опубликовал письмо Солженицына президенту США Рональду Рейгану от 3 мая 1982 года по поводу отказа Солженицына присутствовать на встрече президента с восемью русскими эмигрантами – писателями и правозащитниками 11 мая в Белом доме. Еще ранее письмо это обсуждалось американскими газетами, после чего оно было опубликовано на английском языке в местной вермонтской газете (Солженицыны живут в штате Вермонт) с предваряющей разъяснительной запиской жены писателя Н.Д. Солженицыной. Публикация письма на английском, а затем на русском языках должна была положить конец домыслам, возникшим вокруг отказа Солженицына принять участие в завтраке и его письма президенту Рейгану.

Журнал "Посев" комментирует события так:

"11 мая в Белом доме президент Рейган принял восемь эмигрантов из СССР – главным образом участников правозащитного движения. До этого – очевидно, в тот период, когда шло обсуждение форм встречи, некоторые газеты США сообщили, что президент пригласит А. И. Солженицына для личной беседы. В дальнейшем эти же газеты отметили, что некоторые служащие администрации Рейгана сочли встречу президента с писателем нежелательной, поскольку-де Солженицын является символом крайнего русского национализма, к которому советские правозащитники относятся отрицательно. По слухам, которые трудно проверить, президент, вопреки мнению своих советников, выразил желание встретиться с Солженицыным для личной беседы, независимо от общей встречи, однако его приглашение до писателя не дошло. В конце концов Солженицына пригласили по телефону на общий "диссидентский" завтрак с президентом – за несколько часов до его начала. А. И. Солженицын отказался (XV, стр. 57).

За несколько часов неприлично приглашать человека в гости и в частной жизни. Но, по-видимому, до этого окончательного приглашения Солженицыну было объявлено приглашение предварительное, ибо он написал свое письмо президенту 3 мая, то есть за восемь дней до задуманной Белым домом встречи.

Письмо Солженицына Рейгану начинается так:

Президенту США Рональду Рейгану **3 мая 1982 г.**

Дорогой Господин Президент!

Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у нее наконец такой президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме – ни при президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять предложение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьезного эффективного разговора, – но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идет о ланче для "советских диссидентов". Но ни к тем, ни к другим писатель-художник, по русским понятиям, не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же факт, форма и дата приема были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имен лиц, среди которых приглашен на 11 мая" (XV, стр. 57–58).

"Русские понятия" о том, насколько литература должна быть причастна политической, в том числе – правозащитной деятельности, весьма разнятся между собой, и творческая деятельность Солженицына, художественная и особенно публицистическая, вопреки его собственному о себе представлению, насквозь проникнута социально-политическими мотивами. Иное дело, что для Солженицына не безразличны ни состав приглашенных (к весне 1982 года его отношения со многими бывшими соотечественниками достаточно осложнились, главным образом, из-за пристрастного со стороны многих лиц искажения его взглядов), ни протокол встречи. Будет ли он иметь возможность высказаться и в каком объеме, в каком порядке? Он говорит, что не имеет жизненного времени на символические встречи, и не ошибается в своем ощущении права на личный обстоятельный разговор с Рейганом. Объем, содержание, качество и значение написанного и сказанного Солженицыным к весне 1982 года дают ему безошибочное основание это ощущать. Встреча могла бы оказаться весьма значительной, если бы Солженицын и Рейган встретились один на один. Есть, однако, и возражение против нерасположенности Солженицына к символическим встречам. Он (мы это цитировали) высказывал пожелание для России не многопартийного, а беспартийного развития в будущем. При таком взгляде на вещи собеседование индивидуумов с различными позициями представляется шагом весьма продуктивным. Правда, за каждым из собеседующих стоят его единомышленники, и на самом деле даже микромир эмиграции на свободе стихийно распался на группы по родству миропонимания, то есть стал партийным.

Но далее выясняется, что Солженицын глубоко задет не столько отказом президента от личной встречи с ним, сколько причиной этого отказа:

"Еще хуже, что в прессе оглашены также и варианты, и колебания Белого дома и публично названа – а Белым домом не опровергнута – формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь "символом крайнего русского национализма". Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь" (XV, стр.58).

И затем следует credo Солженицына в национальном вопросе:

"Я вообще не "националист", а патриот. То есть я люблю свое отечество – и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят свое. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мной, – их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж, конечно, открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны" (XV, стр. 58).

Этот отрывок из письма Солженицына четко свидетельствует о том, пришли или нет в СССР к власти люди, думающие сходно с ним. Жаль, что в этой самохарактеристике пропущен тезис из письма Конференции по русско-украинским отношениям о том, "что никто никого не может держать при себе силой" (II, стр. 398). Я не знаю, как после этих двух документов (письма украинцам и письма Рейгану) можно говорить о Солженицыне как о "символе крайнего русского национализма". А ведь говорят по сей день!..

Солженицын заканчивает свое письмо словами, преисполненными печали и чувства собственного достоинства:

"Господин президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли нежелательной по той причине, что Вы – патриот Америки, Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете президентом и если Вам придется быть в Вермонте – я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил исказительное гласное толкование и весьма вероятно, что мотивы моего неприезда также будут искажены, – боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

А. Солженицын" (XV, стр. 58).

Что можно против этого возразить?

Мы уже обращались к выступлению Солженицына на Тайване, в Тайбее, 23 октября 1982 г.(VI, стр.5). Противостояние двух Китаев (18 млн. человек против миллиарда), различия в уровнях жизни и права в двух Китаях, островном и континентальном, зримо демонстрируют неизменное свойство коммунизма формировать аналогичные структуры из различного национального материала. Между СССР и комму-

нистическим Китаем больше общего, чем между последним и Тайванем, несмотря на некоторые вынужденные авторитарные ограничения политической свободы на осажденном острове, о которых Солженицын не говорит. В его восприятии, по сравнению с КНР и СССР, Тайвань – не только экономически процветающее, но и свободное государство. Именно для того, чтобы устранить невыгодное для себя сравнение (сколь по-разному может жить один и тот же народ), коммунистический Китай стремится к завоеванию и поглощению Тайваня, чему с парадоксальной слепотой и безнравственностью способствуют свободные страны, в частности США.

Солженицына пугают не только количественное превосходство коммунистического Китая и предательская политика Запада. Он боится того, что блестяще воспроизвел В. Аксенов в своей аллегории "Остров Крым" (хорошо, чтобы не пророческой по отношению ко всей Западной Европе): утраты сопротивляемости, парадоксального тяготения к отчетливо видимой ловушке, априорной капитуляции перед агрессией. Он говорит, обращаясь к населению Тайваня:

"Однако еще и другая опасность подстерегает вас. Ваши экономические успехи, ваше жизненное благополучие имеет двойственный характер. Оно – и светлая надежда всего китайского народа. Оно может проявиться и вашей слабостью: все благополучные люди склонны терять сознание опасности, слишком любить сегодняшнюю жизнь – и от этого терять волю к сопротивлению. Я надеюсь и я призываю вас: избежать этого расслабления. В ваших материальных успехах не дайте расслабиться своей молодежи так, чтобы она предпочитала борьбе – плен и рабство. Из того, что вы 33 года живете нетронутыми, – не вытекает, что на вас не нападут в следующие три. Вы – не беззаботный остров, вы – армия и постоянно под угрозой.

Вас – 18 миллионов, примерно столько же, сколько на Западе евреев. Еврейская проблема привлекает к себе внимание всех государств, стала одной из центральных проблем современности. Уникальность вашего положения, на мой взгляд, должна привлечь к судьбе Тайваня не меньшее мировое внимание" (VI, стр. 9).

К сожалению, мировое внимание к еврейскому вопросу не усиливает Израиль в его борьбе за свое выживание, а скорее толкает его к смертоносной капитуляции. Писал же Солженицын в 1975 году:

"Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую – Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки" (1, стр. 204–205). Он и теперь подчеркивает:

"Все угнетенные народы, в том числе народы Советского Союза, не могут рассчитывать ни на какую внешнюю помощь, а только на собственные силы. Весь мир смотрел бы в лучшем случае равнодушно, а то и с большим облегчением, если бы безумные правители Китая и СССР развязали бы между нашими народами войну. Я надеюсь – этого не случится. Но на всякий случай давайте засвидетельствуем здесь

взаимное дружелюбие и доверие китайского и русского народов, между которыми нет противоречий. И даже – союз наших исстрадавшихся народов против обоих коммунистических правительств! Что бы ни произошло между этими корыстными, противонародными правительствами – сохраним взаимное понимание, взаимное сочувствие и дружбу, не дадим залепить нам глаза и уши бесплодной национальной ненавистью" (VI, стр.9).

Сознание и прокламирование **бесплодия всякой национальной ненависти** пронизывает публицистику Солженицына. В уже цитированном нами обращении к украинской эмигрантской общественности он говорит:

"...сеять ненависть между народами – не приведет к добру никакую сторону. Взаимная доброжелательность должна опережать и превышать всякую остроту доводов" (II, стр.400).

"Национальное благоразумие" для него всегда в отказе от этой бесплодной ненависти и одновременно – от коммунистической идеологии с ее неизбежно экспансионистской (когда на экспансию есть силы) практикой. Солженицын не берется категорически предсказывать дальнейшие пути мировой истории, но позволяет себе предположение:

"Мы не знаем, какими причудливыми зигзагами еще пойдет человеческая история. Я высказывал уже предположение, что, может быть, мировой коммунизм переживет и советский, и китайский коммунистические режимы, сползет на другие страны, где много желающих испытать коммунизм, – а в наших двух странах возьмет верх национальное благоразумие.

Во всяком случае, оба наших народа уже так много перестрадали, так много потеряли – что продвинулись же по пути к освобождению и излечению!" (VI, стр. V. Выд. Д.Ш.).

Хорошо, если бы так!..

Вопросы исторические для России и потому национально первостепенно важные, были затронуты в беседе Солженицына с Бернаром Пиво (интервью для французского телевидения, Вермонт, 31 октября 1983 года). По-русски это интервью было опубликовано "Русской мыслью" 1 ноября 1984 года в специальном приложении (IX, стр. 1-4); мы к нему уже обращались. Теперь я возвращаюсь к этому документу, главным образом в связи с коллизией "царь – Столыпин – Богров", как она возникает в беседе Солженицына с хорошо знающим "Красное колесо" и весьма дружественным по отношению к писателю Бернаром Пиво. Воспроизведу часть диалога (первая реплика принадлежит Б. Пиво):

"*П:* Вторая часть "Августа Четырнадцатого" – посвящена почти вся убийству Столыпина революционером Богровым. Вы любуетесь

Столыпиным, описываете его умным человеком, сильной личностью, настойчивым, твердым во взглядах. И даже говорите, что, в сущности, Столыпин был последним шансом царя. Так ли это исторически?

С: Да, Вы знаете, я глубоко уверен, что это было именно так. Столыпин (кстати, вон висит у меня портрет Столыпина, как раз за день до убийства) – выдающийся государственный деятель вообще и по масштабам разных столетий России. А в двадцатом веке более крупного государственного деятеля у нас не было. В своей ретроспекции я ведь отступил до начала царствования Николая II, и мне пришлось невольно показать, что за первые 11 лет его царствования, к 1905 году, практически так уже было много потеряно, что Россия была накануне гибели. И Столыпин сумел вытянуть Россию из этой бездны и поставить ее на прочный путь развития. Если бы Столыпин не был убит, еще несколько лет этого развития, решительно менявшего всю структуру, социальную структуру государства, не только ее экономику, – и Россию нельзя было бы свалить так легко. Я глубоко убежден, что убийство Столыпина, выстрел этот, решил судьбу развития России, потому что сразу руководство попало **в слабые и неумелые руки, которые не могли Россию вести правильно.**

П: О двух выстрелах, убивших Столыпина, Вы сказали, что для русской истории они нисколько не были новы, но так много обещали для всего XX века. Можно ли считать, что это были первые пули в саму царскую династик?

С: Да, я недаром назвал их первыми из екатеринбургских. Это был выстрел – в Россию. Во всю нашу судьбу" (IX, стр. II. Выд. Д.Ш.).

В последних словах Солженицына заключено некоторое противоречие с материалом его романа: по Солженицыну же, в канун убийства Столыпина царская чета предрешила его отставку. Это было самоубийственное для династии решение, и тут бы самое место его припомнить. Но Пиво об этом почему-то молчит, как не вспоминает об этом и сам Солженицын и ограничивается более общим замечанием:

"*П:* Но Вы сурово относитесь к облику Николая Второго. Вы его изображаете слабым, несмелым, неблагодарным Столыпину.

С: Одно могу уверенно сказать, что я не сочиняю его портрет, а очищаю от всевозможных искажений то, что было. Бывший император – довольно необычный был для меня персонаж. Я людей такого психологического склада еще не изображал. Я был вынужден проследить почти всю его жизнь, я сделал это исключительно бережно, ни одного резкого штриха, ни одного от меня резкого упрека, нельзя сравнить этот портрет с тем, как его изображала вся радикальная общественность России, которая поносила его последними словами. Я от этого всего его очистил, дал таким, каким он был, дал течение его жизни. Он был человек высоких духовных качеств, исключительно чистый человек. И он был последовательный христианин. Но – да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль.

П: Но все же, Александр Исаевич, царь даже не спускается к Столыпину, когда тот ранен. Не идет к его изголовью, когда он умирает. Значит, все-таки, – не человек с великим сердцем.

С: Нет, не так. Он не потому не идет, что у него недоброе сердце. У него нет силы сломать огромное народное торжество, в котором участвуют сотни тысяч людей. Существует распорядок – и он как-то считает невозможным не поехать в Чернигов, не поехать в Овруч, – а как же те сотни тысяч людей, они останутся без посещения царя? Он приходит к умирающему один раз, но как раз Столыпин без сознания. А в другой раз он не приходит, потому что по распорядку не получается. Нет, не так дело просто, что царь бессердечен. Но, конечно, он не понимает всего значения совершающегося, он не понимает, ч т о мы теряем в этот момент в Столыпине" (IX, стр. II).

Солженицын очень мягко, даже любовно относится к Николаю Второму, действительно очищая его образ от потоков лжи, обрушенной на него советской и, в значительной степени, мировой исторической традицией. Но тем беспощадней оказывается его приговор: царь не был способен управлять Россией. По Солженицыну, его особым свойством была способность выбирать неподходящих помощников и отказываться от услуг наиболее достойных людей. Царская чета предпочитала сотрудников, с которыми чувствовала себя психологически комфортно, покойно и беззаботно, и отталкивалась инстинктивно от сильных и деятельных натур, активных и побуждающих к активности, к ответственности, посылающих тревожащие импульсы. Хотел того Солженицын или нет, но в романе отчетливо показано, что гибель Столыпина, кроме сострадания и сожаления, вызывает у царской четы, может быть, не полностью внятное ей самой чувство облегчения: уже не надо решать его судьбу, и решать неприятно для себя и для него, а такое решение однозначно предопределено. Пиво прав: солженицынский, как, по-видимому, и исторический, Николай Второй – "не человек с великим сердцем". Его доброта ближе к слабохарактерности, чем к великодушию (исключение – самозабвенная любовь к семье). Может быть, величие сердца придет с нарастанием трагизма в его судьбе; в "Марте Семнадцатого" есть некоторые признаки вероятности этой эволюции. Несомненно, царь не понимал, что терял в Столыпине, – не понимал не только в час кончины его, но и тогда, когда, в полном душевном согласии с женой, готовился отправить его в отставку.

Но Богров ничего не знал о завтрашнем дне Столыпина. Для него убийство Столыпина – выстрел в сердце режима – без слишком опасного для еврейского населения России убийства царя евреем. Последним соображением исчерпывается национальная мотивация в поступке Богрова. Может быть, еще то, что Столыпина считает он больше других (он сильнее других) ответственным за дискриминацию евреев, не зная, что именно Столыпин отстаивал перед царем смягчение этой дискриминации. Но последнее не остановило бы Богрова: по Солженицыну, опирающемуся на множество документов, в том числе на

записки брата Богрова (в них имеются выдержки из дневников будущего убийцы), разрушительно-революционерская мотивация поступка Богрова сильнее национальной. Может быть, в какой-то степени эта революционно-террористическая мотивация переплетается с комплексом Герострата – с жаждой прославиться в веках уничтожением при неспособности прославиться созиданием.

Я здесь не исследую "Красное колесо", но не могу не привести одного отрывка из "Августа Четырнадцатого", относящегося к отрочеству и юности Богрова (в быту – Дмитрия, по официальным документам – Мордко, каковое имя Солженицын и упоминает). Вот этот отрывок:

"Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нем, как и во всей русской учащейся молодежи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам – булочников, каретников. Он очень рано определяет свое презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *эксам* и террористическим актам. Переменяясь, он отдает свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слез отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией – и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почетный ореол неблагонадежности" (А. Солженицын, Собрание сочинений, т. XII, 1983. Вермонт – Париж. Стр. 114–115. Курсив Солженицына.).

Я прошу читателя обратить внимание на следующие слова: **"как и все гимназисты того времени"; "как и во всей русской учащейся молодежи"; "мальчик до слез отчаяния отстаивает путь ... полного уничтожения государственного порядка"**. Множество критиков и ругателей Солженицына твердят, что антитеза "Столыпин – Богров" – символ роковой для России антитезы "Россия – еврейство". Это же противопоставление ("Столыпин – мировое еврейство") сочувственно усматривают в "Августе Четырнадцатого" читатели-антисемиты. В действительности же еврейство Богрова – дополнительное обстоятельство, характерное для Юга и Юго-Запада России, где среди революционеров было много евреев. Там, где Солженицын говорит о Москве и Петербурге, среди революционеров, террористов и лиц, им сочувствующих, преобладают русские. В целом же речь идет о типических настроениях **"всех гимназистов того времени", "всей русской учащейся молодежи"**, о настроениях **"до слез отчаяния"**, но от этой искренности не менее роковых для России. У Солженицына речь идет об антитезе "созидание – разрушение", "эволюция – взрыв", который обломками перегородит дорогу

дальнейшему мирному поступальному развитию и создаст новое историческое явление – страшную зону тотала. В интервью Б. Пиво подчеркнута Солженицыным **идеологическая** предопределенность **"русского революционного** террора", а не борьба еврейства России за свое равноправие. И в романе, и в разговоре с Б. Пиво выделена типичность акции Богрова для практики террористов не только России начала XX века, но и современного мира. Это подчеркивает и Б. Пиво:

"П: Ваше описание терроризма делает "Август Четырнадцатого" очень актуальным для современного читателя. Вы посвящаете много страниц убийце Столыпина Богрову. Мне Богров кажется очень похожим на сегодняшних террористов, в частности тем, что он подвержен экзальтации и что им манипулируют.

С: Да, одна из причин актуальности "Августа", 2–го тома, – в том, что это история русского революционного террора. Не только Богров... я, если помните, там даю сперва целую вереницу террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России, то я беру только террористок-женщин. И то уже получается страшная картина.

П: Да, у Вас целая глава о женщинах. Но я хочу выделить одну, она потрясающая. Это Евлалия Рогозинникова. Она запрятала 13 фунтов динамита себе в лифчик, чтобы броситься и взорвать собой крупных персон. Это мне напоминает не только японских камикадзе во время войны, но и нынешних террористов на Ближнем Востоке, которые за рулем грузовика с динамитом жертвуют при взрыве и своей собственной жизнью.

С: Вот мы здесь и видим, насколько революционный террор в России имел все характерные черты сегодняшнего террора. В некотором отношении Россия прошла современный путь мира раньше на несколько десятилетий, даже на полвека. Да, дело не в одном Богрове, я хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приемы, методы... И я думаю, что на этих женщинах показал. Они все были частью своей организации, их всех направляла подпольная организация и посылала на эту смерть, но сначала на убийство. А Богров – совсем особенное явление. Всех остальных террористов направляла организованная сила. А Богров – его никто не направляет. Его направляет, – страшное дело! – общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле – государственный строй России считается достойным уничтожения. Столыпин считается ненавистной фигурой – за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не говорит Богрову: пойди убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции – не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор" (IX, стр. II-III).

Итак, две силы, стоящие в сегодняшнем спектре откликов на эпопею Солженицына справа и слева от занимаемого Солженицыным центра, ожесточенно доказывают, что Богровым манипулирует мировое еврейство. Справа Солженицыну ставится в заслугу воссоздание этого бесспорного для русских нацистов "факта". Слева, а порой и не слева, а из вполне добротных демократических антитоталитарных кругов, Солженицына обвиняют в злостном исповедании этой лживой антисемитской версии. Между тем ни в романе, ни в публицистике Солженицына **нет** подобной интерпретации преступления Богрова. Солженицын не постеснялся бы изложить Бернару Пиво эту версию, если бы имел к ней причастие.. Но он, напротив, говорит, что его занимает "не только Богров" (вспомним, что в том же романе две русские интеллигентки восторженно говорят о памятнике Богрову). Он говорит о "целой веренице террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России", он детально описывает самую парадоксальную и яркую их группу – "только террористок-женщин". И Пиво вспоминает русскую – Евлалию Рогозинникову, в которой находит общее с нынешними террористами-смертниками на Ближнем Востоке. Солженицын, отвечая, повторяет свою постоянную мысль о том, что Россия прошла нынешнюю западную ситуацию на полвека раньше. И снова подчеркивает, что дело "не в одном Богрове". Он говорит, что "хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приемы, методы", что это крайне важно для современного мира. А относительно Богрова он подчеркивает один устрашающий парадокс: его не направляет никакая организация, никакая конкретная общественная группа, политическая или национальная. "Его направляет, страшное дело, общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле". Солженицын говорит о господствующем в этом поле убеждении, что государственный строй России безнадежен и должен быть разрушен. Не это ли поле создало организацию, члены которой убили Александра Второго? И нет ли параллели между этими двумя убийствами – убийствами реформаторов и оздоровителей той государственной системы, которую общественное "идеологическое поле" постановило считать безнадежной? Терроризм и тогда, и теперь эксплуатировал и эксплуатирует все: социальные, национальные, религиозные мотивы. Его пафос – разрушение любой ценой того, что он считает недостойным жизни. В сознании Солженицына Богров, движущийся по направлению к Столыпину, ассоциируется с черной змеей. Толкователи Солженицына как антисемиты (кто – со знаком "плюс", кто – со знаком "минус") склонны считать змею символом злокозненного еврейства. Почему не более широко символом дьявола, зла, разрушительного бесплодного начала, столь громко и кроваво заявляющего о себе в мире сегодня?

Солженицын слишком нонконформист в своих писаниях и высказываниях. Если бы он, действительно, придерживался все более популярной в русских шовинистических кругах версии еврейской этимологии русского терроризма и русской революции, он бы не остерегся

об этом сказать. Кроме беседы с Б. Пиво, у него был другой случай постулировать в прямом диалоге инородческую версию русской революции, если бы он ее исповедовал. В 1985 году Н. А. Струве, беседуя с Солженицыным о "Красном колесе", однозначно ставит вопрос: "...почему случилась революция, кто виноват? Полифоничность создает впечатление, что виноваты все".

И Солженицын отвечает не менее однозначно:

"Полифоничность, для меня, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь всегда и буду придерживаться всегда. Я не сторонник избирать (считаю это вредным) любимого героя и главным образом через него проводить свои главные мысли. Я считаю своей первой задачей привести разнообразие мыслей, поступков и действий самых разных слоев, вот в описываемый момент. И при этом, действительно, когда предстанут все точки зрения, то на вопрос "кто виноват?" очень расплывается ответ. Да, виноваты все, Вы правильно сказали. Но, строго говоря, виноваты всегда больше правящие, чем кто бы то ни было. Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на эту дешевую заразу, на дешевый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но все-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то они виноваты, как правящие, больше других.

Н. С.: Да, в "Октябре" царю и, в частности, царице достается довольно круто.

А. С.: Конечно, круто. При всем том, что у них не было злых намерений. Но не было и полного сознания ответственности, не было адекватности той ответственности, которая на них лежала" (Вестник РХД № 145, Париж 1985. Стр. 190–191).

Какие есть основания думать, что Солженицын в этом ответе скрывает свое истинное мнение?

Если мы уже позволили себе отклониться от публицистики в "Красном колесе", рассмотрим еще один отрывок, иллюстрирующий отношение Солженицына к состоянию еврейского вопроса в предреволюционной России. Я снова оговорюсь: цитата будет большой. Об отношении Солженицына к этой больной проблеме пишут так много, так пристрастно и зачастую несправедливо (до полной непостижимости несправедливо), что наш прямой долг – выслушать самого Солженицына в объеме, достаточном для того, чтобы его позиция полностью определилась.

В т. 12-м собрания сочинений Солженицына на стр. 487–495 описан семейный обед в доме еврея Ильи Исааковича Архангородского, либерала-постепеновца, прославленного инженера, одного из самых близких и симпатичных Солженицыну героев его эпопеи. Илья Исаакович и его друг, русский инженер Ободовский, бывший революционер,

а ныне – тоже либерал-постепеновец, спорят с детьми Архангородского, тяготеющими к левому крылу эсеров. Вот отрывок из этого постоянного спора между очень любящими друг друга людьми:

"Илья Исаакович как бы не спорил, а размышлял над тарелкой:

– Как вам не терпится этой революции. Конечно, легче кричать и занятней делать революцию, чем устраивать Россию, черная работа... Были бы постарше, повидали бы Пятый год и как это все выглядело...

Нет, так мягко сегодня отец не вывернется, готовился ему разнос:

– Стыдно, папа! Вся интеллигенция – за революцию!

Отец так же рассудительно, тихо:

– А мы – не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто все главное делает и строит, – мы не интеллигенция? Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за нее платить – тем ближе она к титулу Великой.

– Но и дальше так тоже жить нельзя! – со страданием вскричала Соня. – С этой вонючей монархией – тоже жить нельзя, а она – ни за что доброй волей не уйдет! Пойди ей объясни, что революция разоряет страну, пусть она уйдет добровольно!

Кругленько, а тверденько все на том же месте скатерти гладил ногтем Илья Исаакович:

– Не думайте, что без монархии вам сразу наступит так хорошо. Еще т а к о е наступит!.. Ваш социализм для такой страны, как Россия, еще долго не пригодится. И пока достаточно б нам либеральной конституции. Не думайте, что республика – это пирог, объедение. Соберутся сто честолюбивых адвокатов – а кто ж еще говоруны? – и будут друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять все равно никогда не будет...

– Будет! Будет!! – в два голоса крикнули, в два кулака пристукнули уверенные молодые. И с последней черно-огненной надеждой еще глянули на бывшего анархиста: неужели можно так низко и необратимо пасть?..

Илья же Исаакович стал говорить настойчивее, начиная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях его бровей и усов:

– "Пусть сильнее грянет буря", да? Это – безответственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, паровых и электрических, а если сильнее грянет буря – сколько из них останутся молоть?.. И что жевать будем? – даже и за этим столом?

Ну, он сам подвел и время и место для удара! Едва удерживая слезы обиды, слезы позора, Соня крикнула с надрывом:

– Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило? Желаешь, чтоб самодержавие укрепилось?..

Илья Исаакович погладил грудь, покрытую салфеткой. Он не давал голосу повыситься или сорваться:

– Пути истории – сложней, чем вам хочется руки приложить.

Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я – твой? Живя в э т о й стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет – можно ее разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... Но если д а – надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной благодарности не решался. Зато Соня кричала все, что накопилось:

– Ж и в я в этой стране!.. Живя в Ростове из той милости, что ты – личный почетный гражданин, а кто к образованию не пробился – пусть гниет в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унизительное, рабское положение! – но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства! Гласный городской думы!.. К а к у ю ты Россию поддерживаешь в "беде"? К а к у ю ты Россию собираешься строить?.. Патриотизм? В этой стране – патриотизм? Он сразу становится погромщиной! Вот, читай, на курсы сестер милосердия принимают - только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать! А в ростовском госпитале объявлено: персональная койка "имени Столыпина"! персональная койка "имени градоначальника Зворыкина"! Что за идиотизм? Где границы смешного? Колоссальный Ростов, с такой образованностью, с твоими мельницами и с твоей думой, одним росчерком пера подчинен наказному атаману тех самых казаков, которые нас нагайками?.. А вы у царского памятника поете "Боже, царя"?

Илья Исаакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

– И все равно... и все равно. Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только "Союз русского народа", а...

Воздуха не хватило или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:

– ...а "Союз русских инженеров", например.

И повел живыми глазами на молодых.

– Да! – ухватился и уперся рукою в стол Архангородский.

– "Союз русских инженеров" – это менее важно?

– Черная сотня! – кричала Соня, цепляя рукавом неначатую корзинку сладкого. – Что важно! Черной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!

Все-таки вывела из себя! Дрожа голосом, двумя ладонями, на ребра поставленными, Илья Исаакович показал:

– С этой стороны – черная сотня! С этой стороны – красная сотня! А посредине... – килем корабля ладони сложил, – десяток работников хотят пробиться – нельзя! – Раздвинул и схлопнул ладони: – Раздавят! Расплющат!" ("Август Четырнадцатого". Соч., т. 12, стр. 493-496. Разрядка Солженицына).

На мой взгляд, в этих отрывках зримо присутствует понимание

писателем сложности вопроса, понимание множественности вероятных позиций, признание достаточной обоснованности претензий молодых Архангородских к России, сочувствие тяжелейшему положению плодотворно работающих россиян, в том числе и евреев, зажатых "черной" и "красной" сотнями.

Далее следует знаменательное рассуждение о средней линии развития между двумя крайностями, которое мы уже цитировали.

В беседе Солженицына с Б. Пиво есть момент, когда он на очень интимном материале (сыновья, их настоящее и будущее) раскрывает свое отношение к Западу, к западной и русской культуре, свои надежды.

Б. Пиво спрашивает:

"Если трое Ваших сыновей, которые все родились еще в России, стали бы по культуре, по образу жизни настоящими американцами, это было бы Вам досадно?"

С: Конечно, мы с женой принимаем все меры к тому, чтобы они совершенно свободно владели русским языком, – пока что это удалось; чтобы они были в духе русской культуры, – на сегодняшний день это еще удалось. Мы рады, что они учатся иностранным языкам, что они усваивают западную культуру и что это не за счет русской. До сих пор это русские мальчики, они сердцем связаны с Россией и с русской культурой, знают русскую поэзию, русскую историю, до сих пор так. И, конечно, нам было бы больно их упустить, отдать их, чтобы они стали полностью западными людьми.

П: Но есть ли риск, что Ваши три сына - позже, когда станут мужчинами – потеряют стремление и охоту вернуться на русскую землю?

С: Ну есть риск, конечно, – что я буду похоронен вот в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрем, никогда не увидим Россию. Но мы живем надеждой. Живем надеждой на возврат, и сегодня я еще твердо уверен, что эти мальчики вернутся в Россию охотно и очень будут России нужны и полезны.

П: А Вы сами по-прежнему, в глубине души, имеете то же страстное желание вернуться в Россию?

С: Мало сказать – желание. Желание не покидает ни на минуту, но меня не покидает даже какая-то и уверенность. Я не знаю откуда: мировая ситуация в Советском Союзе почти не подает радостных признаков. Тем не менее есть у меня внутреннее чувство, что я еще живым вернусь на родину, хотя уже я, как видите, немолод.

П: Это внутреннее убеждение?

С: Да, Вы знаете, существует какое-то внутреннее убеждение.

П: Александр Исаевич, вот мой последний вопрос. 11 декабря Вам исполнится 65 лет. Что пожелать Вам к этому дню?

С: Ну, не к этому дню пожелать, конечно, а на будущие годы... Я бы был благодарен, если бы Вы мне пожелали успеть закончить "Красное колесо" и еще живым, а не только в виде книг, вернуться в Россию". (IX, стр. IV)

Приспело время семидесятилетия Солженицына, и, скорее всего, он желает себе сегодня того же, что и пять лет назад. Но возвращение Солженицына в СССР (в Россию) тождественно легализации его версии русской истории в широчайшем значении последнего слова, фактографическом, духовном, идеологическом, – версии несовместимой с коммунистической идеологией, с официальной советской историософией. В этом смысле "Красное колесо" более неприемлемо для советской идеологии, чем "Архипелаг ГУЛАГ". Последний еще как-то может сосуществовать с версией откорректированного, очеловеченного коммунизма, как может сосуществовать с ней правозащитная платформа Сахарова. "Красное колесо" воссоздает **другую** Россию, **другую** историю, **другую** революцию и ни в коей мере не оставляет в российском будущем, даже в его риторике, места утопии коммунизма.

Солженицын не способен поступиться своими книгами, своим пониманием мировых, в том числе российско-советских, событий, своим правом на свободную речь. Поэтому его возвращение на родину во всей его цельности, а иначе он не вернется, означало бы принципиальное изменение качества советской жизни в ее фундаментальных чертах. У Солженицына нет ощущения полной невозможности такого поворота событий. Поживем – увидим.

Принимая принципы раскаяния и самоограничения как категории национальной жизни, как будто и неуместно бы сводить счеты в том, какой из народов СССР пострадал и потерял больше других за годы коммунистической диктатуры. Слишком много аспектов у этого вопроса, слишком субъективны подходы к нему – при том, что никто из спорящих не вооружен надежной методикой решения подобных вопросов. Поэтому у многих вызывает протест неоднократное утверждение Солженицына, что больше других пострадал за этот период русский народ. Так, еще в 1976 году в Париже ему был задан вопрос:

"Как Вы, Александр Исаевич, относитесь к угнетению евреев в СССР, к тому, что чинятся препятствия их эмиграции, а внутри страны они лишены прав культурного развития?" (II, стр. 304).

"Надо сказать, что коммунистическая система не принесла не только счастья, но и нормального развития – в конце концов, ни одной национальности Советского Союза. Ни русским, которые считаются основой государства, ни национальностям окраинных республик, ни другим, рассеянным по лицу страны. В разное время коммунистический режим нажимал на разные педали. Сначала вся сила удара сосредоточивалась по русским, а малые национальности как будто поддерживались. Когда обескровили центральные нации, повернула эта машина и ударила по всем малым национальностям. Так и евреи испытали на себе эту нелегкую кривую. И в настоящее время, казалось бы, трудно придумать разумные оправдания, почему не выпускать из Советского Союза евреев, которые хотят выехать, почему остающимся евреям, желающим культурной автономии – театров, газет, школ на еврейском языке, – почему не дать? Но такова жестокая система, она

не может перестать быть сама собой. Она не может исходить из соображений разума или сочувствия. Так евреи лишаются своих культурных возможностей развития в Советском Союзе, так и многие нации другие лишаются. А русский народ пострадал и численно, и по глубине больше всех" (II, стр. 304–305).

Я не думаю, что последний тезис может быть сформулирован с такой категоричностью: ему можно многое противопоставить, что и делают разноплеменные оппоненты Солженицына с неизменной горячностью. "Центральные" (славянские?) нации, в том числе русские, пострадали от коммунизма, действительно, весьма глубоко, и главное, что утверждает Солженицын всегда, сказано в начале его реплики:

"...коммунистическая система не принесла не только счастья, но и нормального развития... ни одной национальности Советского Союза" (II, стр. 304).

Но нас слишком далеко от темы исследования увели бы попытки подсчитать, какая из наций Советского Союза претерпела от коммунизма больше других, и мы не включимся в этот бесплодный спор. Замечу, что не отработана не только методика, но и методология этого спора. Приведу для примера лишь один вопрос: в процентном (по отношению к численности всей нации) или в абсолютном исчислении количества жертв определять потери нации?

Во втором случае на первое место выйдут большие народы, в первом – некоторые из малых. Но в любом случае потери окажутся потрясающими – так же, как и количество соучастников коммунизма в его преступлениях. Коммунизм сначала силой своих иллюзий и демагогии, а затем посредством насилия и дезинформации находит достаточное для достижения своих целей количество инициаторов, исполнителей, коллаборантов и жертв во всех народах, попадающих в его орбиту. И Солженицын это всегда подчеркивает.

Свой очерк взглядов Солженицына по национальному вопросу я завершу анализом его отношения к феномену эмиграции. Из книги "Бодался теленок с дубом", которую мы здесь не рассматриваем (как и другие книги писателя), нам известно, что Солженицын в какой-то момент задумался над возможностью эмиграции и отверг для себя этот выход.

Шестого апреля 1974 года Солженицын сделал короткое заявление (II, стр. 53), по-видимому, для Самиздата и зарубежных корреспондентов, где, возмущаясь высылкой из Москвы В. Некрасова и А. Гинзбурга, квалифицирует "постоянную приписанность к месту жительства", господствующую в СССР, как "советское крепостное право". Он заключает свое заявление так:

"Советские люди не смеют выбрать, где им жить в своем отечестве. Насколько же нестерпимей этот гнет, чем несвобода эмиграции, которая вызвала столь справедливое волнение во всем мире" (II, стр.53).

Из контекста всего заявления следует, что определение "столь

справедливое" носит иронический характер. Источник этой иронии таков: во внутренней жизни СССР есть уродства, куда более мучительные для основной массы населения, чем несвобода эмиграции. Между тем они мир не волнуют. Или волнуют меньше, чем трудности эмиграции.

В ответ журналу "Тайм" от 3 мая 1974 г. (II, стр. 54–55) Солженицын снова говорит о свободе эмиграции как о факторе социально второстепенном:

"...это – свобода производная, а не производящая. Непонятно, как она может решить проблемы остающихся миллионов. Например, в последние годы в эмиграции произошли несомненные облегчения, но крепостное право ("паспортный режим") для остальных миллионов нисколько не послабело" (II, стр.54).

Не вдаваясь пока в детали того, что может сделать эмиграция для "остающихся миллионов" (и для сражающихся – единиц? десятков? сотен?), приведем вопросы интервьюеров:

"Как Вы себя чувствуете в эмиграции? Сохранили ли Вы способность писать? К чему может повести массовый выезд из страны интеллектуальных сил?" (II, стр.55).

Солженицын отвечает:

"Я себя никак не считаю эмигрантом и надеюсь долго удержать это ощущение. Физически я выброшен с родины, но своей работой остаюсь повседневно и навсегда связан с нею. Конечно, условия разительно другие, привыкнуть очень трудно, все еще не верится в происшедшее, будто сон. Но мой жизненный опыт в России так протяжен, что, я думаю, еще много лет смогу работать, используя его. А тем более для исторического романа большую роль играют архивы и библиотеки, на Западе они мне гораздо доступнее, чем на родине. Многие художники-изгнанники до меня за много веков доказали, что и в изгнании можно писать успешно.

Вообще же смысл жизни всякого эмигранта – возврат на родину. Тот, кто хочет этого и не работает для этого, – потерянный чужеземец (II, стр.55).

Здесь против воли своей, против своего субъективного ощущения непричастности к эмиграции писатель отождествляет себя с той частью последней, которая продолжает работать для родины. Солженицын говорит о том, что "смысл жизни всякого эмигранта" (в том числе изгнанника, но не добровольного переселенца – "потерянного" для родины "чужеземца") – "возврат на родину". Здесь не может не разуметься само собой, что истинный эмигрант (не репатриант в другую страну, не мигрант, избравший другое отечество), в том числе и невольный изгнанник, готов вернуться на родину лишь после перемен, **для которых работает, ради которых продолжает жить.** Мы цитировали в одном из эпиграфов к этой главе слова Солженицына из

его послания "Конференции народов, порабощенных коммунизмом" (27 сентября 1975 года. II, стр. 227–228). Повторим эти слова:

"Соединясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополиях, – мы составим и голос и силу, влияющую на ход мировых событий".

Однако Солженицын в значительной степени противоречит собственному призыву к эмигрантам – работать для освобождения метрополии и для просвещения остального мира, когда в телеинтервью Уолтеру Кронкайту для компании CBS 17 июня 1974 года (II, стр. 58–80) говорит, отождествляя себя не с уехавшими, а с оставшимися: "Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть *там*" (II, стр. 65. Курсив Солженицына). В этом интервью Солженицын снова говорит о противоестественном, с его точки зрения, перекосе, который заключается в преимущественном внимании Запада среди всех внутрисоветских проблем к проблеме эмиграции. Он замечает:

"Я, конечно, считаю, что всякий человек, который хочет эмигрировать, должен иметь эту свободу, что всякое препятствие эмиграции есть варварство, дикость, не достойная цивилизованной страны. Однако эмигрируют, в общем, те, кто бежит, спасает себя от наших ужасных условий. Гораздо более мужественные, стойкие люди остаются для того, чтобы исправить там положение, чтобы добиться улучшения условий. Почему-то о н и обделены вниманием Запада. Я отнюдь не прошу: "Пожалуйста, Запад, помогите нам!" Я считаю, что Запад не обязан нам помогать. Положение, в которое попали мы, народы Советского Союза, Восточной Европы, Китая, – из этого положения мы должны выйти сами, собственными руками, но: если уж Запад все равно нами занимается, если уж тратятся силы, волнения сердца, участие, то я бы просил помнить, что здесь происходит нарушение пропорций, ибо один день в психиатрической больнице, когда уколы делают, один – в лагере особого режима, гораздо тяжелее, чем три месяца ходить в ОВИР и получать отказ: нет, не пускаем, нет, не пускаем, нет, не пускаем. Тяжелей" (II, стр. 64–65. Разрядка Солженицына).

Беда в том, что многих за желание эмигрировать из СССР там преследуют всеми теми же методами (оставление без работы, лишение свободы, психзастенки и др.), что и за прочие виды инакомыслия и инакодействия по отношению к официально предписанному образу мыслей и действий.

Интервьюер задает закономерный вопрос:

"Находите ли Вы, что отъезд из своей страны этически правилен со стороны тех, кто уезжает?" (II, стр. 65).

И Солженицын отвечает:

"Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя

чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это – совершенно естественный поступок, это естественное движение свободного человека. Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу.

Более того, людей, которые едут в Израиль, только, понимаете, – действительно в Израиль, не тех, которые притворяются, говорят, мы поедем в Израиль, а сами едут в другое место, а тех, кто говорит: мы поедем в Израиль – и едут в Израиль, – я их глубоко уважаю. Потому что они, в общем, избирают для себя более тяжелую жизнь. В Израиле им будет и опасней, и больший долг на них будет висеть, тяжесть обязанностей; ими движет религиозное чувство и чувство национального возрождения, я их глубоко уважаю.

И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда-нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнешь людей, что они измучены, устали, боятся.

Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть *там*. Говорят так: вот это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду; уеду, с вами не буду, а оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, я вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья, – из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда все хорошо" (II, стр. 65–66).

Прежде чем изложить свое мнение по затронутым вопро-сам, приведу другое высказывание Солженицына, свидетельствующее о том, где он может больше делать для родины: дома или в изгнании. При этом замечу, что, не мерясь масштабами деятельности и таланта, это его высказывание могут применить к себе многие эмигранты. В интервью с Даниэлем Рондо 1 ноября 1983 года писателем было сказано следующее:

"Я должен сказать, что сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98% тех материалов, которые мне нужны. А 2% я получаю через библиотеки. В течение многих лет я собирал свидетельства стариков. У меня более трехсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрепанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся – так у меня почти все есть. Потом, я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17-го года можно отдельно поговорить, так это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября – очень обильны, и у меня все это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено" (XIII, стр. 160).

И несколько ниже – еще раз:

"У нас такие чудовищные условия в Советском Союзе, что по-настоящему мне сейчас тут легче писать, чем было бы там. Если мне нужно было совершить поездку куда-нибудь, например в Тамбовскую область или на Дон, то я должен был с величайшими мерами конспирации ехать, и общаться с Россией я должен был так, что нигде почти ничего записывать нельзя. Всеобщая подозрительность. И держать рукопись книги я не рискнул бы в таком объеме – в одну минуту отнимут" (XIII, стр. 163).

Куда бы и почему бы ни уехал человек любой национальности из СССР ("плоскогорья", с которого, по Солженицыну же, спускаются ледники лжи, насилия и насвободы на весь мир), происходящее там продолжает иметь к этому человеку прямое и непосредственное отношение -- уже по одной той причине, что внутренний статус СССР и вытекающая из этого статуса его внешняя политика судьбоносны для всего человечества. Поэтому стремление некоторой части уехавших не только творить свободно, что в метрополии было для них невозможно, не только исследовать оставшуюся за спиной ситуацию, но и пытаться как-то воздействовать на нее извне, передать свое понимание событий оставшимся, уехавшим и своему новому окружению, естественно и правомерно, и уж никак не "дико", где бы эти люди ни жили и хотели бы они при изменившихся обстоятельствах вернуться обратно или нет. Ведь говорит Солженицын тут же (и еще во многих местах), что "внутренних дел вообще не осталось на нашей планете", и замечает о сборнике "Из-под глыб": "Тут проблемы и чисто русские, и мировые". Внутренний и внешнеполитический статус СССР – центральная мировая проблема, и заниматься им, пытаться на него воздействовать не "дико" нигде и ни для кого.

Более того: настоящее осмысление аборигеном коммунистического мира своего и чужого опыта и его изложение, свободное и фундаментальное, для современников и потомков, urbi et orbi, невозможно внутри тоталитарной ситуации. Ни "Красного колеса", ни серии ИНРИ (Исследования новейшей русской истории), ни мемуарной серии (ВМБ) на нынешнем уровне и нынешними тиражами Солженицын не мог бы создать и издать в СССР. Блестящие тома ИНРИ и ВМБ написаны их авторами в эмиграции. Речь должна идти не о том, что уехавшие не смеют поучать оставшихся и раскрывать им глаза на их прошлое, настоящее и вероятное или желательное будущее, а, напротив, о том, как перебросить работы уехавших оставшимся, как вручить их своему новому окружению на его языках (чем Солженицын и его помощники неотступно заняты). Есть и такой стимул для эмиграции: нежелание, неспособность жить, как живет смирившееся с обстоятельствами большинство, при невозможности на это большинство воздействовать. Роман Гуль ушел, потому что увидел: массы в огромной части своей слепо повернули за соблазнителями. Стрелять в

слепцов он попробовал, но не смог. Разделять их безумие и вытекающее из него рабство не хотел. Он ушел. Это было его внутренним правом, его долгом перед собой. Он дал своей последней книге (мемуарам) "Я унес Россию" подзаголовок: "Апология эмиграции".

И, наконец, чисто психологически – запрет переступить через определенную границу, отказ в проявлении свободы воли в этом отношении побуждает иные свободолюбивые натуры сделать этот шаг. Влекут к нему, с одной стороны, невозможность без угрозы жить по своему разумению внутри страны, с другой – живое любопытство к миру. Будь путь свободен в обоих направлениях (вовне и обратно), не было бы проблемы, но это была бы другая страна. Миграция сняла бы закрытость системы, и произволу правящих была бы поставлена серьезная преграда. Система, нефиктивно открытая вовне, никак не может оставаться тотально-деспотической, она приближается к авторитарной. Замечу, что и нынешняя ограниченная эмиграция спасла многих внутри страны, существенно просветила мир в его отношении к тоталитарной системе и ее правителям и тем способствовала начавшейся во второй половине 1980-х гг. "оттепели" с ее пока еще загадочными перспективами. Так что вряд ли Солженицын полностью прав, считая свободу эмиграции фактором социально производным, а не производящим. Отсутствие или наличие этой свободы (в сочетании с правом вернуться обратно) – один из фундаментальных параметров социального строя.

Солженицын от всей души сочувствует еврейской эмиграции в Израиль, связанной с религиозной и национальной самоидентификацией советских евреев. На самом деле для множества последних, необратимо ассимилированных в русской истории, культуре и социально не индифферентных, существуют те же проблемы, что и для всей эмиграции: связь со страной исхода для многих не прерывается даже при действительном обретении ими отечества в Израиле, тем более что грядущее Израиля существенно зависит от происходящего в СССР и в сферах его влияния.

О том, что "добровольный отъезд сильно уменьшает право уехавшего судить и влиять на судьбу покинутой страны" (II, стр. 363), Солженицын говорит и в интервью И.И. Сапиэту для ВВС в феврале 1979 года (II, стр. 353-372). И я снова позволю себе с этим не согласиться: добровольный по внешности отъезд часто бывает по сути своей вынужденным. Остальные контрвыводы приведены мною выше. Интервьюер замечает:

"Да, но эмиграция все же существует, это общественное явление, со своим – как она думает – историческим заданием" (II, стр. 363).

И Солженицын откликается:

"Ну... да. У первой эмиграции историческое задание, конечно, было: помочь нам сохранить нам историческую память о годах предреволюционных и революционных – в то время, как в Союзе его затаптывали. Но, например, на третьей эмиграции – я сомневаюсь, что историческое задание лежит. Да третья эмиграция – это лишь хвостик,

отколок от израильской эмиграции. По значению и по численности она не идет в сравнение с двумя первыми" (II, стр. 363).

И далее он с негодованием говорит о том крыле "третьей эмиграции", которое стало идеологической опорой, источником дезинформации для наиболее близорукой части западных советологов, воспринимающих коммунизм как явление чисто, исконно и исключительно русское:

"Подумайте: тех, кто сотрудничал с национал-социалистами, тех судят, а кто десятилетиями сотрудничал с коммунистами, был весь пропитан своей красной книжечкой, еще неизвестно, выбыл ли из капээсесовцев при переезде границы или и сегодня в партии, – тех Запад принимает как лучших друзей и экспертов, и в Америке они порой – профессора университетов, хотя научный уровень у многих – парикмахерский. И в общем, с некоторыми вариантами, направление у них такое: всячески примирить американцев с коммунизмом в СССР – как с самым малым для них злом или даже положительным для них явлением. И наоборот: убедить, что русское национальное возрождение, даже национальное существование русского народа – это величайшая опасность для Запада" (II, стр. 365).

Полагаю, что сегодня, в конце 1980-х гг., "третья эмиграция" не может исчерпываться при ее оценке рыцарями детанта и русофобии, которых перечисляет и не перечисляет здесь Солженицын. Ее прозаики, поэты, мемуаристы, публицисты, политологи, социологи, редакторы, издатели и правозащитники создали непреходящие ценности, вынесли в мир и вернули покинутому отечеству, сохранили для него важнейшую информацию. Они оказали и оказывают пусть не решающее, но значительное влияние как на новую свою среду, так и на внутрисоветскую ситуацию. Я не буду перечислять ни имен, ни книг, ни журналов, ни издательств, ни организаций, ни правозащитных акций: их много, и я не хочу оказаться несправедливой, что-либо существенное упустив. Замечу только, что из шести выпусков ИНРИ три принадлежат представителям "третьей эмиграции". Всю "третью эмиграцию" так же нельзя отождествлять с ее русофобским, или просоветским, или оппортунистическим по отношению к западным заблуждениям и Кремлю крылом, как нельзя считать всю "первую эмиграцию" "совпатриотической" из-за нескольких удавшихся советчикам провокаций в ее среде, или всю "вторую эмиграцию" – пронацистской из-за некоторого числа имеющихся в ней коллаборантов с нацистами. "Первая эмиграция" уходит из жизни сей по неотвратимым причинам биологического характера. "Второй" и "третьей" надлежит ей наследовать. Зарубежная Россия должна сохранять свою духовную, творческую преемственность, должна поступательно развиваться, выполняя работу мысли, невозможную или крайне затрудненную и опасную в метрополии. Непредсказуемые изгнания, побеги, невозвращенчество, трудно поддающийся объяснению феномен ограниченно дозволенной эмиграции дают возможность диаспорам тоталитарных стран выполнять свою историческую миссию. Нужда в этой миссии отпадет только с концом

тотала. Вот и сегодня, читая официально дозволенные и неподцензурные материалы, приходящие из СССР, с горечью (но и с гордостью) думаешь о том, что в печатной продукции всех трех эмиграций имеются исчерпывающие ответы на многие из вопросов, робко (иногда – завуалированно) поднимаемых там. Эмиграция могла бы сегодня положить на стол отечественного читателя много добротных книг, ставящих и разрешающих эти вопросы, книг оригинальных и переводных, книг, оживляющих затоптанную дезинформаторами историю. Может быть, над этим сейчас неотступней всего и следует думать? На этом читательском столе – честь и место всему, что сказано, написано и пишется Солженицыным. При нынешнем оживлении национализма народов в СССР, в том числе и русского, при том агрессивном характере, который начал принимать этот национализм, позиция Солженицына в национальном вопросе с ее безупречным нравственным основанием (пересмотрите слова эпиграфа к этой главе) могла бы возвысить движение почвенников и морально, и политически. Об органических шовинистах и ксенофобах я не говорю: их не сумеет смягчить, гуманизировать, либерализовать никто. Но не бесчестный ли это шаг – причислять к ним Солженицына, который столь ясно и столь достойно сформулировал основания, на которых покоятся его патриотизм и боль за родину?

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Константин Кедров
Два стихотворения 4
Сергей Юрьенен
Заранее пишите свой роман
(Глава из романа "Дочь генерального секретаря") 6
Валерий Красько
"Выхожу один я на орбиту...". Стихи 30
Евгений Козловский
Ностальгия. Новелла 34
Игорь Холин
из книги стихов-посвящений 49
Алла Туманова
Под соловьиное пенье. Рассказ 60
Морис Поцхишвили
Стихи последних лет 74
Юрий Мамлеев
Шатуны (отрывок из романа) 79
Елена Юдковская
Из книги "Лабиринт". Стихи 103
Игорь Яркевич
Временное правительство. Рассказ. 107
Славомир Волкович
Поэма 111
Дмитрий Пригов
Вечно живой. Рассказ 131
Владимир Дроздов
"Опять всю ночь деревьям не спалось..." Стихи 135
Андрей Бычков
Стрелец. Рассказ 139

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Елена Тудоровская
Секрет шедевра 151
Алла Цолосос
"Трувер"
(О романе Бориса Фалькова) 157
Михаил Гольденберг
На ветру
(о рассказах Сергея Юрьенена) 160
Светлана Беляева
Упырь
(О прозе Юрия Мамлеева) 167

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Борис Садовской
Карлики
(Глава из романа "Приключения Карла Вебера") 170

НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Альфостин де Кюстин
Россия в 1893
(Послесловие Виктора Ерофеева) 176

ВОСПОМИНАНИЯ

Михаил Шемякин
История одной выставки
(Из книги воспоминаний) 201

ЭССЕ

Светлана Беляева, Дмитрий Пригов
Крепкого вам здоровья, господа литераторы! 205

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Беседа с писателем Александром Кабаковым 213

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Впервые на родине 220
Григорий Анисимов
Аромат всегдашней жизни
(Давид Петрович Штеренберг) 226

ПОЛЕМИКА

"*Зеленая лампа в Москве*"
(Дискуссия между шестидесятниками
и восьмидесятниками) 244

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Дора Штурман
Глава из книги "Городу и миру"
О публицистике А. И. Солженицына (окончание). 266

Как сообщалось в предыдущем номере альманаха, мы установили две премии за лучшие произведения прозы, опубликованные в "Стрельце" в 1992 году – им. Владимира Набокова и им. Александра Солженицына.

Премию им. А. Солженицына наше жюри никому не присудило, но зато оно присудило две премии им. В. Набокова – Виктору Ерофееву (Москва) за повесть , опубликованную во втором номере альманаха и Сергею Юрьенену (Мюнхен) за отрывок из романа "Дочь генерального секретаря", который публикуется в этом номере "Стрельца".

Заказ 7529. Тираж 5000.
Экспериментальная типография.